ИРИНА ОДОЕВЦЕВА

ОСТАВЬ НАДЕЖДУ НАВСЕГДА



ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА
Нью-Йорк

ИРИНА ОДОЕВЦЕВА

Оставь надежду навсегда

РОМАН



ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА

Нью-Йорк • 1954

ALL HOPE ABANDON

by

Irene Odoevzev

Printed in the U.S.A.


ОСТАВЬ НАДЕЖДУ НАВСЕГДА



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Волков сидел за письменным столом. Сидел и ждал, ничем, кроме ожидания, не занятый. Ожидание тяготило его. Он не привык ждать, он привык, чтобы его ждали. Он привык действовать, распоряжаться, работать, а не сидеть так, молча, с руками, праздно сложенными на коленях. Он прислушался к шагам в коридоре.

«Нет, это еще не Андрей, не его шаги. Я волнуюсь, подумал он, — сумею ли я? Сумею ли объяснить ему, убедить его?». Он достал бумажник и вынул из него сложенный листок. Это было письмо, написанное его собственным почерком. Он смотрел на него, и спокойствие понемногу возвращалось к нему. Не только спокойствие, но и уверенность, что он прав, что то, что он собирался сделать, правильно и необходимо.

— Да, так. Правильно, — сказал он. Другого выхода нет. Правильно.

«Скажи Мише, если я не успею»... начиналось письмо, и сейчас же эти слова повели за собой другие. Стоило только начать «скажи Мише», чтобы память сейчас же продолжила: «что я люблю его, будто он тоже мой сын. Любите друг друга, как я вас люблю».

В дверь постучали. Волков спрятал письмо и встал навстречу входящему.

Это был Луганов, его друг, Андрей Луганов. Волков подошел и обнял его.

— Ну здравствуй, здравствуй, заждался тебя. Здоров? Всё в порядке?

Он внимательно всмотрелся в лицо Луганова своими сине-черными глазами и, повидимому, убедившись, что за время их разлуки никаких особенных перемен с Лугановым не произошло, продолжал, не дожидаясь ответа:

— А я сюда специально для тебя приехал. Надо с тобой серьезно поговорить, очень серьезно.

— Серьезно? — переспросил Луганов удивленно. — Но когда же ты говоришь не серьезно?

Волков мотнул головой.

— Ну, это будет совсем особенная серьезность. А ты всё по-старому, бородачом ходишь? Пора бы, — и он провел рукой по подбородку, подражая движению бритвы.

Луганов пожал плечами.

— К чему?

— И то правда. Поклонниц твоих в этой собачьей дыре нет, некого тебе пленять. Ходи себе на здоровье этаким Чернышевским в ссылке. Мне ты и так нравишься. Только почему она у тебя седая, когда в волосах еще «соли времени» не видно. А я хоть не седею, зато лоб растет. Умнею, видно, на старости лет. Вот и прошу тебя серьезно отнестись к моим умным речам.

Он старался шутить, но это не совсем удавалось ему. Он подвел Луганова к дивану.

— Устраивайся поудобнее, разговор будет длинный. Дай я тебе подушку под плечо подложу.

Луганов сел.

— Как я рад, что ты так неожиданно... — начал он. — Когда я вдруг увидел Федорова, даже не понял сразу. Ведь я тебя только через месяц ждал и...

— Не такое теперь время, — прервал его Волков, — чтобы на месяц вперед рассчитывать. Теперь время не часами, а минутами мерить надо, если хочешь поспеть за

«ходом событий». Спешить надо — не то опоздаешь. Такая кутерьма заваривается!..

Он деловито взбил подушку и подложил ее под разбитое плечо Луганова.

— Так удобно тебе? Я сейчас прикажу, чтобы нам подали чай и не беспокоили.

Он подошел к звонку, держась преувеличенно прямо, чтобы казаться выше ростом. Но он не успел позвонить. Дверь осторожно отворилась и на пороге появился Федоров, бывший матрос, неизменный шофер и деньщик Волкова еще со времен гражданской войны.

— Москва требует по прямому проводу, — доложил он, — вытягиваясь по-фронтовому.

Волков поморщился.

— А, чорт, и поговорить не дадут. Иди себе лучше, Андрей. Извини меня, а то после кремлевских телефонов дела всегда часа на два. Приходи вечером, тогда обо всем спокойно потолкуем. Так жду тебя. Ну, пока...

И он сделал рукой широкий приветственный жест, будто перед ним проходила целая дивизия, а не сутулящийся, бородатый с больной рукой на перевязи, бывший писатель Луганов.

Луганов шел по шаткому деревянному тротуару главной улицы, обсаженной тополями. Прежде она звалась Губернаторской, теперь улицей Великого Человека. Перед тем, как быть названной окончательно, она, как и все главные улицы всех городов и городишек Союза, переменила несколько названий. По смене табличек на перекрестках с именами то Фрунзе, то Троцкого, то Рыкова можно было наглядно проследить борьбу, шедшую в Кремле, восхождение и закат партийных звезд, борьбу, теперь закончившуюся полной победой Великого Человека.

Обязанности секретаря «Городских известий» мало обременяли Луганова. Вот и сегодня, как и почти каждый день, с двух часов уже не было никакой работы и не стоило возвращаться в редакцию.

Очередной номер «Городских известий», как номера таких же, похожих друг на друга по внешности и по содержанию, как близнецы, бесчисленных советских газет, издающихся в бесчисленных провинциальных городах необъятного Советского Союза, составлялся изо дня в день, из года в год по раз навсегда установленному партией образцу.

Главная часть материала — распоряжения правительства, сведения об успехах пятилетки, урожае, молочном хозяйстве, добыче угля или производстве чугуна — перепечатывалась из московских газет или присылалась циркулярно агентством ТАСС вместе с короткими телеграфными сообщениями из разных концов Союза и из заграницы. В этих телеграммах говорилось, по большей части, о тех же видах на урожай, доярках и стахановских достижениях. Из заграницы сообщалось, главным образом, о затруднениях буржуазных и фашистских правительств и о несправедливостях и притеснениях, совершаемых ими в отношении трудящихся своих стран. Сообщалось также неизменно, изо дня в день, об успехах коммунистического движения во всем мире. С тех пор, как началась мировая война, к этому прибавились короткие, бледные, двусмысленные сводки о ходе военных дел.

Работа секретаря была несложна. Надо было на двух страницах небольшого формата расположить эти статьи и телеграммы и выправить корректуру. Корректуру, правда, надо было править очень внимательно: малейшая опечатка, искажающая официальный текст, могла стать для допустившего ее и даже для его начальства источником неприятностей, размеры которых нельзя было предвидеть. Кроме материала, доставляемого из Москвы,

в газете, конечно, помещались и заметки о местной жизни. Они тоже были бледны и коротки. Отчеты о воскресниках, собраниях, какое-нибудь происшествие, какой-нибудь завуалированный донос... Все они были заранее профильтрованы местным партийным комитетом, и разрешение опубликовать тот или другой факт давалось не спеша, с оглядкой на Москву. Самое незначительное сообщение могло оказаться ошибкой, уклоном, нарушением одной из бесчисленных и всё время меняющихся, несмотря на кажущуюся неизменность, партийных директив. Малейшая ошибка или недосмотр могли оказаться апельсинной коркой, на которой поскользнется и полетит со своего места секретарь или редактор газеты или тот или иной городской администратор.

Поэтому нередко случалось, что о пожаре, на котором присутствовал весь город, писалось неделю спустя, а иногда и совсем не писалось, будто его и не было. Кто его знает, кого надо винить в возникновении пожара? Может быть, архитектора? Может быть, обитателей дома? Может быть, кого-нибудь совсем другого, не имеющего никакого отношения ни к дому, ни к пожару, от которого сгорел этот дом. Кроме того, немногого, что, по соображениям внутренней политики, предназначалось стать известным, ни редактор газеты, ни ее сотрудники, ни читатели ее не знали ровно ничего из того, что творилось в мире и в чем, так или иначе, разбирается любой грамотный человек в любой другой стране.

Незнание окутывало Советский Союз, как атмосфера окутывает землю. В его непроницаемой неподвижности было нечто непререкаемое. Незнание, в котором родился, жил и умирал советский гражданин, было совсем иным, чем, например, незнание канадского фермера или нормандского рыбака, тоже мало о чем знающих, кроме урожая или рыбной ловли. Это было особенное незнание, обязательное для граждан Советского Союза, непреодоли-

мое, как закон природы. Конечно, не всё принималось читателями на веру. Конечно, возникали протесты, недоумения и вопросы, но вопросы погасали сами собой, недоумение таяло, протесты бледнели в колеблющемся и неустойчивом сознании. Поделиться или поговорить было не с кем. Самый близкий человек может донести НКВД. А единственный советник, 25-летняя рабская покорность и пролетарская дисциплина, подсказывали, что надо подчиняться, не разсуждая, что это необходимо. Раз необходимо, следовательно, и правильно и хорошо, и нечего тут разсуждать и задавать праздные вопросы.

Луганов завернул в переулок. Что хотел сказать Волков? О чем? Чувство, похожее на скользкий страх, вдруг, как прозрачная тень, пробежала по листве тополей и по лошадиной голове с белым пятном, выхватив из общего пейзажа эту листву и эту лошадиную голову.

На что намекал Волков? Вера? Вздор, это не может касаться Веры. Должно быть, что-нибудь насчет газеты. Не надо беспокоиться. — Он толкнул зеленую калитку и по усыпанной гравием хрустящей дорожке зашагал к низкому белому дому, увитому диким виноградом. В прихожей его встретила хозяйка, женщина лет пятидесяти, из «бывших», с высокой прической и с болтавшимся на черной ленточке лорнетом с давно выпавшими стеклами.

— Ах, — деланно вскрикнула она, будто появление ее жильца было для нее неожиданностью. И сейчас же, подняв пустые ободки лорнета к глазам, жеманно добавила:

— Быть вам богатым, Андрей Платоныч, не узнала. Не хотите ли чайку? По такой жаре очень освежает. И я бы с вами с удовольствием... А то одной пить скучно.

— Нет, спасибо, — вежливо отклонил Луганов. — Занят. Работы много.

— Жаль! — хозяйка недовольно уронила свой лорнет и он закачался, как маятник — от надежды к огор-

чению. От надежды — «а вдруг всё-таки жилец придет», к огорчению — «этот медведь опять запрется у себя до ужина».

— Я сегодня варенье сварила. Вишневое. Отлично удалось.

Но и варенье не имело успеха. Луганов уже осторожно обходил пышную фигуру хозяйки. Она вздохнула:

— Жара какая. Тоска, тощища какая.

Он знал, что ей невыносимо скучно и что его отказ огорчил ее.

— В другой раз, — и он открыл свою дверь. В комнате был полумрак. Хозяйка, хотя он и просил ее не делать этого, наглухо затворяла ставни и окно «для прохлады». Она, как и все южане, вела постоянную борьбу с солнцем.

«И чего скучает, чего тоскует? — осуждающе подумал он о ней. — Радоваться должна бы старая дура, что оставили ей дом и сад и даже мужа-полковника. Здесь, в провинции, еще жить можно, места достаточно, а в Москве наплакалась бы: отвели бы ей с мужем-полковником жилплощадь за ширмами в чужой комнате. А тут — вари себе варенье, разводи кур и гусей и еще нахлебника держи для дохода». И всё-таки ему было немного жаль этого «обломка прошлого», с его лорнеткой, старорежимностью и гостеприимством.

Луганов растворил окно, повесил шляпу на вешалку и лег на клеенчатый диван с высокой резной спинкой, уютно пристроив подушку под больное плечо. Он с благодарностью думал о том, что спешить никуда больше не надо до самого вечера, когда он снова увидит своего друга. Он, улыбаясь, смотрел в сад, сиявший сплошным сиянием радужно расцветающей в нем жизни. Всё жило, всё сияло, благоухало, жужжало, и он зажмурился, подставляя лицо солнцу. «Мне придется с тобою серьезно поговорить» — вспомнил он снова. — Нет, не надо бес-

покоиться. Всё хорошо и будет хорошо». Он протянул руку, взял со стола английскую Библию, положил ее рядом на подушку, открыл ее наудачу и прочел: And the Lord said to Joshua: Fear not neither be thou dismayed[1]. Это был ответ. Да, это был как раз тот ответ, которого он ждал. Он не стал читать дальше. Он громко повторил «Fear not». Да, бояться было нечего. Он и не боялся. Ничего дурного не могло исходить от Волкова. Волков был защитником, добрым вестником, другом. Другом, главное другом. Другом с большой буквы.

---

1 Сказал Господь Иисусу Навину: «Не бойся и не ужасайся».

ГЛАВА ВТОРАЯ

Дружба их началась 16-го августа 1905 года, с первого же дня гимназической жизни. Во время перемены между уроками его сосед по парте ткнул его локтем в бок и спросил:

— Как тебя зовут?

— Андрик Луганов.

Спросить, как зовут соседа, он не решился. К тому же он не знал, говорить ли ему вы или ты. Но тот сам с серьезной важностью назвал себя:

— Волков Михаил, — и, помолчав, добавил гордо: — Я круглый сирота.

Луганов не понял, что значит «круглый». Он сам был сиротой, отца своего он не помнил. Но своим сиротством он не гордился, как, впрочем, и не тяготился им. Он стал распаковывать свой новый ранец, вынул из него аккуратно обернутые синей бумагой книжки и тетрадки, потом достал пенал с карандашами, ручками и новым перламутровым ножиком, накануне подаренным ему матерью.

Сосед с любопытством следил за ним.

— Сразу видно — тихоня. Первым учеником будешь. Покажи, покажи ножик. Знатный, дорогой, должно быть.

Луганов подал ему ножик. Волков быстро открыл все его четыре лезвия, и глаза его засверкали. — Мне бы такой!..

— Возьмите, — сказал Луганов, краснея. — Я вам дарю.

Волков удивленно посмотрел на него своими черно-синими глазами и тоже густо покраснел.

— Зачем? Разве тебе не жалко?

Луганов покачал головой. Нет, ему не было жалко. Душа его вдруг раскрылась навстречу новому, еще не испытанному ею чувству дружбы и требовала жертв.

— Пожалуйста, возьмите. Пожалуйста!

И Волков, немного поколебавшись, спрятал ножик в карман. Он не успел даже поблагодарить, — в класс входил учитель.

На большой перемене, когда они рассказали друг другу все события своих коротких жизней, Волков спросил Луганова:

— Хочешь, будем друзьями?

И Луганов сразу ответил:

— Хочу, — и добавил с уже тогда свойственным ему романтизмом:

— На всю жизнь. До самой смерти.

Это «до самой смерти», повидимому, поразило Волкова. Он дважды торжественно повторил, перед тем, как они крепко пожали друг другу, запачканные чернилами, руки:

— До самой смерти!

Так началась их дружба, которой, действительно, было суждено длиться всю жизнь, до самой смерти.

Волков был тогда похож на цыганенка, маленький, крепкий, смуглый, с очень блестящими сине-черными гла-

зами. Он постоянно смеялся, говорил, размахивал руками, двигался. В нем, как ветер, носились оживление и радость, прорываясь наружу смехом, криками, взмахом рук. Ему было тяжело молчать на уроках, тяжело сидеть неподвижно.

— Я ненавижу гимназию, — решил он тут же. — А ты?

Но Луганов не согласился с ним. Напротив, ему в гимназии всё очень понравилось. И он был горд, что и у него теперь есть друг. Друг на всю жизнь. До того дня у него друзей не было.

Он хорошо помнил тогдашнего Волкова. Но себя самого он не мог себе представить иначе, чем окруженным овальной золоченой рамкой, в черном бархатном костюме с кружевным воротником и белокурыми локонами. Таким, как он на большом портрете, в спальне матери. Конечно, поступив в гимназию, он почти утратил сходство с этим портретом. Локоны были острижены под машинку и бархатный костюм заменила гимназическая форма. Он помнил фуражку с гербом, черную гимназическую блузу, кушак с металлической бляхой, пахнущий, как сбруя, и ощущение всей этой сбруи, надетой на него. Но лица своего он не видел. Лицо его попрежнему окруженное светлыми, уже не существовавшими локонами мечтательно и рассеянно улыбалось из овальной рамы.

Мать его, Катерина Павловна, была вдовой профессора, всю свою молодую страстность и все мечты обманувшей ее жизни воплотившая в своем сыне. Она заранее решила, что сын ее будет замечательным человеком, что он будет знаменит. Она гордилась им со дня его рождения. Он еще лежал в колыбели, а она уже записывала в толстую тетрадь «материалы для биографии Андрея Платоновича Луганова»:

«Он очень редко плачет. Он лежит молча с откры-

тыми глазами. Он всегда старается смотреть вверх. Когда его подносят к окну, он протягивает руку, будто показывает на небо».

Она записывала все его слова и жесты. Она вклеивала в тетрадь его первые рисунки. Ведь она еще не знала, в какой области он будет знаменит. В пять лет он сочинил первое стихотворение про ежика, и тогда она решила, что он будет писателем. В это лето, стоя на мостках купальни, он упал в озеро. Она сейчас же вытащила его. Вода возле берега была теплая и неглубокая. Он не испугался. Он спросил ее, когда его уже успели обсушить и переодеть:

— Мама, это я действительно упал в воду или во сне?

Ее очень взволновало это «или во сне». Значит, он не сознавал разницы между жизнью и сном. Значит, он жил, как во сне? Конечно, это было признаком поэтичности его натуры. Но как непонятны талантливые дети! Вот уже он живет в другом мире, чем она. А что будет, когда он вырастет? Пока он маленький, он принадлежит только ей. От нее зависит, чтобы его детские впечатления были радостными и праздничными, чтобы он, как можно дольше, не догадывался даже, что не всё благополучно на земле, что не все счастливы. И, главное, что существует смерть, что все должны умереть. Он рос одиноко. Она боялась дурного влияния других детей. Они так жестоки и грубы. Они мучают животных, они разоряют гнезда, а он даже не знал еще, что существует смерть. Она водила его в церковь, но не учила Закону Божьему. Он не слышал еще об аде и о втором пришествии, о страшном суде, так отравившем страхом ее детство. Он не знал, что есть грех. Она рассказывала ему о Боге. Бог добро и любовь, с Богом всё возможно. Бог любит тебя и ты должен любить Бога. Когда ему исполнилось восемь лет, она вдруг

забеспокоилась и засомневалась в системе своего воспитания. Хорошо ли, что он растет так одиноко, что он так молчалив? Он сидел часами перед аквариумом в гостиной, следя за золотыми рыбками, плавающими между искусственными коралловыми рифами.

— Андрик, разве тебе не скучно?

Нет, ему не было скучно. Ему, повидимому, никогда не было скучно.

— Что ты делаешь, Андрик? — спрашивала она его. Он поднимал голову и серьезно смотрела на нее:

— Я играю.

Она удивлялась. Он сидел у окна и смотрел на небо, на меняющиеся облака.

— Какая же это игра? Как в нее играть? Он улыбался.

— Так.

И снова умолкал.

Она стала водить его в Таврический сад. Он катал по аллеям свой золоченый обруч, подгоняя его золоченой палочкой. Он был очень красив в бархатном костюме, с локонами, и матери остальных детей любовались им. И это ей было приятно. Но он не хотел бегать с детьми, он не хотел разговаривать с ними. Они не нравились ему. Он отворачивался от них. Он становился один под дерево и стоял тихо и неподвижно. Солнце падало сквозь молодую листву на его лицо, и он улыбался и жмурился.

— Что ты делаешь, Андрик?

— Я играю, — говорил он мечтательно.

Он был здоровым ребенком, он очень редко хворал и никогда не жаловался ни на усталость, ни на головную боль. Он не капризничал. Его не приходилось уговаривать есть, он не плакал, когда его укладывали спать. И всё-таки она сознавала, что он был странный, особенный.

Впрочем, это было естественно: ведь он, когда вырастет, станет знаменитым, а знаменитые люди все были необычайными детьми.

Она читала педагогические книги, она советовалась с профессорами, друзьями своего покойного мужа, о воспитании Андрика. Когда ему исполнилось десять лет, она спросила его, не хочет ли он поступить в гимназию. И он, к ее удивлению, ответил:

— Очень хочу. И поскорее!

Будто он давно обдумал и решил вопрос о своем поступлении в гимназию.

Тогда же, той же весной, он выдержал экамен во второй класс, и она с грустью думала о том, что теперь он будет полдня проводить вдали от нее, что у него заведутся друзья, и он уже не будет целиком принадлежать ей.

И, действительно, в первый же день, вернувшись из гимназии, он рассказал ей о Волкове Михаиле — «друге на всю жизнь». Ее сердце сжалось от ревности. Она не ожидала, что это произойдет так быстро. Она уже перестала быть его единственной любовью.

Распаковывая его ранец, она увидела, что нового перочинного ножика нет.

— Где твой ножик, Андрик?

И он сейчас же объяснил, радостно улыбаясь:

— Волков согласился его взять. Ему очень понравился.

Она с трудом сдержала упрек. Как легко он раздает ее подарки. Но она сдержалась. Она смолчала. Она чувствовала, что этот Волков грозит ее счастью, что это настоящая опасность. Необходимо было увидеть эту опасность, узнать ее, чтобы бороться с ней, бороться и победить ее.

— Пригласи твоего друга к нам в воскресенье, — сказала она.

В воскресенье, готовясь к встрече с «опасностью», она оделась и причесалась еще тщательнее, чем обыкновенно. Она выработала целый план действий. Она уже ненавидела этого отвратительного Волкова, отнимающего у нее ее Андрика.

В прихожей позвонили. Она вышла в гостиную, шурша шелковыми юбками. Она была готова к борьбе.

Но опасность, но враг оказался совсем не таким, как она воображала. По рассказам Андрика выходило, что Волков очень серьезный и гораздо старше Андрика, что он совсем большой. Но он, напротив, был маленький, гораздо меньше, чем Андрик, и гораздо ребячливее его. Плохо остриженные волосы торчали вихрами на затылке, гимназическая форма, явно сшитая на вырост, придавала ему вид кота в сапогах. Он шаркнул ножкой в дешевом, не по росту большом башмаке и вежливо поздоровался с ней, поцеловал ей руку. И она, позабыв все свои планы, нагнулась к нему и нежно поцеловала его смуглую щеку.

— Здравствуй, Мишук, — прошептала она, еле сдерживая слезы.

Ведь и ее Андрик был бы таким жалким, таким заброшенным, если бы она умерла. Бедный сиротка. И она могла его, такого маленького и милого, ненавидеть?

Она взяла его за руку, а другую руку протянула Андрику.

— Пойдем, друзья, — сказала она им, называя их «друзьями», будто их дружба была самое характерное в них. — Сейчас позавтракаем. Будут рябчики и мороженое, а после завтрака я повезу вас в цирк.

С того дня Волков Михаил начал проводить все праздники у них в доме. Катерину Павловну он полюбил

сразу сиротской, жадной любовью. Он был гораздо нежнее Андрика. Он не умел ни сдерживать, ни скрывать своих чувств. Он терся щекой о ее колени, тыкался в них носом, вдыхая запах ее духов. Он ложился на ковер у ее ног, изображая собаку и рыча на прислуг, подходивших к ней. Он звал ее — мама-Катя, и Андрик, из подражания ему, стал звать ее так же.

Она скоро поняла, что Андрик правильно выбрал себе друга. В Мишуке — это имя так и осталось за ним — была шумная веселость, предприимчивость, непоседливость и живость, недостававшие Андрику. Нет, она больше не ревновала его к сыну. Она была благодарна судьбе, пославшей ей Мишука. Она полюбила его.

На лето она увезла его с собой в ее имение. Она подарила им обоим по пони, и они втроем стали выезжать каждое утро на прогулку. В длинной амазонке с развевающимся зеленым ваулем на шляпе она казалась им королевой, они чувствовали себя ее пажами, скача галопом по обе стороны ее шедшего рысью, золотистого коба.

По вечерам она при свете свечей играла на рояли и пела для них. Высокие окна гостиной были отворены, и соловьиные трели отвечали ей из парка.

Осенью ей стало совершенно ясно, что ни она, ни Андрик уже не могут расстаться с Мишуком. Мишук стал им так же необходим, как они были необходимы ему. И она, списавшись с его опекуном, раз и навсегда поселила его у себя.

Они оба учились хорошо. Она не требовала от них, чтобы они были первыми учениками. Но она объяснила им, что их плохие отметки очень огорчили бы ее. Настолько, что она могла бы заболеть, а этого они боялись больше всего. У нее было слабое здоровье, она была нервна. Они учились для нее, чтобы она была довольна и здорова.

Возвращаясь из гимназии, они останавливались возле незанавешанных окон подвальных квартир. Темнело, и там, внизу, уже горели лампы и было видно всё, что происходит в убогой комнате. Рабочий строгал доску, девочка на полу играла стружками, в углу женщина стирала белье в лоханке, мыльные хлопья падали, как снег, на пол.

Мальчики смотрели в окно.

— Вот, — говорил Андрик, — они живут, по-настоящему живут. И всё у них настоящее. И хлеб на столе, и вода горячая в корыте, пар от нее и мыло вот, а у нас как будто только декорация, как в театре. И всё не настоящее. Я не умею тебе объяснить, но ты ведь то же чувствуешь, Мишук.

Нет, Мишук не чувствовал, не понимал, о чем говорит его друг. Его не это занимало. Он смотрел в окно и видел бедность этих людей и то, как им тяжело живется, как они трудятся. Девочка заплакала — и девочка плачет наверно от того, что голодна. «Несправедливость!» — возмущался он. Девочка продолжала плакать. Плача не было слышно, окна на зиму были плотно заклеены, но видно было, как она, надрываясь, открывала рот. Женщина в углу бросила белье, подошла к девочке и рукою в мыльной пене ударила ее по щеке. Девочка упала навзничь. Мужчина, строгавший доску, поднял злое грубое лицо и погрозил рубанком. Кому? Девочке или женщине, или им обеим?

— Пойдем, пойдем, — Мишук потащил друга за собой. — На это нельзя смотреть. Нельзя. Они не виноваты, что они злые, грубые. Они бедны, они не виноваты.

Андрик не понимал и возмущался.

— Она скверная, злая. Зачем она била ребенка?

— Оттого, что она устала, что она измучена, оттого, что у богатых всё есть, а у бедных ничего нет — объяс-

нял Мишук. — Богатые виноваты. Во всём виноваты. Всегда.

Они шли домой, рассуждая о бедности и о горе. Теперь Андрей знал, что на свете есть горе и смерть. Ему было жаль людей там, в подвалах, и всё-таки он не мог отделаться от легкой зависти к ним.

Ему почему-то казалось, что они, как и все остальные люди, которые идут по улице, едут в трамвае или в экипажах, независимо от их богатства или бедности, от их счастья или горя, живут настоящей жизнью, недоступной ему. А он только притворяется, что живет, и всё кругом него — только театральная декорация. Он много читал, он знал много стихотворений наизусть и сам писал подражания им. Катерина Павловна переписывала их в свои «материалы для биографии А. Луганова». Теперь для нее уже было совершенно ясно: Андрик будет писателем. Она убеждала его, что это его призвание. Она накупала ему книг и вместе с ним читала их. Она взяла ему учителя английского языка, чтобы он мог читать Шелли и Китса в подлиннике. Мишук не интересовался поэзией, не любил ни театра, ни музыки. Учиться английскому языку он тоже отказался. Его очень рано начали интересовать социальные вопросы. В шестом классе он уже был революционером. Катерина Павловна не мешала ему.

Вышло как-то само собой, что мальчики, оставаясь друзьями, всё-таки до конца откровенны были только с ней. Она одинаково хорошо понимала обоих. Эта близость к ней не только не расстраивала их дружбы, но еще больше скрепляла ее. Они еще сильнее любили друг друга оттого, что она любила их обоих.

— Любите друг друга, — повторяла она им часто. — Если вы любите меня, любите друг друга. Тогда вам всё в жизни удастся.

Весной 1913 года они кончили гимназию и оба по-

ступили в университет. Андрей — на филологический, Михаил — на юридический факультет.

Лето они, как всегда, проводили в имении. Это было их последнее лето втроем, и, хотя они еще не знали этого, им всем казалось, что никогда еще не было такого чудного, такого радостного лета. Сад вокруг белого дома с колоннами буйно и густо разросся. Жасминовые кусты знойно благоухали под солнцем, аллеи были полны теней и блеска, шелковисто-нежный ветер мягко шуршал листьями, заставляя деревья весело кланяться новым студентам. По ночам каждый куст звенел от соловьиного пения. Звезды, луна и небо казались первозданно-прекрасными. И каждый день начинался для Андрея, как богослужением, встречей рассвета над высоким обрывом.

Но Катерина Павловна была часто грустна и тревожна. Теперь, когда они выросли, когда они стали студентами, они скоро уйдут от нее. И она останется одна. И хотя они оба обещали ей никогда не расставаться с ней, она только качала головой, недоверчиво улыбаясь. Они влюбятся, они женятся, они захотят жить своим домом. И она потеряет их. И что тогда будет с нею?

И она, действительно, потеряла их. Но это произошло совсем не так, как она ждала.

Зимой в Петербурге зажили бестолковой, шумной студенческой жизнью. С утра до вечера в их квартирах толклись студенты и курсистки. Годы молодости вдруг снова воскресли для Катерины Павловны. Она ходила на сходки, на собрания, помогала устраивать концерты. Товарищи Миши давали ей прятать революционную «литературу». Товарищи Андрея читали с ней Метерлинка и Клоделя. Она нравилась им всем и они все тоже нравились ей.

Но эта беспечная жизнь продолжалась недолго. В одно декабрьское утро, когда за окнами было еще черно

зимней морозной чернотой, к ним позвонили. Она спала. Она не слыхала звонка. Она, такая нервная, такая чуткая, не услышала, как в дом, звеня шпорами, вошла беда.

Горничная, растрепанная, без передника и наколки, вбежала в ее спальню с криком:

— Барыня, там полиция!

Катерина Павловна накинула халатик и вышла в гостиную. Вся квартира была ярко освещена. На пороге комнаты Миши ее встретил жандармский ротмистр. Он вежливо поклонился ей, щелкнув шпорами:

— За вашим пансионером приехали. Не волнуйтесь, сударыня. Рад за вас, сударыня, что это не ваш сын.

Миша стоял у окна в студенческой тужурке поверх растегнутой ночной рубашки. Лицо у него было совсем как у молодого рабочего на картине «Арест». Мальчишеское, злое, упрямое лицо с выражением решимости принести себя в жертву.

Увидев ее, он смутился. Его сине-черные глаза потускнели. Он откашлялся, прочищая голос.

— Это пустяки, мама-Катя. Главное, ты не волнуйся.

«Не волнуйся». Как будто дело было в ней и в ее волнении...

Он ушел из их дома или, вернее, его увезли. И это случилось не оттого, что он стал тяготиться их общей жизнью. Нет, он ничем не был виноват перед ней. Скорей она была виновата перед ним — тем, что поддерживала его революционные стремления, тем, что разделяла его взгляды, и всей душой возмущалась многим творившимся тогда в России.

Хлопоты об освобождении не привели ни к чему. Она напрасно просила, писала, обивала пороги.

Из Сибири приходили длинные, почти веселые письма. Он совсем не отчаивался. «Я учусь, — писал он ей, — тюрьма тот же университет». Его письма обыкновенно приходили с утренней почтой.

В то утро она проснулась с дурным предчувствием и лежала в постеле, жалея, что ночь уже прошла. Она не ждала ничего хорошего от этого апрельского дня. Письма от Миши, наверное, опять не будет. Уже больше недели от него нет писем, и сегодня — она чувствовала — тоже не будет. А Андрик хмурится и молчит. И наверное опять будет нервничать, хмуриться и молчать.

Он месяц тому назад издал свою первую книгу. Она лежала тут, на ночном столике. Катерина Павловна читала ее столько раз, что знала ее наизусть. В университете все были в восторге от нее. Но газетных отзывов еще не было. Она старалась объяснить ему, что еще рано, что о первой книге вообще редко пишут, но Андрик становился всё сумрачнее и угрюмей.

— Не утешай меня, — говорил он только. — Я понимаю. Это — провал.

Прислуга вошла, не постучав, и раздвинула шторы на солнечном окне.

— Письмецо из Сибири, — радостно сообщила она, кладя конверт и газету на постель.

И опять, как всегда, было трудно разорвать твердый конверт дрожавшими пальцами, и буквы расплылись перед глазами, полными слез.

Письмо было не от Миши. Незнакомый почерк. Сердце остановилось. Что-то случилось. Раз не Миша пишет, значит он... она не успела додумать — болен, умер. Она уже читала, что он жив, только ранен, и оттого не сам пишет. В тюрьме был бунт. Многих ранили. И Мишу. Тяжело. Штыком в живот. Но он уже поправляется. В больнице, где он лежал, он всех поддерживал, ухаживал

за всеми. Чтобы ночью дать пить товарищу, он дополз до его кровати. Дополз. Идти от боли он не мог. И, несмотря на боль, он всех веселил и смешил, не позволяя приходить в отчаяние. «Он — герой, — писал незнакомый корреспондент. — Вы должны гордиться им».

Она перечла письмо еще раз, перекрестилась и вытерла глаза. «Слава Богу, он жив! Слава Богу! Но как тяжело, как грустно. В тюремной больнице. И некому ухаживать за ним».

Конечно, Миша был только другом Андрика, чем-то в роде его тени. Ведь ее сын — Андрик, а Миша для нее чужой. Но ее сердце всё-таки болело, будто и он тоже был ее сыном, ее не рожденным ею сыном. Она вздохнула и раскрыла газету. Она всегда читала всю газету, начиная с передовой статьи. Напрасная трата времени. Ничего интересного всё равно не узнаешь. Она сейчас интересовалась только Мишей и Андриком. О них ничего не прочтешь здесь. И вторично за это утро ее хваленое предчувствие обмануло ее. Газеты зашелестела и задрожала в ее пальцах.

«Андрей Луганов», — прочла она. Это была большая статья, подписанная именем знаменитого критика. В ней Андрей Луганов был назван наследником Гоголя и Достоевского и ему сулилась огромная будущность.

И совсем как в то утро, когда пришли арестовать Мишу, она вскочила с постели, накинула халат, сунула босые ноги в туфли и выбежала из спальни.

Андрей никогда не задергивал штор на окне на ночь. Он большо всего любил рассвет. «Если я даже сплю, то я и во сне чувствую, что золотой рассветный час тут, в моей комнате», — говорил он. Но теперь рассвет уже был позади. Пыльный, солнечный луч слегка задевал край подушки и вьющиеся волосы Андрея, образуя что-то похожее на сияние над его молодым усталым, сумрачным

лицом. Он лежал так, спокойно и безжизненно. Он дышал так тихо, что его дыхания не было слышно.

Такой он будет мертвый в гробу, — почему-то подумала она. Она вбежала сюда, победно размахивая газетой, как знаменем. И вот она стояла на пороге, прижимая газету к груди от острой жалости к Андрею. Пусть спит. Пусть продолжает спать. Не надо его будить. Не надо. Она не решалась разбудить его, будто она должна была сообщить ему что-то, что омрачит его жизнь, будто лучшее, что могло случиться с ним, был этот сон, долгий сон. Вечный сон.

— Бедный, бедный Андрик!

Она встряхнула головой. Что с ней? Она сошла с ума. Это Миша бедный, она спутала Мишу с Андриком.

— Андрик, Андрик! — крикнула она, не давая себе времени разобраться в своих мыслях. — Вот тут! Смотри! смотри! — о тебе!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Луганов проснулся знаменитостью. Знаменитость нисколько не удивила его: он ждал ее. Он был подготовлен, она пришла к нему как раз во-время, не слишком рано, не слишком поздно, как обыкновенно приходят события, а в нужный день и час.

Необычайность случившегося с ним была не в том, что он буквально за одну ночь стал знаменитым. Такие вещи случались и с другими. Последние годы, перед Первой мировой войной, в России были полны небывалого стихийного роста материальных и духовных сил. Возникали банки, строились железные дороги, появлялись изобретатели, ученые, артисты. Начались лихорадочные поиски талантов во всех областях. Их открывали наперебой, под гром рекламной шумихи, в угоду жаждавшей новизны публике.

Для вновь открытого таланта наступала феерическая полоса жизни. Банкеты, поклонники, поклонницы. Никак нельзя было понять, откуда бралось такое количество богатых и праздных людей, ничем не занятых, кроме желания угождать и поклоняться новой знаменитости. Шампанское, загородные поездки к цыганам, публичные выступления. Предложения подписать выгодный контракт на еще не существующие произведения. Фотографы, охотящиеся за портретом «нашего знаменитого в тиши рабочего кабинета», в халате, с любимой кошкой или со-

бакой. Или, за неимением пока ни кабинета, ни халата, ни даже кошки-собаки, просто с книгой, принесшей новой знаменитости его еще цветущую, первым нежным цветом, славу. Еще цветущую, но уже готовую от слишком бурного и горячего вихря восторгов поблекнуть, засохнуть, осыпаться. Осыпаться, навсегда похоронив под легким снегом своих лепестков неудачника-знаменитость, не сумевшего удержать удачу. Не сумевшего удержать? Но разве легко удержать эту скользкую, вьющуюся, как угорь, рвущуюся из рук удачу среди шампанского, влюбленных женщин и упоительной лести, когда качели жизни, вдруг размахнувшись, заносят счастливца так высоко над землей, что небо кажется совсем близким, голова кружится и сердце почти перестает биться?

Но Луганов сумел удержать удачу. И он, конечно, прошел через пьяный восторг первых дней. И у него кружилась голова и ему хотелось расстегнуть воротник студенческой тужурки, чтобы не захлебнуться от восторга, чтобы передохнуть, перевести дыхание, почувствовать твердую землю под ногами.

Но он не подписывал контрактов, не прокучивал гонораров за еще не написанные книги, не ездил в триумфальное турнэ по провинциальным городам.

Он отрезвел быстро. Отрезвел настолько, что мог подготовиться, сдать весной экзамены и уехать с матерью в усадьбу на лето.

В деревне он жил, как обычно. Слава нисколько не изменила его. Он был попрежнему молчалив и мечтателен, и Катерина Павловна попрежнему спрашивала его, о чем он думает. Теперь она по праву могла гордиться им. Случилось именно то, что она предсказывала. Но, хотя это и было странно, она должна была сознаться, что она не совсем счастлива, она не была спокойна, ее мучил вопрос: что будет дальше? Что будет дальше с Андриком и Мишуком?

Луганов теперь ездил верхом один. Проезжая по бедной деревне, мимо осевших под тяжестью времени изб, он испытывал стыд и смущение. Он сознавал, как он красив на своем прекрасном арабском коне. Он сознавал, что его белая куртка, его светлые, вьющиеся волосы и в особенности улыбка, с которой он отвечал на низкие поклоны крестьян, корявых, грязных, похожих на высовывавшиеся из земли корни деревьев, — больше летнего солнца украшали этот нищий пейзаж. Бедность этих полей и крестьян, работавших на них, заставляли его болезненно морщиться. Он не мог не чувствовать, что для этих людей он существо из другого, чуждого, недоступно-счастливого мира. Они глядели ему вслед, они завидывали ему, и он до боли стыдился. Стыдился того, что он барин, что ему не надо пахать, обливаясь потом, стыдился своих чистых рук, даже своей улыбки и своего беспомощного желания загладить свою вину перед ними папиросами, которые он раздавал встречным крестьянам, и леденцами, которые он дарил крестьянкам и их грязным детям.

Чувство вины и ответственности за несправедливость и зло мира омрачали прелестный поэтический уклад помещичьей жизни. Теперь, в угоду Мише, Катерина Павловна возилась с крестьянами, лечила их, устроила у себя школу для взрослых.

— Миша бы одобрил твои затеи, — сказал ей как-то сын, и она вся вспыхнула от удовольствия. Но ни школа, ни лечебница не занимали его. Это ведь была только забава. Серьезной помощи от них крестьянам быть не могло.

Это же чувство вины и ответственности заставило его пойти добровольцем на войну. Нет, он совсем не хотел воевать, но сцены гульбы рекрутов, и плача их жен, всё это отчаяние, выражавшееся пьяными песнями, игрой на гармонике с плясками всю ночь напролет, женскими

слезами, воплями и причитаниями, как над покойником, — обнажили перед ним слишком много горя. Ему, как единственному сыну, не надо было идти на войну. Он и в этом был привилегирован. Но ему была отвратительна его привилегированность. Когда он сказал матери о своем решении, она только вздрогнула. Она сидела на низеньком стуле и вышивала. Свет лампы падал на ее работу и освещал ее склоненную, изящно причесанную голову. Лицо ее было в тени и он не видел, изменилось ли оно. Он видел только, как она вздрогнула. Ножницы упали на ковер к ее ногам. Она еще ниже нагнулась и подняла их.

— Что же? — сказала она, помолчав немного. — Наверно, ты прав, — и добавила, будто говорила сама с собой. — Вот я и осталась одна. На старости лет...

— Но ведь война скоро кончится. И ведь тебе, мама, только сорок лет. Мы еще успеем отлично пожить с тобой.

— Успеем? Разве успеем? — она недоверчиво улыбнулась и покачала головой. — Ты, конечно, прав, Андрик. Я не стану тебя отговаривать...

Он уезжал из дома осенним вечером. Деревья в саду уже облетели и стояли голые и черные, с тем особым бедным и голодным видом, который бывает у деревьев осенью в России. Влажные, рыжие листья шуршали на аллеях. Их некому было сгребать, садовника уже взяли на войну.

Катерина Павловна проводила сына только до въезда в парк. — Тут мы простимся, — сказала она. — Тут, в нашем парке, одни. На вокзале, на людях мне было бы еще тяжелее. Ты уж прости. Поцелуй меня еще раз, Андрик. Она перекрестила его и поцеловала несколько раз, — Не беспокойся обо мне. Мне будет хорошо. Я буду здесь ждать тебя. Конечно, ты прав...

Коляска остановилась, но она не сразу вышла из нее. Она как будто не решалась расстаться с ним. Она сидела

рядом с ним, держа его руку в своей руке, жадно глядя на него. — Ну, поезжай, а то ты так и к поезду опоздаешь.

Она встала и с легкостью, которой он всегда удивлялся, сошла с коляски.

— С Богом, — сказала она и махнула рукой. Кучер дернул возжами.

Она стояла возле белой, печально облетевшей березы и смотрела не на Луганова, а на лакированный кузов коляски, на высокие колеса.

Осенний вечер был мрачен и величествен. С неба плыл медленный, заглушенный вечерний звон.

Он, обернувшись, долго смотрел на нее. Она стояла неподвижно. Она не махала платком. Не кивала. Не улыбалась. Она стояла, опустив руки, в позе совершенного отчаяния.

Он не мог вынести вида ее отчаяния. Он крикнул, не найдя других слов:

— Иди домой, мама, простудишься!..

Она подняла голову и вдруг, будто только сейчас поняв, что это он, ее сын, ее Андрик уезжает на войну, бросилась за ним. Он на ходу выскочил из коляски и побежал к ней навстречу. Она упала на него, почти повисла на нем. Теперь она плакала. Слезы бежали струйками по ее бледному, неподвижному лицу. Она сквозь слезы молча целовала его. Еще и еще.

— Ну вот, ну вот, — проговорила она, неожиданно задумчиво. — Теперь всё, теперь поезжай...

Он снова сел в коляску.

Она осталась стоять на дороге, беспомощно клоня голову под ветром. Он подумал, что его могут убить, что он видит ее в последний раз. И он удивился, что она еще так молода, совсем молода, будто сестра, провожающая брата на войну. «Нет, не сестра, — будто невеста, —

подумал он. — И она наверное знает, что меня убьют, что она видит меня в последний раз»...

Он вдруг засомневался — прав ли он? Разве можно причинять такое горе матери? И что будет с ней, если его действительно убьют, и она останется одна?..

Но его не убили на войне. И он еще несколько раз видел ее, когда приезжал на побывки с фронта. Но почему-то, когда он вспоминал теперь о ней, он всегда видел ее стоящей на осенней мокрой дороге — такой молодой, несчастной, жалкой, такой обреченной на вечную разлуку с ним.

На вечную разлуку. Предчувствие, так мучившее ее и не дававшее ей пользоваться всеми счастливыми годами их прошлого, снова обмануло ее. Смерть. Но не его, а ее смерть разлучила их.

Осенью 17-го года, за два дня до того, как спалили их имение, она писала ему на фронт:

«Если со мною случится что-нибудь плохое, Андрик, не сердись на крестьян. Прости их. У них сейчас мозги набекрень от свободы. Они пьяны ею, а когда пьяны, всегда звереют. Надо их понять. Я твердо уверена, что они меня любят и потом пожалеют. Но из города приехали большевики и ведут пропаганду... Скажи Мишуку, если бы я не успела ему написать, что я его очень люблю. Как будто он тоже мой сын. И что я прошу вас обоих — любите друг друга. В память обо мне, всегда любите и помогайте друг другу, любите друг друга, как я люблю вас обоих»...

Это письмо Луганов получил уже после ее смерти. Ему так и не удалось выяснить, сгорела ли она во сне, или крестьяне заперли дверь ее спальни до того, как подпалить дом. Она сгорела заживо. Это было всё, что он знал. Крестьяне хмуро отворачивались, когда он расспрашивал их.

— Не мы это сделали. А мешать не могли.

Луганов простил, хотя это прощение не легко далось ему. Впрочем, если бы даже он не простил, это ничего бы не изменило.

Теперь к чувству вины перед народом прибавилось чувство вины перед матерью. За то, что он оставил ее одну, за то, что он не сумел ее защитить, как не сумел защитить и Россию. Смерть матери и поражение России таинственно и непонятно сливались в одно общее горе.

В Петербуре, в их квартире на Бассейной, его ждал Волков, успевший вернуться из ссылки. Теперь он был революционером с серьезным стажем, член партии большевиков. Он был теперь хозяином жизни и положения. Самоуверенный, авторитетный, всё понявший, ни в чем не сомневающийся. Он не говорил, а произносил митинговые речи, будто перед ним был не один Луганов, а целая аудитория матросов и солдат.

— Ты с нами, Андрей? — спросил он Луганова в первый же день. «Мы» — это были большевики.

Луганов пакачал головой. Он, как всегда, был честен и серьезен.

— Нет, не с вами. И вообще, ни с кем. Я, как киплинговская кошка, хожу один, сам по себе.

Волков нервно дернул плечами.

— Напрасно, напрасно. Кому же, как не писателю, принимать участие в великом деле строительства свободы?

— Свободы? — переспросил Луганов. — Видишь ли, мне кажется, что пока зло не будет окончательно истреблено, человек не может мечтать о свободе. Пока зло существует, никакой свободы нет. Свобода не выбирает между добром и злом, она начисто уничтожает зло.

Волков рассмеялся.

— Здорово, начисто уничтожает? А кто тебе сказал, что мы не хотим начисто уничтожить зло?

Луганов покачал головой.

— Может быть, и хотите. Только зло вы уничтожаете еще большим злом. Из зла не получится добра. Во имя любви к дальним вы уничтожаете ближних.

— Ну, брось. Это уже философия. — Волков отмахнулся от него. — Мы хотим жить, мы создаем новую жизнь на земле.

Луганов посмотрел на него тяжелым, сумрачным взглядом:

— Новую жизнь? Да... Вот маму-Катю сожгли живую.

Волков весь дернулся.

— Перестань, перестань, — крикнул он и отошел к окну. По улице проезжал грузовик, ощетинившийся штыками солдат, державших ружья наперевес.

— Ты знаешь подробности? — спросил Волков, не оборачиваясь.

— Нет, только то, что я написал тебе. — Луганов достал из бумажника последнее письмо матери. — И вот еще, прочти.

Волков взял письмо и спрятал в карман.

— Потом прочту. Сейчас в Смольный надо. Верну. Не беспокойся.

И он пошел к выходу.

Луганов еще долго сидел в том же кресле, глядя на портрет матери, висевший на стене. Портрет этот был написан еще до его рождения, когда его мать только что кончила институт. И хотя он с детства привык к нему, он никак не мог соединить образ этой смеющейся девушки в белом платье с образом его матери. Она казалась такой неправдоподобно-прелестной, будто это была не она, а мечта о вечной женственности, вечной весне. Напрасно он дал письмо. А как было не дать, раз это было ее желание? Но мамы-Кати явно уже не существовало для Волкова. Как небрежно, даже не взглянув на письмо, он сунул его в карман.

В ту ночь Луганов поздно вернулся домой. Он открыл входную дверь своим ключом и, не зажигая света, чтобы не разбудить Волкова, не быть снова вынужденным увидеть его самодовольное лицо, говорить с ним.

В гостиной горело электричество. Сквозь неплотно закрытые портьеры он увидел Волкова, стоявшего перед портретом Катерины Павловны. В его позе было что-то, что поразило Луганова и заставило его остановиться. Должно быть, Волков очень задумался, если не слышал, как щелкнул ключ и захлопнулась дверь. Он долго смотрел на портрет, вдруг поднял руки и закрыл ими лицо и весь затрясся.

Луганов отшатнулся и на носках пробрался в свою комнату. Ему было стыдно. Он ни за что не признался бы Волкову, что видел, как тот плакал.

На следующее утро Волков небрежно вернул ему письмо.

— Ах, да, вот, чтобы не забыть. Возьми! — И он заговорил о другом.

Нет, общее горе по Катерине Павловне не сблизило их. Им теперь было неловко друг с другом.

Впрочем, Луганову было теперь неловко со всеми, даже с самим собой. Он чувствовал, что он запутался в своих мыслях. Иногда ему казалось, что все зверства и расстрелы — только возмездие за бесчисленные ошибки и преступления прошлого. Тогда он не только принимал революцию, но и оправдывал ее.

Ему стало казаться, что он постоянно слышит шум, громоподобный шум крушения старого мира. Его озлобленность и одичалость смешивались с каким-то почти религиозным восторгом.

Голод, нищета, расстрелы, черные пустые ночные улицы, одинокие шаги прохожих, ледяной ветер... Не это ли снилось ему в годы его счастливой молодости? Не этого ли он тайно и мучительно желал тогда?

«Если на свете не может быть ни добра, ни справедливости, — писал он в дневнике, — пусть будет зло, как можно больше зла. Щедрость в зле, нерассчетливость затопляющего мир зла». Презренная умеренность, экономия страданий и лишений возмущала его. Пусть лучше мир захлебнется в страданиях, в океане крови.

В этом темном, диком, замерзающем, голодном Петербурге было что-то, удовлетворяющее скрытой потребности его души. Его тоска по Катерине Павловне смешивалась с тоской по умирающему одичавшему городу, такому прекрасному в своей нищете и позоре.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Эта аскетическая, жестокая полоса его жизни продолжалась до 1921 года, до нэпа, когда мягко, на тормозах, Советская Республика вдруг стала превращаться в почти обыкновенную, почти не голодную, почти благополучную страну.

Луганову переход от мести, голода и ненависти дался трудно. Нервы его настолько расшатались, что ему пришлось уехать в Финляндию отдохнуть. Но отдых произвел на него обратное действие. Он заболел.

Из Финляндии он уехал за границу в состоянии болезненного волнения, которое гнало его всё дальше, не давая возможности ни работать, ни спать.

Он очнулся зимним утром в Берлине. Он с недоумением глядел из комнаты своего отеля на бесконечно-унылые чистые улицы, на бесконечно-унылые немецкие окна, завешанные аккуратно занавесочками. Он чувствовал, что выпал из общей всем русским жизни. Он уже не имел родины, надежного убежища, где его могли принять и понять. Впрочем, и на родине он был зверино, пещерно одинок, и там никто не понимал его. Принять? Да, конечно, прием ему всюду был обеспечен. Ведь когда-то его имя появлялось во всех журналах, его книги распродавались. С революции он замолчал, за всё это время он не написал ничего. «Бывший писатель Луганов», — насмешливо называл он самого себя.

Тогда, в 1921 году, в Берлине русские еще не знали, что с ними будет дальше, что их ждет. Они еще не были эмигрантами, а только беженцами, бежавшими из России, не знающими, куда дальше бежать, где осесть.

Всё было смутно и спутанно...

Луганов прожил две недели в Берлине, почти ни с кем не встречаясь. Он отказался устроить вечер в Доме искусства, он не дал ни одной строчки ни для газеты «Накануне», ни для альманаха «Окно». Он не пожелал даже присутствовать на обеде писателей и артистов, желавших чествовать его.

Не ходил он ни в кафэ «Prager Diele», ни в рестораны «Ферстер» и «Медведь», где собирались русские.

Он жил одиноко и замкнуто и тосковал днем и ночью. О чем? О России, об уходящей молодости, о погубленной жизни и о том, что он уже не мог больше писать, что он — бывший писатель Луганов?

Он стал кашлять сильнее. Берлинский доктор посоветовал ему поехать в санаторий в Гарц. Он сразу согласился. Он покинул Берлин в состоянии сонного оцепенения. Он как-то плохо сознавал, что он делает и куда едет. Театральная суета вокзала, носильщики, путешественники и провожающие, в особенности какая-то барышня в меховой курточке, бежавшая за уходящим поездом, размахивая белым платочком — всё это подействовало на него удручающе. Он как-то потерялся, вернее, потерял себя. Ему стало казаться, что ему мешает его собственное тело, что ему неудобно, тесно в нем, что он хочет избавиться от него.

Но в санатории, среди полной отрезанности от обыденной жизни, где часы были разделены массажем, теплым душем, лежанием на балконе, где все заботились и говорили только о здоровье, он стал быстро поправлять-

ся. В первую же ночь ему удалось уснуть. Утром со своего балкона он увидел сосны, покрытые таким легким розоватым снегом, что ему показалось, что уже весна, и это не сосны, а яблони в цвету. За санаторием начиналась отлогая дорога, ведущая на гору. С горы съезжали санки, и это напоминало детство.

Луганов поправлялся. Он жил, не задумываясь, что будет дальше. Сейчас он был занят здоровьем и чтением Гёте. Он плохо знал немецкий язык, ему приходилось рыться в словаре. За завтраком и обедом он для практики разговаривал с соседями, вечером играл в шахматы или бридж. То, что говорили немцы, не интересовало его. Он как-то не верил, что они действительно могут сказать что-нибудь интересное, как не верил в реальность их чувств. Они для него были какие-то ненастоящие люди. Настоящие были только русские. Но с русскими ему здесь, слава Богу, не приходилось встречаться. Он было единственный иностранец в санатории.

Немцы рассказывали ему о своей революции — ведь у них тоже была революция, они тоже страдали, но всё это казалось Луганову игрушечным. Слушая их рассказы, он, главным образом, следил за построением фразы, за изменением времени глагола, за тем, в каком падеже ставится слово... Время шло. Одни больные уезжали, другие приезжали. Практиваться в немецком языке, играть в шахматы всегда было с кем.

— Вот вы совсем и поправились, Herr Луганов, — говорил доктор, заходивший каждое утро навещать Луганова. — Рекламой для санатория могли бы служить. Здоровый у вас организм.

Теперь причины оставаться в санатории уже не было. Наступила оттепель. Снег лежал пестрыми пятнами на

мокрой земле, шел дождь, с горы бежали ручейки, но Луганов не уезжал. Здесь ему было спокойно, читать Гёте было утешительно. Ничего не напоминало о прошлом, о России. Однажды, после прогулки, швейцар сообщил ему, что его в гостиной ждет «русский господин». Луганов поморщился. Наверно какой-нибудь русский пришел его навестить, как «соотечественник соотечественника». Хорошо бы просто велеть передать этому непрошенному посетителю, что он нездоров и не может его принять. Но ведь швейцар уже сказал ему, что Луганов ушел гулять. Неловко.

Он спустился в гостиную. Он успел только открыть дверь, он еще не успел войти, как Волков, стоявший у окна, повернулся, бросился к нему и обнял его.

— Андрей! Наконец-то нашел тебя!

Они встретились теперь так, как должны были встретиться в 1917 году, когда встреча их была такой неловкой и натянутой, что, казалось, дружба их навсегда была кончена. Волков был тут с ним, и они говорили на одном языке не только оттого, что говорили по-русски, но оттого, что они любили друг друга. И совсем свободно, без обычной сдержанности и застенчивости Луганов крепко держал друга за плечо, будто боясь, что, если он выпустит его из рук, он растает, и всё превратится в воспоминание, в воспоминание о небывшем посещении друга.

— Я приехал за тобой, — быстро говорил Волков. — Как ты мог здесь так долго выдержать?..

— Выдержал и, знаешь, даже не очень мучился.

Но Волков этому не поверил.

— Только не замечал, как мучился, а мучился ты, конечно, сильно.

Волков рассказывал, что он, чтобы приехать за Лугановым, нарочно напросился на командировку в Берлин, и как трудно ему было разыскать его.

— Ты что же в Берлине, как сыч, всё один сидел? Никто из наших тебя даже не видел.

— Теперь мне кажется всё это странным. Будто не я жил в Берлине и здесь. Не понимаю как-то.

— Конечно, — перебил Волков, — и понять нельзя. Скорее едем домой.

Отъезд домой, в Россию, был решен тут же, Луганов был согласен со всем. На следующее же утро, проведя ночь в разговорах до рассвета, они уехали из санатория.

В Гальберстате, за кружкой пива на вокзале, Луганов вдруг вспомнил рассказы об этом сказочно-рождественском старинном городке.

— Пойдем, Миша, посмотреть. Такого не увидишь нигде. Говорят, прелестно.

Но Волков только отмахнулся:

— А ну его! Я не турист-любитель старины. Не наше ведь, — немецкое, нам-то что?

И они остались ждать поезда на вокзале.

В Берлине Волков свел его в полпредство.

Секретарь полпредства Штром встретил Луганова приподнято-вежливо, сияя ровными белыми зубами и блестящими глазами. Сверкающая лысина придавала его молодому лицу какое-то особенное выражение ума и блеска. Он был «похож разом на араба и на его коня» и гордился этим сходством.

— Я рад, товарищ Луганов, приветствовать вас на пути домой, — сказал он, подвигая ему кресло.

— Я лечился в санатории.

— Конечно, — согласился Штром. — Немецкие санатории — первый сорт, недаром говорят: немец обезьяну выдумал.

Луганов рассмеялся:

— Вы хотите сказать, что меня в санатории превратили в обезьяну? В сущности, правильно. Почти успели превратить. Если бы он не приехал за мной.

Волков кивнул, тоже смеясь:

— Будь спокоен. Теперь уже тебя не выпущу. Не удерешь больше за границу. Никаких обезьян.

Штром вдруг стал серьезен.

— Нет, — сказал он, и брови его зашевелились: — вам, товарищ Волков, не придется беспокоиться. Я людей знаю. Такие, как товарищ Луганов, не становятся эмигрантами, не покидают своей страны. Такие люди нужны России.

И, действительно, Луганову, по возвращении домой, стало казаться, что он нужен России: таким триумфом обернулось для него возвращение домой. Он стал еще знаменитее, еще любимее и критиками и читателями. Это была всеобщая любовь — любовь России к нему, и он не мог не отвечать на нее всем сердцем.

Он жил в Москве, ему отвели прекрасную квартиру, у него был собственный автомобиль. Жизнь текла празднично и широко. Он много писал, его портреты появлялись в журналах, он выступал на вечерах. Вечера, где он выступал, всегда делали полные сборы. Его пьеса, поставленная в Художественном театре, была театральным событием.

Ему приходилось заседать в каких-то комиссиях и нести «литературную нагрузку», как всем советским писателям, но к этому он относился добродушно: что же, раз полагается... Он почти каждый день виделся в Волковым, когда тот бывал в Москве. Дружба их опять была

дружбой «на всю жизнь». Луганов чувствовал благодарность за «спасение погибающего», как он называл приезд Волкова за ним.

Политикой Луганов перестал совсем интересоваться. Он жил теперь исключительно интересами искусства. Он раз на всегда решил, что политика не касается его.

ГЛАВА ПЯТАЯ

В 30-ом году Луганов женился.

Он увидел впервые свою будущую жену на показательном спектакле балетной школы, где она вместе с другими ученицами, танцевала в Лебедином Озере.

Когда она выбежала на сцену, его поразило ее отличие от других. Она казалась гораздо легче, воздушнее, будто сделанная из иного материала, чем остальные. Она скорее походила на клочок тумана, пляшущего в сырую ночь около озера, чем на живое существо. Такая призрачная. И это не только не шло ей на пользу, но скорее вредило ей. Будто она танцевала одна, не связанная с остальными. Она не понравилась ему. Он вообще не любил балета и только в угоду приятелю, балетному критику, приехал на этот спектакль. Но теперь, когда призрачная балерина выбежала на сцену и так воздушно летала по ней, он уже не мог не смотреть на нее, не следить за ее будто оторванным от земли и жизни полетом. Он навел на нее бинокль. Лицо ее под тяжелым, грубым гримом было так похоже на лицо куклы с широко расставленными, увеличенными глазами и неподвижной улыбкой, что он сейчас же снова опустил бинокль.

Но он всё-таки, хотя она ему и не нравилась, продолжал смотреть на нее одну, не замечая остальных. Ему казалось удивительным, откуда в таком хрупком существе столько энергии и силы. «Кажется, ветер подует —

сломается, — подумал он насмешливо, — а вот поди-ка, какие прыжки откалывает».

В антракте он с приятелем отправился за кулисы. Танцовщицы в пышных пачках сбежались к ним, как цыплята. Вблизи они казались почти неуклюжими на розовых, слишком мускулистых ногах, вывернутых носками наружу. Они сразу стали просить у него автографы, протягивая к нему детско-худые руки, обнаженные до плеч. Они все улыбались ему заученной улыбкой, будто они еще были на сцене. Они ссорились, смеялись, и перебивали друг друга. Но ее, той туманной, призрачной, которая не понравилась ему, не было среди них. Она сидела перед зеркалом с лицом, намазанным вазелином, и куском ваты стирала грим. Тут же перед ней, среди банок и флаконов, лежал ее белокурый парик. Ее собственные каштановые волосы падали ей на плечи. Он подошел к ней.

— А мы, — спросил он, — слишком горды, должно быть, чтобы просить автограф? Не интересуемся?

Она покраснела так густо, что остатки грима на ее лице заиграли радужными оттенками.

— О нет, — сказала она очень быстро. — Но, пожалуйста, не смотрите на меня. Это так безобразно. Я готова провалиться сквозь землю.

У нее был картавый, скорее низкий голос, а ему казалось, что такая худенькая девочка должна говорить высоко, почти пискливо. Он улыбнулся.

— Значит, всё-таки хотите автограф?

— Хочу, — она прижала руки к груди. — Ужасно хочу. Ведь вы мой любимый писатель. Правда. Самый любимый.

Он поверил, хотя было совсем непонятно, чтó такая картавая, танцующая девочка могла любить в его книгах.

После спектакля был ужин. Обыкновенно Луганов брезгал такими развлечениями, но тут он согласился остаться.

Она сидела довольно далеко от него, на «детском» конце стола, но он всё-таки мог хорошо разглядеть ее. Она была теперь совсем не похожа на ту, что танцевала на сцене. В ней не было больше ничего призрачного и туманного. И всё-таки и сейчас она резко выделялась среди подруг. Она сидела на стуле не так, как остальные. Ее лицо теперь совсем не было кукольным. Напротив, ее почти детское лицо было скорее чересчур серьезным и выразительным. Ее светлые глаза смотрели так, будто ее душа подошла к самому их краю и оттуда выглядывает на мир с страстным любопытством и волнением. Он почувствовал какую-то тревогу, когда ее взгляд остановился на нём, найдя его. Она внимательно и серьезно рассматривала его, немного подавшись вперед, не отдавая себе, повидимому, отчета в неприличии такого упорного рассматривания. Ему хотелось узнать, что она думает о нём и таким ли она представляла его себе по его книгам. Ему хотелось узнать, как она жила все эти годы со дня своего рождения до сегодняшнего вечера. Без него, не зная его. Ему стало неприятно, что он не играл никакой роли в ее молодой жизни. Он спросил у своей соседки, заслуженной балерины, как зовут вон ту, рыжеватую с веснушками. И заслуженная балерина, старавшаяся втянуть его в разговор, недовольно ответила:

— Вера Назимова.

И сразу перешла на воспоминания о начале своей балетной карьеры: «Когда я была такая, как эти дурочки»... Но Луганову до балетных воспоминаний не было никакого дела. Он написал на программе: «Если вы придете ко мне с подругой в субботу в пять, я подарю вам книгу с надписью».

Он послал сложенную программу Вере Назимовой.

И видел, как она переходила из рук в руки, пока дошла до нее.

Она протянула руку и взяла ее. Она не сразу развернула ее, а недоверчиво и испуганно смотрела на нее, будто не решаясь прочесть, что там написано. Подруги смеялись, толкая друг друга локтями, о чём-то шептались.

Она сидела такая беззащитная, полная душевного переполоха, держа записку в детской руке. Рыжеватая прядь волос упала на ее детски-выпуклый лоб, веснушки вокруг глаз выступили яснее на белой до голубоватости коже. Было совершенно ясно, что это — трагически-важная минута ее существования, минута, отделяющая детское «вчера» от женского «завтра», и что она старалась продлить эту минуту, помедлить на пороге женского будущего.

Наконец, она развернула программу и прочла то, что он написал. И тогда она улыбнулась. Он не видел еще, чтобы так улыбались, с такой полнотой счастья, с такой безмерной благодарностью. Она улыбнулась, будто установив этой улыбкой связь со всей земной радостью, со всем небесным блаженством.

— Да, да, да.

Она трижды кивнула ему через стол и, сложив записку, спрятала ее за вырез лифа.

Луганов наклонил голову в знак того, что он слышал ее ответ. Как, должно быть, приятно делать подарки этой девочке, которая так умеет радоваться, — подумал он, вставая из-за стола и стараясь, как можно незаметнее пробраться к выходу. В дверях он обернулся. У нее было всё то же безмерно-счастливое лицо, и она продолжала всё так же улыбаться.

Но в субботу, вспомнив о своем опрометчивом поступке, он пожалел о нём. Зачем он пригласил эту девочку и ее подругу к себе? Будет тягостно и неловко и,

к тому же, всему балетному классу станет известно, что Луганов дарит свои книги, и остальные ученицы начнут обрывать звонки его дверей.

И ведь она даже не нравилась ему. Эта картавая, веснущатая, худая девочка. Глупо, как глупо вышло.

Всё-таки он накупил конфет и пирожных и велел прислуге сварить шоколад к пяти часам. Лучше всего будет, если прислуга сама напоит их шоколадом и передаст Вере Назимовой книгу. Ведь он не обещал лично принять ее. Не обязан же он тратить свое время на разговоры с девочками и на питье шоколада с ними?

Он хотел уйти из дома, но когда в пять позвонили, он еще сидел в своем кабинете, и сам, не дожидаясь прислуги, пошел отворять дверь. Звонил посыльный из журнала, принесший ему корректуру. «Не очень-то спешит, — раздраженно подумал он. — Еще совсем ребенок, а уже заставляет себя ждать».

Да, он, действительно, стал теперь ждать. Пробила половина шестого, а ее всё не было. Ему вдруг показалось, что он неясно написал номер своего дома. Может быть, они ходят по улице, разыскивая его. Он надел пальто и спустился вниз.

Улица была пуста. Бледное солнце уже соскользнуло за крыши домов и оттуда, из ледяной, прозрачной бесконечности озаряло весь город тихим, прощальным светом, тревогой и сожалением о прожитом, еще одном напрасно прожитом, неповторимом дне.

Чуть ли не впервые женщина не пришла к нему на свидание, и он ощущал это, как обиду. Но ведь не женщина, а глупая веснущатая девчонка.

Луганов вернулся к себе. Теперь уж она не придет. И она, действительно, не пришла, хотя он продолжал ее ждать, стоя у окна.

Он уехал из дому только в восемь часов. Проходя через столовую, он поморщился на разложенные по ва-

зочкам и тарелкам пирожные и конфеты, так и оставшиеся нетронутыми.

Луганов вскоре забыл о Вере Назимовой. Но чувство обиды на всех «малолетних» осталось.

Когда его через месяц пригласили участвовать на вечере консерватории, он отказался.

— Я человек пожилой. Пусть молодые стараются для молодых. Ну их в болото с их молодостью!

Весной Луганов собрался в Крым. Надо было отдохнуть от Москвы, от работы, от развлечений, пожить одному с морем и небом, чтобы снова быть в состоянии работать и развлекаться.

Чемоданы были уже уложены, и в доме уже чувствовалась пустая, гулкая тишина, наступающая с отъездом хозяев.

Луганов еще сидел в своем кабинете, в своем кресле и читал газету при свете своей лампы. Но он уже чувствовал, что не здесь его место, что и кресло, и кабинет, и лампа знают это и ждут, чтобы он дал им отдохнуть от себя. Его место было в поезде, у ночного окна купе. Он уже слышал лязг, стук и грохот колес в своей крови. Он уже видел белую полосу дыма, тянущуюся за окном, и горячий рой красных адских искр, вырывающихся из дышащего огнем и пространством паровоза. Движение уже захватило его всего. Он сидел неподвижно, весь во власти движения, уносящего и укачивающего его мысли по сверкающей узкой полосе рельс, туда к морю, к солнцу, в будущее. «Reisefieber — вот как это называется», — вспомнил он. Лихорадка путешествий или какая-нибудь иная лихорадка. Но он, действительно, чувствовал, что его лихорадит. В прихожей позвонили. В сущности, это его уже не касалось. Его уже переставало интересовать, что происходило здесь, в его московской квартире. Но он всё-таки пошел отворять.

В дверях стояла Вера Назимова. Она очень измени-

лась с того единственного раза, когда он ее видел, но он сразу узнал ее. Лицо ее было бело до прозрачности. Она еще похудела и казалась теперь совсем некрасивой. Ему особенно не понравились ее слишком большие глаза и бледные губы.

— Здравствуйте, — он насмешливо улыбнулся, не скрывая удивления. — Лучше поздно, чем никогда? Я, собственно, ждал вас в одну из суббот два месяца тому назад.

Она быстро переступила порог и, не глядя ни на него, ни в зеркало, стала развязывать ленты своего черного капора. Она взволнованно переводила дыхание. Он ждал, что она объяснит, отчего она не пришла тогда и причину своего сегодняшнего посещения. Но она молчала, стараясь справиться с завязанными под подбородком лентами. Наконец, ей это удалось и она нетерпеливо, с какой-то отчаянной решимостью сдернула капор с коротко остриженной мальчишеской головы. Лицо ее было таким решительным и жалким, что он рассмеялся. Он сейчас же спохватился, но она, повидимому, не слышала его смеха. В том состоянии душевного напряжения, в котором она находилась, смех просто не дошел до ее сознания, она просто не заметила его.

— Вот, — сказала она, будто это «вот» объясняло всё. Капор выскользнул из ее рук и упал на ковер. Она стояла посреди прихожей с опущенной головой, такая беспомощная, трогательная и взволнованная.

— Вы были больны? — догадался он.

— Да. Тиф, — коротко ответила она и, переведя дыхание, добавила. — Чуть не умерла. В ночь на ту субботу началось. Я сегодня впервые вышла одна...

Она говорила отрывисто и быстро и сильно картавила. «Должно быть, от волнения», — подумал он.

Он взял ее под руку.

— Пойдемте. Вам надо сесть. Неразумно...

Он не договорил, что было неразумно, он и сам не знал. Ее волнение передалось ему, как только он дотронулся до шершавого, коричневого рукава ее пальто.

Он удивился, как легко и послушно, без малейшего сопротивления и заминки, без хотя бы мгновенной физической неловкости она дала ему себя вести. Будто в этом не было ничего нового, будто она давно привыкла идти с ним под руку и в ногу, будто она стала частью его самого.

Он усадил ее в кресло. Она вся собралась комком, запахнув полы своего пальто. Он видел, что она дрожала.

— Вам холодно?

Она взглянула на него непонимающим взглядом.

— Холодно? Нет, почему? Мне совсем не холодно!

И замолчала снова.

— Если бы вы пришли завтра, — сказал он, чтобы прервать тишину, тяготившую его, — вы бы меня уже не застали. Через час я уезжаю в Крым.

— В Крым? — испуганно переспросила она. — Через час?

Он рассмеялся.

— Ну да. Что же тут необычайного? — Не навсегда. На шесть недель. Отдохнуть.

Она стала еще сильнее дрожать.

— Вы уезжаете? Я лучше пойду, я мешаю вам...

Она встала. Он взял ее за плечи и снова усадил в кресло.

— Нет, совсем нет. У меня еще бездна времени, просто девать некуда. Целых полчаса. За полчаса можно...

Он опять не докончил, не зная, что можно сделать за полчаса.

— Мы сейчас выпьем портвейну.

Он позвонил. На звонок никто не явился. Прислуги, наверно, побежали за какими-то последними покупками ему на дорогу. Но он чувствовал, что ему сейчас совершенно необходимо увидеть спокойное, будничное лицо горничной, чтобы восстановить реальность взбаламутившейся вокруг него жизни.

Он открыл буфет, достал бутылку и стаканы.

— Вот, выпейте, сразу почувствуете себя лучше.

Она отпила глоток и облизала бледные губы.

— Я не умерла оттого, что непременно должна была придти к вам. Я не могла умереть, не придя к вам. Я должна была придти...

Фантастика продолжалась. Надо было скорей покончить с ней.

— Пустяки. Зачем вспоминать о болезни?

Он говорил намеренно развязно, стараясь подражать какому-то воображаемому, самоуверенному пошляку. — Мы еще на вашей свадьбе попируем. Ну, давайте чокнемся.

Она подняла стакан. Они чокнулись. Рука ее так дрожала, что она пролила портвейн на свое пальто. Она на мгновение опустила глаза, посмотрела на темное пятно, расплывающееся на ее коленях, но не вытерла его и, может быть, даже не увидела.

«Как она нервна». Он почувствовал неприятный укол жалости. Теперь, с коротко остриженной головой, она казалась совсем ребенком, жалким и некрасивым. Сколько ей лет? Вряд ли больше пятнадцати.

— Сколько вам лет?

— Восемнадцать, девятнадцатый, — ответила она быстро.

— Так много? Ой ли? — Это казалось просто невероятным. — Вы не сочиняете ли, юная балерина?

— Нет, честное слово! Я родилась 23-го февраля 12-го года. Ей Богу!

И она перекрестилась, чтобы вполне уверить его в правде своих слов.

— Но тогда, — сказал он вдруг, совершенно не думая о том, что говорит, — свадьба ваша действительно не за горами. Раз вы такая старая, вы уже можете выйти замуж, хотя бы за меня? Хотите?

— Вы это серьезно? — Она почти задохнулась.

— Я всегда серьезен, когда шучу, — ответил он, всё еще стараясь подражать тому же воображаемому пошляку.

Она не поняла, что он шутит. Она не расслышала конца его ответа: «Когда я шучу». Она слышала только: «Я всегда серьезен». Она встала и быстро подошла к нему.

— Только зачем вам жениться на мне? Зачем? Не надо. И без свадьбы. Ведь я люблю вас. Ах, до чего люблю!..

И она вдруг заплакала, уткнувшись лицом в его плечо...

В этот вечер в спальном вагоне поезда, идущего в Севастополь, осталось одно незанятое место.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

За все годы их совместной жизни Луганов ни разу не пожалел о своей опрометчивой, безрассудной женитьбе. Он был счастлив. Вдруг обнаружилось, что он очень расположен быть счастливым. До своей женитьбы он не догадывался об этом. Присутствие Веры в его жизни совершенно преобразило его.

Любовь Веры, наивная простота ее мироощущения, ясность и определенность ее молодых стремлений, ее веселость, ее легкомыслие очаровали его. «Так и надо жить, — постоянно повторял он себе. — Так просто, так легкомысленно и надо жить». Ему казалось, что она научила его многому, что она научила его счастью. Но теперь, когда он стал счастливым, он начал бояться за длительность своего счастья. Страх примешивался к ощущению счастья всё сильнее, пока, наконец, стал почти неотделим от него. Страх за будущее. Страх перед текучестью времени, неизбежными изменениями и несносным непостоянством всего земного. Непрерывно вспыхивающее и погасающее в сознании «а вдруг», всегда враждебного «а вдруг», готового посягнуть на его счастье и покой, понемногу превратилось в ожидание, в необходимость, в неизбежность беды. Бреясь по утрам перед зеркалом, он стал замечать в своем лице что-то новое, какое-то незнакомое выражение. Понемногу он понял, что это выражение страха, глубоко запрятанно-

го, еще не до конца проявившегося, еще не осознанного страха. Страха, довольствующегося пока подергиванием век, изменчивостью взгляда и манерой постоянно оглядываться: признаками нервности и усталости. Но он знал, что это — не нервность и не усталость. Или, вернее, это были нервность и усталость, вызванные страхом.

Страх чего? Неужели страх перед бритвой, скользящей по намыленной щеке? Но ведь у него была верная рука. Возможность соскользнуть с намыленной щеки и полоснуть себе по горлу бритвой никогда не приходила ему в голову. Об этом своем страхе он думал только по утрам, когда брился, когда видел свое «бритвенное» выражение лица, как он называл его. Но однажды он увидел его совершенно неожиданно. Они с Верой были приглашены на обед. Вера, скинув шубку, охорашивалась в прихожей перед зеркалом. Он взглянул через ее плечо в то же зеркало и увидел на своем лице знакомое выражение. Это было то самое выражение, тот самый взгляд. Но оттого, что его подбородок не был покрыт мыльной пеной и в руке не было бритвы, оттого, что это выражение было так неуместно сейчас, оно поразило его.

Вера кончила охорашиваться, и они пошли в гостиную. Проходя мимо зеркал в гостиной, Луганов увидел всё то же выражение страха на своем лице. Он думал, что и другие заметят его, но никто не обращал на него внимания. И тогда он понял: это было его обычное постоянное выражение лица. Он замечал его только во время бритья оттого, что только по утрам, бреясь, внимательно смотрел на себя в зеркало.

Но ведь прежде этого выражения не было. Он помнил себя молодым. Нет, он был уверен, тогда у него не было этого ускользающего взгляда. Он отыскал свои фотографии. Вот он студентом, вот вольноопределяющимся, вот в Гарце, в снегу, в белой фуфайке. Нет, тог-

да его молодое, мечтательное, угрюмое лицо выражало скорее решимость, чем страх.

Откуда же взялось теперешнее выражение страха? С каких пор? С женитьбы, — ответил он себе. — Это страх за счастье. Но только ли за счастье? Он не знал, и это незнание было очень тягостным. Конечно, страх был ни на чем не основан, но он не умел бороться с ним. Он поддался ему. Он стал мнительным. Ему начало казаться, что основания для страха увеличиваются с каждым днем, что не только он, но и другие вокруг него испытывают тот же страх, только скрывают его. Он стал пугаться неожиданных звонков вечером, следить, чтобы в его писаниях не проскользнула фраза, которую можно было бы истолковать двусмысленно, он стал еще сдержаннее в разговорах.

Это было время показательных процессов. И хотя ему была ясна вздорность обвинений подсудимых, он, вместе с другими писателями, подписался под требованием казни «врагам родины». Не мог не подписаться, но чувство страха еще увеличилось от чувства ответственности. Теперь, когда его неожиданно приглашали на Лубянку или в Кремль, он ехал туда с неприятным ощущением пустоты в голове и холода в костях. Ехал и думал — вернусь ли? Никогда не было известно, зачем приглашают: поздравить с успехом новой пьесы или упрекнуть за недостаточную выдержанность ее идейного содержания. Упрек, — после которого репутация писателя может кубарем полететь с горы.

Он стал суеверен. «Слава Богу, — думал он по вечерам, — день прошел и ничего не случилось. Только бы ничего не менялось, только бы всё осталось по-прежнему».

— Знаешь, — говорил он жене, — быть счастливым очень тяжело. Мне жилось легче раньше. Я не боялся за тебя, за будущее, за наше счастье.

Она не понимала. Она поднимала свои узкие брови.

— Нет, счастье, прежде всего — отсутствие всякого страха, полная уверенность, что всё всегда будет хорошо. Иначе, какое же это счастье? Мы с тобой будем всегда счастливы. И здесь, и после — на том свете. Вечно. Я знаю. — Она смотрела на него с нежной серьезностью, стараясь его убедить в очевидной неизменности их счастья. — Иначе и быть не может.

Он не спорил с ней. Ему была приятна эта ее непоколебимая уверенность в прочности и неизменности раз установившегося. «В неизбежности счастья», как она забавно говорила.

В тот вечер она, по дороге в театр, завезла его в ресторан на холостой обед. Это был его последний счастливый вечер, а он и не знал.

Как всегда, перед выступлением Вера была тревожна и весела. Она наклоняла голову, и поля ее большой соломенной шляпы покрывали ее лицо тенью, и от этого она казалась грустной, состарившейся и разочарованной. Но она снова выпрямлялась, тень сбегала с ее лица, и он уже не мог не видеть ее молодой, восхищенной улыбки.

— А вдруг сегодня мне не будут аплодировать? Меня освищут?

Она смеялась, она ежилась. Беспокойство сверкало в ее глазах. — Подумай — освищут. Купи сирень! — перебила она себя, — вот у той девочки.

Она протянула руку в белой перчатке. Девочка поняла и подбежала. Шофер остановил машину. Луганов взял у девочки всю большую охапку розово-лиловой сирени положил ее на колени Веры и протянул девочке бумажку. Они поехали дальше. Солнце уже успело зайти за крыши, но было еще празднично-светло, будто день, хотя срок его явно истек, решил самовольно не уходить, не превращаться в вечер, попраздновать незаконно.

— Я нашла счастье! — крикнула Вера. — Целых двенадцать лепестков.

Она осторожно оторвала неуклюжую, разбухшую двенадцатиконечную звездочку и положила ее в рот.

— Вот он какой вкус счастья, горьковатый.

— Разве не надо пожелать? — спросил Луганов.

— Нет, — она покачала головой, и тень шляпы, скользящая взад и вперед по ее лицу, снова провела ее через целую гамму выражений от грусти до радости, через целый ряд лет — от теперешней ее молодости до старости и обратно.

— Нет, желать не надо. — Она взглянула ему в глаза. — Знаешь, Андрей, у меня нет ни одного большого желания. Только маленькое: хорошо танцевать сегодня и чтобы был успех. И еще — уехать в Венецию.

— А я желаю только, чтобы ничего не менялось, — сказал он серьезно. — Чтобы всё оставалось так, не меняясь. Навсегда.

— Нет, нет, я не согласна, — она снова покачала головой, и по лицу ее снова, как вода, заструилось выражение радости и печали. — Если время остановится и ничего не изменится, мы будем так вечно кататься по Москве и не доберемся до твоего ресторана, и я никогда не попаду в театр, и мы не поедем в Венецию. Подумай, как чудно будет в Венеции! Как хорошо, что желания не исполняются, что желать не надо. Мы ведь никак не можем избежать счастья. Что бы мы ни делали и как бы ни сложилась наша жизнь, мы будем счастливы. Всегда.

Он взял ее руку. «Какая слабая, хрупкая лапка», — подумал он с привычной нежной жалостью.

— Нет, я не о том. Не о Венеции. Я хотел бы, чтобы наша жизнь не менялась в главном, в основном, — объяснил он.

— А разве она может измениться? Вздор. Знаешь пословицу: «Деньги к деньгам». А вот я уверена, что и удача к удаче, счастье к счастью. Это я по опыту говорю.

Ему хотелось еще немного остаться с ней, но она торопилась.

Это был его последний счастливый вечер, последний вечер с Верой, а он и не знал. Он думал, что их еще много впереди.

Автомобиль остановился. Луганов поцеловал ее руку, которую он всё еще держал в своей.

— Ты, конечно, будешь прелестно танцевать.

Она сделала испуганные глаза.

— Нельзя, нельзя, перестань, сглазишь, — зашептала она и, не выдержав, рассмеялась. — Ну, прощай, Андрей! Прощай!..

Он стоял на тротуаре, смотря вслед автомобилю. Она махала ему веткой сирени, как платком из окна уходящего поезда, будто была действительно разлука, будто они расставались надолго, на недели, на месяцы, а не на несколько часов. И хотя это была ее обычная, шутливая манера, ему стало не по себе.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

В ресторане его друзья уже поджидали его. Они сидели за «Лугановским столиком», тем столиком, который он, раз навсегда, избрал себе, и за который никому, кроме Луганова и тех, кто были с ним, садиться не позволялось.

Его друзья, их было трое: Багиров, Серебряков и Рябинин.

Должно быть, оттого, что была весна, все казались помолодевшими и возбужденными. Луганов почувствовал себя приятно. Водка в запотевшем хрустальном графине, рядом с зеленовато-серой икрой, окруженной кусками льда, вдруг разбудила в нем чувство голода и вернула его к простой радости существования. После третьей рюмки он почувствовал, что будущее — его союзник, что Вера права: ничего, кроме хорошего, с ними обоими случиться не может. Всё было удивительно приятно: накрахмаленные скатерти, высокие окна, затянутые высокими шелковыми портьерами, мягкие кресла, зеркала в резных золоченых рамах, отражавшиеся в них хрустальные бра с красными колпачками, и метр-д-отель, такой неестественно услужливый и ловкий, придвигавший ему то одну, то другую закуску, будто он читал в мыслях Луганова. Да всё было приятно здесь сегодня. Но приятнее всего были его друзья и та теплая, живая связь, которая неразрывно связывала их. Они все были писателями, как и он. И хотя он был зна-

менитее их, они не только не завидовали ему, но бескорыстно гордились им и радовались его успехам. Это, конечно, не была та единственная дружба «на всю жизнь», как с Волковым. У нее не было ни магического фона общего детства, ни грустных и жестоких воспоминаний общей юности. Она была практична и немного суха, построена на профессиональных интересах и на взаимном уважении. И главное — на доверии. Это был союз из четырех. «Мы, четверо. Четверо — лучшее, что есть в русской литературе».

Они не видались больше недели и теперь, спеша и перебивая друг друга, обменивались новостями.

Прежде, в те баснословные дореволюционные года, так памятные Луганову, русские писатели сейчас же, при встрече, начинали бесконечные споры об общественных вопросах. Они всегда были готовы откликнуться на события, их возмущала несправедливость, они мучились и страдали вместе с угнетенными. Они всегда были готовы протестовать против зла. Они были вечно вибрирующей чуткой общественной совестью. Но теперь в разговорах, даже самых интимных, касаться общественных вопросов было не принято, и писатели старались забыть о них. Ведь литературные темы были неисчерпаемы и одинаково интересовали их всех. И сейчас, поговорив о Дос Пассосе и похвалив его новую книгу, перешли к Сартру и Гексли. Сартра осудили, Гексли одобрили.

— Только слишком он уж умен, — заметил Рябинин. — Чрезмерный ум и образованность вредят писателю, пожалуй, даже больше, чем глупость и невежество. Стендаль это хорошо понимал и старался вымарывать из своих романов умные мысли.

— Ну, я бы всё-таки не сказал.

Серебряков засмеялся и снял очки. Он всегда снимал очки, смеясь, будто они мешали ему выражать веселость, заставляя его против воли быть серьезным.

— Нет, побывал бы ты редактором, как я, самого передового советского журнала, быстро бы убедился, что ни умом, ни образованием писателю брезговать не приходится. Такое мне приходится читать... — Он махнул рукой и снова рассмеялся. — Такие дубины, неучи наши самородки...

— Ну, а твой роман, как? — спросил Багиров, щуря свои осетинские глаза. Луганов ответил, что сегодня только закончил его.

— Удивительно приятно написать на последней странице «конец» и поставить точку. Такое чувство, что действительно конец, и больше никогда ни одной книги не напишешь, и в голове опустошенность и покой.

Рябинин прищурился и подмигнул.

— Конец? Твоей продукции еще конца-края не видно. Кокетничаешь. Штук тридцать еще нафабрикуешь и всё знаменитых. Был у моего отца приятель, князь-рюрикович. Бедняк, служил акцизником, а детей у него: что ни год — всё новые. Вот и решился мой отец урезонить его. — Послушай, хватит детей, ведь и этим есть нечего. Воздержись. — Трудно, — ответил тот, — ведь я всё князей делаю. А это как никак, лестно. Вот, и тебе лестно. Пишешь всё знаменитые книги. Как тут воздержаться?..

Все засмеялись. Теперь вообще, по сравнению с теми баснословными дореволюционными годами, писатели стали смеяться больше и чаще, будто пряча за смехом то, о чем говорить не полагалось.

— Какое сегодня число? — спросил Багиров и сам ответил себе: — 16 мая 1939 года. Историческая дата. Запомнить, Записать.

Серебряков перебил его.

— Это уже дело биографа Луганова. Не бойся, запишут. Спрыснуть шампанским — вот это, действительно, необходимо.

Багиров постучал вилкой о стакан.

— Проголосуем. Товарищи, кто против? Поднимите руки. Так. Значит единогласно принято. — И шампанское в своем никелированном ведре сразу, будто само собой возникло на столе, придавая их обеду пышную торжественность праздника. Чокнулись, поздравили Луганова.

— С новорожденным! — Рябинин подмигнул, и, как всегда, нельзя было разобрать, шутит он или говорит серьезно. Рябинин был бытовиком и реалистом, в многотомном романе поэтически описывающим привольную жизнь колхозников. Произведения его очень ценили «на верхах». Он говорил ласково и певуче, явно стараясь подражать говорку своих героев, мужичков — произносил слова так сладко и кругло, что слушателям начинало казаться, что он, действительно, настоящий самородок, вряд ли лет до двадцати знавший грамоту. Впрочем, у него хватало такта не слишком настаивать на своей серости. Он был неблагополучен по происхождению: отец его был сенатором.

— И везет же человеку.

Рябинин снова подмигнул. И нельзя было, как всегда, разобрать, шутит он или говорит серьезно.

— Знаменитость, жена — красавица и еще в Италию едет. Даром. В командировку. Завидно, право.

— А по дороге в Париж заглянут. Фоли Бержеры, канканы, негритянские оркестры всякие. С ума сойти. Вот бы мне, — поддержал Багиров.

Пошутили на счет этих литературных командировок, заключавшихся только в том, что все расходы оплачивались правительством. Луганов добродушно-весело огрызался.

— Кажется, и вам жаловаться не приходится.

— Не приходится, а всё-таки завидно. — Рябинин опять подмигнул и загнул один палец. — Раз — ты знаменитее нас всех, два — в Венецию едешь, три — жена-

красавица, балерина, а моя — поперек себя шире и даже польку танцевать не умеет.

— Знаешь, японцы говорят, что у каждого народа то правительство, которого он заслуживает, — перебил его Багиров. — И у каждого мужа та жена, которая ему полагается. Так, что, брат, нам с тобой на жен жаловаться не приходится. Если бы моя Лизавета не была только так ревнива...

Ревность жены Багирова и его вечные измены ей служили неисчерпаемой темой для шуток.

— Да, — снова начал Багиров, — нет слов, живется писателям в Советском Союзе хорошо. Как вспомню, что когда-то чуть эмигрантом не стал, мороз по коже. Вот бы свалял дурака! Там, в эмиграции, сам Бунин не то шофером, не то швейцаром служит.

— Неточные сведения у тебя, — перебил его Рябинин. — Бунин Нобелевскую премию получил, вот что, а ты шофером его сделал. — Багиров махнул рукой, смеясь. — Ну, значит, другой какой-то кит «из бывших». Мережковский, что ли? О тех, кто поменьше, и вспоминать жаль: побираются — жрать нечего. А у меня — особняк, машина. А написал я всего-навсего три книги стихов.

— Зато, каких стихов! — восторженно подхватил Серебряков. Лицо его расплылось блаженно. Опьянение вызвало в нем только добрые чувства, и сейчас он уже плыл в стихии добра, любовно улыбаясь своим друзьям и всему миру.

Луганов слушал и пил шампанское. Он тоже улыбался. Всё было отлично. Обед удался. Вера, наверное, уже будет дома, когда он вернется. Как Рябинин сказал: жена-красавица? Нет, она вовсе не красавица. Она лучше. Красавица — это что-то классически-правильное, застывшее в своем совершенстве, а Вера — это ветер, это свет зари. Он прищурился и вдруг ясно увидел ее перед собой. Она кружилась в спальне его прежней хо-

лостой квартиры, в вышитой дырочками детской нижней юбке и детском лифчике на пуговицах. Комната была полна розовым рассветом, и ветер влетал в открытое окно. Она кружилась, отражаясь в зеркалах, долго и молча. Ему казалось, что это ветер, что это заря кружится, отражаясь в зеркалах. Наконец, она остановилась, бледная стриженная девочка, вдруг потерявшая сходство с зарей и ветром.

— Ах, я счастлива, счастлива, счастлива!.. Ах, я устала, устала, устала!.. — почти пропела она, падая на постель и сейчас же затихла. Даже дыхания ее не было слышно.

Это было на рассвете после того, как она пришла к нему. Он не отпустил ее. Они должны были завтра венчаться. Они проговорили всю ночь, сидя рядом на диване. Когда совсем рассвело, он повел ее в свою спальню.

— Ложитесь тут. А я буду спать в кабинете.

Он уже снял пиджак, когда услышал шорох в спальне, и приоткрыл дверь. Она не заметила его, и он снова закрыл дверь, не окликнув ее. Он никогда не сознался ей, что видел, как она тогда кружилась по комнате. Ему было неловко, что он нечаянно подглядел за ней, как когда-то подглядел за Волковым. Но в памяти навсегда осталась весенняя заря, чудесным образом превратившаяся в танцующую, стриженую девочку.

Он вообще был сдержан и скрытен. Никому, даже Волкову он не рассказал подробностей своей встречи с Верой.

Но сейчас, чуть ли не впервые, он чувствовал жажду откровенности. Ему хотелось рассказать о чуде этой встречи. Он боролся с желанием показать всё, что так долго и ревниво прятала его память, душа просилась распахнуться нараспашку, сердце, как уголек, залетевший из ада, жгло желание последней откровенности. Желание откровенности захлестывало его всё сильнее. Рассказать всё, как Вера засыпает, и о том милом, пре-

лестном и трогательном, что называлось — она спит. И еще о многом. О ней, о Вере.

Багиров упрямо продолжал спорить.

— Что же, что мои стихи хороши? На что они, спрашивается, пролетариату, раз ни пролетариат, ни даже сам Великий Человек в них ни черта не поймет? А вот особняк и машина...

Серебряков всё также улыбался.

— Великий Человек... — Наверно он в своем умилении готов был похвалить и Великого Человека, но язык его не послушался и фраза осталась незаконченной.

— Кстати, о Великом Человеке, — неожиданно начал Луганов. — Вот я вчера сочинил. Луганов совсем не собирался читать эту эпиграмму. Сочинив ее случайно, он даже разорвал листок, на котором написал ее. Осторожность, никогда нельзя быть слишком осторожным. Но сейчас, в состоянии расслабляющей нежности и легкомыслия, ему показалось, что переход со скользкой темы воспоминаний о Вере на эпиграмму очень разумен и удачен. Это доказательство, что он не пьян, что он всё понимает не хуже, чем кто-либо другой, что он ведет себя сдержанно и прилично.

Он прочел эпиграмму на Великого Человека отчетливо, не давая языку заплетаться. Он был так занят чтением, стараясь как можно правильнее произнести каждое слово, что не сразу обратил внимание на то, как его слушали. Он не заметил, что у Рябинина побагровело лицо, так что только трусливо-косящие глаза остались попрежнему серыми. Но палец Багирова, прижатый к его толстым губам, Луганов всё-таки увидел. Палец у губ всегда значит — молчи. И Луганов замолчал. Впрочем, он замолчал бы и без этого знака. Восемь строк эпиграммы были прочитаны. До конца. И теперь, совершенно естественно, должны были послышаться смех и похвалы. Ведь эпиграмма была очень остроумна, очень ловко сделана. Это Луганов помнил. Но, вместо

смеха, возникла тишина. Совсем особенная тишина страха. Тишина страха среди звенящего, шумного, полного звуков ресторана. Тишина их столика, возникшая как оазис в пустыне. Кругом говорили, смеялись, чокались, ножи с легким звоном ударялись о тарелки, человек во фраке с белой грудью, высоко изогнув руку, играл на скрипке, и это прибавляло к шуму ресторана еще и музыку. Музыку, то сливавшуюся с шумом, то гордо расходившуюся с ним, то взволнованно отвечавшую ему нежными упреками, жалобами, радостной печалью.

Но шум и музыка остановились у невидимой границы, окружавшей их столик стеклянными стенами страха. Звуки ударялись о них и, как дождь, стекали по ним, не нарушая тишины страха.

Сколько времени длилась эта тишина? Может быть, час, вернее — минуту, но это была минута, после которой уже нет возврата к прежнему. Еще минуту тому назад всё было возможно, все надежды могли исполниться, а теперь — конец. Страх зачеркнул будущее. Луганов вспомнил, с каким удовольствием он написал утром «конец», с каким чувством опустошения и покоя. Конец. «Да, исторический день, 16 мая 1939 года. День моей гибели. Конец».

Прямо перед Лугановым было зеркало и хрустальные бра под красными колпачками, отражавшие в своих глубоких зеркальных переходах, бесчисленно умножая их, другое такое же зеркало и такие же красные колпачки. Луганова вдруг до тошноты потянуло занять место там, в зеркале, уйти в него, стать одной из этих красных точек, отражением красного колпачка. Багиров щелкнул зажигалкой, и тонкий резкий звук вдруг разбил тишину. Звук превратился в язычок пламени, и пламя дотла сожгло остатки тишины.

— Хорошая у тебя зажигалка. А моя всегда капризничает, — Рябинин нагнулся над зажигалкой и заку-

рил. — Хотя английская, а вот капризничает. — Он вынул из кармана зажигалку и в доказательство щелкнул ею. Но теперь это уже не имело значения. Тишина, всё равно, была разрушена. Стены молчания больше не существовало. Страх еще оставался здесь, но и он уже успел спрятаться в складках салфеток, на дне стаканов, в глубине глаз.

Метр-д-отель быстро и легко убрал одни тарелки и заменил их другими. Серебряков сидел, отвернув голову в сторону, напрасно стараясь придать себе выражение «моя хата с краю», меня это не касается. Багиров уже не держал пальца у рта и краснота лица Рябинина успела собраться на щеках в его обычный, немного апоплексический румянец.

Багиров взял стакан Луганова и налил ему еще шампанского.

— За Венецию! — Рябинин протянул Луганову стакан и чокнулся с ним.

— Хотелось бы и мне в гондоле по венецианскому каналу... В Риме был, в Генуе, в Милане, а в Венеции не удалось. Главное для меня — музеи. Люблю музеи и на голубей на площади св. Марка поглядел бы охотно.

— Только бы война у них там не завелась, а то еще застрянете, — сказал Багиров.

— Ну, вряд ли они смогут воевать без нас. И те, и другие хотят нас на свою сторону перетянуть. Только дудки! Зачем нам воевать?

Серебряков, будто вдруг вспомнив, что он сидит именно за этим столиком, страстно вмешался в разговор.

— Война? Никакой войны не будет! Всё дело в нас. А мы — все знают — желаем мира.

Заговорили о шансах на англо-германскую войну. Как будто ничего не произошло, как будто не было той минуты страха.

Луганов молчал. Ничего непоправимого не случилось. Конечно, было непростительно читать эпиграмму

в ресторане. Ведь и у стен уши, а соседи, а лакеи? Непростительно. Но на этот раз всё обойдется. Никто не слышал. Никто, кроме его друзей.

За кофе и ликерами он опять почувствовал себя почти спокойно.

— Вера просила напомнить вам, что завтра...

— И напоминать незачем, не забудем! — Рябинин поднял стакан. — Событие московского сезона — весенний прием у Луганова. Слов нет, принимать умеете.

— Жена моя даже новое платье себе специально сшила, — поддержал Багиров. — Как всегда, ей надеть нечего, хотя все шкафы от ее нарядов трещат.

Упоминание о завтрашнем приеме еще более успокоило Луганова. Вздор, вздор. Это только его вечная мнительность. Всё хорошо. Ничего не случилось.

Но обед всё-таки кончился раньше обыкновенного. Оказалось, что им всем трем надо было куда-то торопиться: Багирову заехать за женой, которая в гостях, Серебрякову закончить к утру рассказ.

— Хочешь, пойдем пешком, поболтаем немного. Ночь такая чудесная, — предложил Луганов Рябинину. Но Рябинин тоже спешил — неизвестно, куда и зачем.

Все уселись в автомобиль Рябинина.

Луганову хотелось спросить Багирова, отчего он прижал палец к губам, слышал ли кто-нибудь: лакеи или соседи по столику? Он, действительно, кажется, с пьяна не рассчитал голоса. Надо спросить, но он не спрашивал. Он чувствовал, что никак не мог спросить, никак. Но отчего они сами не заговорят об эпиграмме? Значит, они тоже боятся. Не одного его, а их тоже мучает страх. Он пристально взглянул в лицо Рябинина, стараясь понять, отчего он не заговорит об эпиграмме. Рябинин не ответил своим обычным, дружелюбным, открытым взглядом на его взгляд. Взгляд Ряибнина испуганно шмыгнул поверх лица Луганова куда-то в темноту ночи.

— Какие яркие звезды, — сказал он мечтательно. — «Ничто меня так не поражает, как звездное небо надо мной и нравственный закон во мне». Насчет нравственного закона, это еще — бабушка на двое сказала, а насчет звезд — старичок Кант правильно заметил. Сколько лет живу, и всё удивляюсь, не перестаю удивляться.

— Говорят, звезды особенно ярки перед войной. В 14-ом году тоже... — подхватил Серебряков, будто обрадовавшись новой теме для разговора.

Да, теперь Луганову стало безусловно ясно, что они боялись, что они тяготились его присутствием. Рябинин говорил, будто боясь замолчать. — Вечная тоска по звездам, как это у Лафарга — Que nous n'irns pas dans les douces etoiles... Или «И звезда с звездою говорит». Одним словом, «мы еще увидим небо в алмазах». Без звезд никакой поэзии не было бы. — Необходимы, — подхватил Багиров. Он тоже не желал молчать. Ему тоже, должно быть, казалось, что надо во что бы то ни стало говорить, всё равно что, но говорить.

Автомобиль остановился у подъезда Луганова.

— Итак, до завтра! — Рябинин пожал крепко руку Луганову. — Воображаю, что у вас завтра с утра твориться будет. Вера Николаевна, верно, с ног собьется.

— Ну, с таких ног не собьешься. У нее, известно, стальной носок, — сострил Багиров. — Спокойной ночи.

— Спокойной ночи. Кланяйся жене, — крикнул еще раз Рябинин вслед уходившему Луганову.

Как настойчиво они желали ему спокойной ночи. Но для него ночь не будет спокойной. Это он знал наперед.

Вера уже была дома. Она сидела в спальной перед трехстворчатым туалетом и расчесывала волосы щеткой с зеркальным верхом. Он очень любил следить за тем, как она это делает по утрам. Свет, отражаясь в в зеркале щетки, наполнял комнату солнечными зайчиками, и ему казалось, что эти солнечные зайчики были

отражением Веры, ее молодости и радости, разбегавшимися солнечными пятнами вокруг нее.

Она увидела его в зеркале и, перегнувшись назад, взглянула в его лицо снизу вверх, как смотрят в небо.

— Еще никогда мне так много не хлопали! Еще никогда я так не танцевала! — радостно крикнула она.

«Еще никогда...» — так она часто начинала описание радостных событий. Для нее всё всегда было, как в первый раз.

— Я страшно жалела, что ты не был в театре, не видел...

Она взмахнула волосами и подбежала к нему. Она взяла его за руку и, прыгая на одной ноге, стала быстро передавать ему все подробности этого удачного выступления.

— Ах, жаль, жаль, что тебя не было!.. И вдруг отступила на шаг и спросила совсем другим тоном:

— Андрей, что с тобой? Что случилось, Андрей?

Он пожал плечами:

— Случилось? Ровно ничего. Пообедали. С шампанским. Должно быть, шампанское во мне заметно.

— Нет, нет, не шампанское. Она нетерпеливо дернула его за руку. — Не притворяйся. Что случилось? Что случилось? Отвечай, Андрей.

Теперь она смотрела на него так серьезно и испуганно, что ему снова стало страшно и он уже не мог не рассказать ей всего. Она слушала сосредоточенно, сдвинув брови и по-детски приоткрыв рот.

— Повтори стихи, повтори.

Он повторил. Складка на ее лбу разошлась.

— Стихи совсем невинные. Конечно, не следовало их читать в ресторане, но ничего не будет. Верь мне, это пустяки.

«Верь мне». Ему хотелось верить. Ему показалось, что он, действительно, поверил ей.

— Конечно, вздор. Просто, смешно беспокоиться. Давай, ляжем скорее спать.

— И всё-таки, — лицо ее стало спокойнее, но это не было ее обычное безмятежное выражение. И всё-таки она немного поколебалась: — Знаешь, лучше сжечь кое-какие письма. Мало ли что бывает... А вдруг обыск? Конечно, никакого обыска не будет, но на всякий случай — пойдем в кабинет.

Она взяла его под руку, и он, несмотря на беспокойство, ощутил удовольствие, которое всегда испытывал от ходьбы с ней в ногу.

В кабинете она стала на колени и принялась неумело разжигать дрова, приготовленные в камине. Так, на коленях, в белом халатике с широкими рукавами, откинутыми за спину, она напоминала ему мраморного ангела с какого-то надгробного итальянского памятника.

— Запачкаешься, Вера...

— Оставь. Всё равно. Давай скорее письма.

Он отпер шкаф. Он хранил только письма близких и знаменитых людей. Но почти все его корреспонденты были так или иначе знамениты, и синие папки, набитые письмами, были очень толсты.

— Неужели всё надо просмотреть?

— Конечно. Хочешь, я тебе помогу?

Она села рядом с ним. Она уже успела перепачкаться сажей.

— Письма Троцкого? Сюда, налево, в огонь. И его статьи о тебе. Туда же. Каменев. И его письма тоже.

Камин ярко горел.

— Жжет, как ад грешников, — пошутила Вера.

Ничего подозрительного в письмах не было. И всё-таки пачка отложенных налево писем всё росла.

— Береженого Бог бережет. В письмах ничего нет, но подписаны они опасными именами. Хранить их незачем.

Всё. Последнее письмо было прочтено. Больше ничего не оставалось.

Теперь Вера жгла письма.

— Из меня вышел бы отличный кочегар или ведьма. Приятно возиться с огнем. Она смеялась, но по ее глазам, по особой точности ее движений и по тому, что она стала картавить еще сильнее, чем обыкновенно, он понял, что она взволнована и только притворяется веселой и ребячливой, чтобы успокоить его.

Сколько в ней доблести, — подумал он. — Доблести, да, именно доблести. Такими, наверно, были жены декабристов. Жены декабристов, следовавшие за своими мужьями в Сибирь.

В Сибирь? Неужели и ему грозит тюрьма, ссылка, Сибирь?

Но ведь декабристы были заговорщики. Они подготовляли государственный переворот. А он? Что, кроме этих глупых восьми строк, можно поставить ему в вину?

Вера встала с колен, отряхнула длинные полы своего испачканного халатика.

— Так. Теперь всё. Идем спать. Туши здесь.

Она открыла дверь в зал. Она не зажгла света в зале. Большая голубая луна выглянула из зеркала и поплыла им навстречу.

— Смотри, какая голубая, какая венецианская луна.

Вера взяла его за руку и осторожно, чтобы не наткнуться на мебель, подвела его к зеркалу.

— Это Венеция, Андрей. Разве ты не узнаешь? И луна отражается в венецианском канале. Мы одни. Как тихо под луной... Разве можно бояться?

Он смотрел в ее бледное, молодое лицо.

— А ты разве не боишься, Вера?

Она покачала головой.

— Нет, — сказала она уверенно. — Я не боюсь. Пока мы вместе, я ничего не боюсь. А мы ведь никогда не

расстанемся. Куда ты, туда и я. Вечно вместе. До самой смерти. И после смерти тоже...

На следующий вечер, когда всё уже было готово и Вера в шумном, широком платье с перетянутой трогательно тонкой талией, сияя снежной белизной плеч и влажным блеском малиновой улыбки, говорила, поправляя перед зеркалом залы ландыши в своих высокозачесанных бронзовых локонах: «Ах, Андрей, мне так весело и всё так чудно, будто мы только сегодня повенчались и это наш первый бал...» — неожиданно прозвучал звонок и двое явно конфузящихся штатских очень вежливо попросили товарища Луганова следовать за ними в Кремль. — «По личному приглашению Великого Человека. Для беседы. Совсем не надолго. На полчаса, самое большое — час».

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Вера осталась стоять на пороге входной открытой двери, когда Луганова увезли. Она всё еще стояла так на пороге, когда по лестнице стали подниматься первые гости.

Она смотрела как они подходили к ней, празднично улыбаясь. Но, должно быть, в ней было что-то такое, чего нельзя было не заметить, что-то, что погасило их праздничность и улыбки.

— Что случилось, Вера Николаевна?

Она откровенно ответила:

— За Андреем приехали, увезли его в Кремль. Он сказал, что сейчас вернется.

— В Кремль? — растерянно повторяли гости. — Наверно, сейчас вернется. Но всё-таки, может быть лучше отменить прием...

— Нет, нет, пожалуйста, оставайтесь. — Она уже владела собой. — Я напрасно сказала вам. Пожалуйста, никому не говорите. Андрей скоро вернется, Никто не заметит его отсутствия. Так не говорите никому... А я пойду попудриться. Она развела руками, стараясь улыбнуться, и прошла к себе в спальню.

У себя она остановилась у туалета. Неужели это она только четверть часа тому назад кричала мужу через дверь: «Всё так чудесно удалось! Знаешь, это как

будто наш первый бал, будто мы только что поженились. Ах, мне так весело, так весело!».

Весело? Неужели ей еще когда-нибудь будет весело? «Вздор, — сказала она себе строго. — Андрей сейчас вернется. Это всё недоразумение. Мне еще сегодня будет весело, и еще как весело!..»

Она взяля большую пуховку и, как всегда, сдула с нее пудру перед тем, как опустить ее снова в хрустальную пудреницу и провести ею по лицу. Она была суеверна, как все балерины и актрисы. Одеваясь, она исполняла целый ритуал ненужных подробностей, раз навсегда установленный, нарушить который было совершенно невозможно. Пудра поднялась маленьким розовым душистым облаком, и ей показалось, что всё еще будет хорошо, что всё случившееся, действительно, вздор. Музыка уже играла, из столовой доносились голоса, смех и звон стаканов.

Всё в порядке, — подумала она, — всё так, как и должно быть. Андрей сейчас вернется, не может не вернуться. Всё в порядке.

Но как только она вошла в зал, она почувствовала, что порядок нарушен, что всё совсем не так, как должно быть. Гости уже знали о случившемся, и одни со страхом, другие с любопытством и злорадством ждали, что будет дальше. Дом горел, дом был зачумлен, из него надо было спасаться, бежать. Но перед бегством, на дорогу, не мешало подкрепиться. Никто не танцевал. Паркет сверкал пустым великолепием, музыка напрасно звенела и звала, гости толпились в столовой, стараясь как можно скорее и больше выпить и съесть, как в вокзальном буфете перед свистком уходящего поезда.

Вера, улыбаясь, встречала вновь прибывающих гостей, еще ничего не знавших, еще до первого контакта с теми в столовой, расположенных танцевать, флиртовать, веселиться. В сущности, ей было совершенно без-

различно, знают ли гости, или нет, но выдержка действовала в ней самостоятельно, без всякого практического расчета. Практического расчета быть не могло. Она знала, что все эти гости, из которых многие считались их друзьями, ничем ей помочь не могли, если бы даже хотели. Но ведь они и не хотели.

Вера мужественно прошла через процедуру пожимания рук, благодарностей и уверений, что вечер удался на славу, впрочем многие гости исчезли не прощаясь.

Пробило двенадцать. В кабинете, превращенном в эту ночь в курительную комнату, стояли пустые коробки из-под папирос.

Шакалы — подумала она злобно. Ей стало жаль, что она была с ними так любезна, а они, вместо того, чтобы показать ей хоть немного человечности, выпили, съели всё, что могли, и даже унесли с собой все папиросы. «Никогда больше ноги их не будет в моем доме. Я расскажу Андрею, когда он вернется».

В моем доме... Когда вернется Андрей... Да, она еще думала, что это — ее дом, она еще ждала, что ее муж вернется в ее дом, к ней. Она ждала его. Она бродила в белом платье по освещенной пустой квартире, останавливалась у окон, поджидая автомобиль, который привезет Андрея. Надо было ждать, непременно ждать. Нельзя было лечь, нельзя было уснуть. Надо было ждать, он приедет. Вот сейчас, сейчас позвонят в прихожей. Вот сейчас, сейчас...

Время шло. Небо бледнело, и вместе с ним бледнели фонари, звезды и люстры, изнемогая от тщетного желания сиять и светить. Теперь уже скоро. Сейчас, сейчас позвонят...

И в прихожей, действительно, раздался звонок. Она побежала открывать.

— Андрей! — крикнула она, отпирая дверь.

Но это был не Андрей. Вошли трое и объявили:

— С обыском!

Она стояла, прислонясь к стене, белая в своем белом платье, и растерянно смотрела на них.

— Где кабинет? Идите с нами.

Она повела их.

— Ключи!

Ключей от шкафа и письменного стола у нее не было.

— Не знаю, куда муж положил их. Может быть, взял с собой.

— Взломать!

Замок сразу поддался. Дерево вокруг замков треснуло. — Трещина. Первая трещина. Теперь всё здание рухнет, — подумала она. — О чем это я? Вздор, вздор. Обыск ничего не значит. Ведь ничего найти нельзя. Ведь ничего нет.

Они долго складывали бумаги. Один из них, высокий, сутулый, с почти остроконечным черепом и лисьим лицом, подошел к камину.

— Бумажный пепел, — он нагнулся, рассматривая пепел. — Так-с. Бумаги жгли?

Вера не отвечала. Ведь он не спрашивал. Он утверждал. Но он повернул к ней свое лисье, бесстрастно-вежливое лицо.

— Когда? — спросил он.

И он, хотя она могла еще отрицать: «Никаких бумаг не жгли» или, «Может быть, зимой, не помню. Камин уже давно не топился», — ответила:

— Вчера ночью.

Папки с бумагами были перевязаны веревками и сложены на полу.

— Теперь покажите ваши бумаги.

Она подняла голову.

— Мои бумаги? Но ведь у меня нет ничего, кроме

писем. Писем подруг по балету. Я ведь танцовщица, — объяснила она.

— Отлично нам известно, — подтвердил сутулый, — даже любовался вами и хлопал вам. Так сказать, поклонник вашего таланта. Только потрудитесь уж показать.

Она повела их в маленькую гостиную.

— Тут, в секретере.

— Ключ!

— Не заперто. — Она отбросила доску и вытянула ящики. Писем было не много, она не любила переписываться, у нее не было закадычных подруг.

— Всё? — спросил он подозрительно.

— Всё, — ответила она.

Он пожал плечами.

— Лучше скажите, если где что прячете.

— Ничего не прячу.

Она следила за тем, как они связывали письма и открытки в пакет и, покончив с этим, принялись выстукивать стены, ощупывать кресла.

— Где ваша спальня?

Она повела их. Они для начала перерыли постели.

— Здесь, в комоде, что?

Она выдвинула ящики и выбросила на пол их содержимое. Флакон духов упал и разлился, и воздух заколыхался от дурманящего сладкого запаха. Это уже было слишком. Этого запаха она сейчас не могла вынести. Она почувствовала, что ее мутит. Неужели ее начнет рвать при них? Только бы они ушли. Только бы они скорее ушли и она осталась одна.

— А это что? — вдруг спросил сутулый, тряся тетрадкой. — Это что?

Она, не глядя, ответила:

— Мой детский дневник.

— Детский? Посмотрим, такой ли детский.

Он раскрыл тетрать и прочел вслух:

«Ученицы балетной школы III-го класса Веры Назимовой, 5-го марта 1923 года. Тебе одному я буду поверять свои радости и огорчения». — Ну, а продолжение где? Раз вы вели дневник...

— Продолжения нет. Даже эта тетрадь не до конца исписана. Я бросила. Не помню, почему. Ведь это было так давно...

Она дрожала. Она думала только о том, чтобы ее не стало рвать от страха и запаха духов.

Второй чекист появился в спальне.

— Идем, гражданка. Пожалуйте.

Она заметалась.

— Куда? Зачем? У меня нет никаких бумаг. Клянусь вам, нет!

— Не волнуйтесь, гражданка. Не съедят вас там. Побеседуют только. Объяснение дадите — вот и всё, — успокоительно заметил второй. — Если переодеться хотите, мы подождем. Время терпит.

— Нет, нет.

Она накинула на плечи пальто.

— И то, — сутулый поправил пальто, спускавшееся с ее плеч, — не простудитесь. Совсем тепло на дворе. Весна.

На воздухе тошнота улеглась, но она всё еще дрожала, страх путал мысли. Неужели ее везут в тюрьму? Неужели в тюрьму? От страха ноги не слушались. Она едва не упала, выходя из автомобиля. Она старалась идти, не спотыкаясь. Только бы не упасть. Если упасть — потащат, как куль белья, по коридорам. Куда? В камеру. Бросят на пол. И запрут на ключ. Она шла по совершенно пустому коридору, по совершенно пустой лестнице,

устланной дорожкой. Никто не попался ей навстречу. Всё было тихо. Ни голосов, ни шума шагов. Она слышала, как постучали, зачем, кому? Теперь она была в комнате с письменным столом и креслами. Электричество ярко светило, хотя там, за опущенными шторами, было солнечное утро. Ее посадили в кресло и оставили одну. Она опустила голову и закрыла глаза.

— Вера Николаевна! — раздался ласковый окрик.

Вера подняла глаза и заморгала. Перед ней стоял Штром, тот самый Штром, похожий сразу на араба и его коня, который был у нее этой ночью в гостях и, весело улыбаясь, сказал, пожимая ей руку на прощанье:

— Пока, до скорого!..

Тот самый всегда веселый Штром. Она даже не знала, где он служит, для нее он был просто знакомый.

Да, оказалось, действительно, «до скорого», до скорейшего.

— Даже переодеться не дали. И чего так спешили, можно было и подождать.

Он улыбнулся своей веселой улыбкой.

— Кофе хотите? Тут кофе хороший и со сдобными булками.

Вера покачала головой.

— Напрасно. Поддержало бы вас. Ну, да и так побеседуем. Испугали вас эти грубияны? Беда с ними — никак не обучить их настоящей вежливости, — он рассмеялся, блестя глазами, зубами, и лысиной. Брови на его лбу зашевелились. — Разве можно так с прелестной женщиной обращаться? Вежливость, главное вежливость!.. Сядьте поудобнее, — он протянул ей портсигар. — Папироску? Не хотите? Как знаете. — Он вдруг повернул лампу. Невыносимо-яркий свет обжег лицо Веры. Она подняла руки, защищая ими глаза. Штром опустил рефлектор. — Извиняюсь. Это я нечаянно. Ну, я вас слушаю...

«Я вас слушаю», конечно, относилось к Вере. Но она молчала. Страх немного отпустил горло, она могла бы заговорить, если бы знала, о чем.

Он ждал. Он смотрел на нее.

— Ну, красавица моя, долго мы так будем играть в молчанку? А? Мне уже надоело, а вам еще нет? Я не только ваш поклонник, но и друг. Расскажите мне откровенно всё.

— Всё? Что всё? — переспросила она. — Андрей прочитал глупую эпиграмму в ресторане. Больше ничего не было.

— Только прочитал? — Штром прищурился, глаза его стали узкими и острыми. — Вот эту эпиграмму? — Он продекламировал эпиграмму. — И больше ничего не было?

— Ничего, — сказала она. — Ровно ничего.

— И вы больше ничего не знаете? — как-то особенно ласково спросил он.

— Ровно ничего.

— Вы уверены? Вы не ошибаетесь? — еще ласковее, еще вкрадчивее настаивал Штром. — Подумайте, дорогуша, может быть, какой-нибудь пустяк, на который вы и внимания тогда не обратили? А?

Вера покачала головой.

— Нет. Я ничего не знаю. Я даже не слыхала об этой эпиграмме раньше.

— Так, значит, вы ничего не знали и ничего не было.

Он нагнулся вперед, подбородок его почти касался стола, лицо его медленно менялось, глаза постепенно теряли блеск и зубы уже больше не сверкали в улыбке. Рот был сжат устало и горько. Он ждал, он молчал. Но она тоже молчала, и он, наконец, вздохнул:

— Жаль мне вас, ах, до чего жаль! Такая вы прелестная, нежная, а спасти вас мне не удастся. Жаль!

— Спасти? Но раз я вам клянусь, что ничего не было...

Он нагнулся еще ниже.

— Ничего? — повторил он, будто взвешивая тяжесть этого слова на языке. — Ни-че-го. — Он выпрямился. — Вот это-то и плохо, что ничего не было.

— Как плохо? Почему?

— Разве вы не понимаете? Вы, значит, еще совсем неопытны, совсем наивны. Хуже всего, если вы ничего не знаете и отрицаете всякую вину за собой. Разве вы не знаете, что утверждая, устанавливая какую-нибудь мысль, вы, вместе с тем, устанавливаете, утверждаете всё, что ей противоположно? А что противоположно «ничему»? «Всё» противоположно «ничему». «Всё»! И утверждая, что вы ни в чем не виноваты, вы в то же время, тем самым, утверждаете, что вы виноваты во всем! А раз во всем, то мне, даже и мне, не удастся вас спасти. «Всё» слишком всеобъемлюще, его власть безмерна. С ним нельзя бороться интеллектуальным оружием. Раз вы виноваты во всём — вы погибли.

— Вы бредите! Вы издеваетесь надо мной! — Вера вскочила с кресла, дрожа.

— Ах, какая вы красивая! — Штром поднял руку, державшую карандаш, и провел им по воздуху. — Вот так, в белом платье, на фоне этой синей шторы, я бы нарисовал вас. — Он, улыбаясь, прищурился. — В манере Винтерхальтера. Да... И подумать, что вся эта красота и прелесть пропадут совершенно даром, без смысла, без пользы. Зря пропадут. Зря..

— Не мучьте меня! — крикнула Вера. — Я ничего не понимаю. Что вы хотите? Объясните!

— Я хотел спасти вас, — проговорил он медленно и веско. — Мне вас жаль. Но я отказываюсь и предоставляю вас вашей судьбе.

Она схватила его за рукав.

— Ради Бога, объясните.

— Ради Бога? Ну, это вы, гражданочка, оставьте. Вы же знаете: «Не молись, малютка, Богу — Бога больше нет»... И вы всё равно не поймете, повидимому. Но если хотите, я еще раз постараюсь объяснить вам. Сядьте. Закурите. Меня раздражает, что вы даже курить не хотите. — Он протянул ей папиросу и зажег ее. — Слушайте теперь. Мне очень хочется вам помочь. Вы красивы и милы, и мне нравитесь. Красоты на свете не так уж много, и жаль, когда приходится ее уничтожать. Так вот, вы сами бежите к своей гибели. Прямо и без оглядки в пасть льва. Вы ничего не делали? Вы ничего не знаете? А это как раз самое убийственное, что вы могли сказать. Это вас режет без ножа. «Ничего» отворяет широко двери всем подозрениям, всем обвинениям. Если «ничего», то тем самым — «всё». Вы сами требуете для себя высшей меры наказания.

— Высшей меры? — голос Веры сорвался.

Шторм кивнул.

— Да. Расстрела. Курите, курите...

Она глубоко затянулась и закашлялась. Слезы потекли из ее глаз.

— Даже курить еще не научились. Эх вы, государственная преступница. — Он вдруг улыбнулся добродушно и весело. — Ну, давайте, пораскинем умом, как вас спасти, бедный цыпленок. Вот вам платок, свой забыли, небось?

Вера вытерла глаза рукой.

— Не надо.

— Посмотрим, — весело сказал Штром, пряча платок в кармане, — что для вас можно сделать. Я азартен, я спортивен. Люблю борьбу. Авось, сумею вытащить вас из пасти льва. Если вы будете меня слушаться конечно.

Он встал, прошелся по ковру и остановился перед ней. Он смотрел на нее сверху вниз.

— Душка моя, слушайте внимательно. Ваш муж прочел эпиграмму на Великого Человека в ресторане. Вернувшись, он всю ночь жег бумаги, и вы помогали ему в этом. Почему? Помолчите немного. Дайте мне кончить. Почему, спрашивается? Ведь эпиграмма была совершенно безобидная. Никто серьезно не может обратить внимания на такой пустяк. Посмеяться и забыть. Но он, вернувшись, всю ночь жег бумаги. Почему? Ждал обыска? Какого обыска? За что? Почему обыск? Разве за невинные, пусть не совсем почтительные стишки могут приехать с обыском? Но ваш муж ждал обыска. Иначе бы он не жег бумаг, компрометирующих его, иначе вы бы не помогали их жечь. Первый вопрос: что его заставило бояться обыска и жечь бумаги? Второй вопрос: что это были за бумаги? Два вопроса, которые должны быть выяснены. Я совсем не утверждаю, что вам известна вся преступная, антигосударственная деятельность вашего мужа. Я вполне допускаю, что он вам представил дело именно так: сослался на эпиграмму, чтобы сжечь компрометирующие документы. Я допускаю даже, что вы не знали, какие бумаги жгли. Ведь вы не читали их.

— Нет, читала. Это были только письма и газетные статьи. Письма Троцкого, Каменева и...

— Не перебивайте! — голос Штрома вдруг зазвучал холодно и властно. — Дайте мне кончить, тогда я попрошу у вас объяснения. Так я говорю, я отлично допускаю, что вы не знали, что было в письмах. Вы помогали жечь бумаги и не отрицаете этого. Вы не знали, что в них. Вам предъявляют очень маленькое, ничтожное и вполне определенное обвинение. Вы способствовали уничтожению документов. Но вина ваша в таком случае невелика. Если вы сознаетесь в этом проступке, на вас уже не лежит давящее обвинение во «всём». Вы сознаетесь, и, вместо «всего», вас обвинят только в одной мил-

лиардной части «всего» — в сожжении, даже не в недоносительстве — жена не обязана доносить на мужа. Только в сожжении документов. Но тут появляются смягчающие вину обстоятельства. Раз ваш муж требовал, чтобы вы жгли документы, вам, конечно, было трудно не согласиться, не исполнить его требования. Вы были одни, ночью. Он мог вас заставить силой. Вам было невозможно ослушаться его. Совершенно невозможно. Это понятно. Ваша вина была бы в таком случае так ничтожна, что ее просто можно было бы простить. Если вы, действительно, сознаетесь, что по требованию мужа жгли бумаги, содержание которых вам было неизвестно.

— Но ведь это ложь! — крикнула она. — Я читала всё, что жгла. И это я, а не он, придумала жечь их на всякий случай.

— Так, так, так. Понимаю... Значит, вы, во что бы то ни стало, желаете мне помешать спасти вас. Что же, Вера Николаевна, раз вы так упрямо стремитесь к гибели — скатертью дорога! Не настаиваю.

Он вернулся на свое место за письменным столом, сел и устало зевнул.

— Давайте кончать. Так вы, значит, сознательно хотите разделить с мужем его вину и признаетесь, что участвовали в его преступлении? Кстати, в своем преступлении он уже сознался. И вы тоже хотите сознаться? В добрый час.

— Я ни в чем не участвовала, оттого, что ничего не было. Ничего, кроме эпиграммы. Ничего! Как он мог сознаться, раз ничего не было?

— Оставим вашего мужа. Нас сейчас интересуете вы, а не он. Он отвечает сам за себя. Вы, надеюсь, теперь сообразили, что ваше «ничего» равносильно для вас «всему», то есть признанию себя «во всём» виновной? Подумайте еще минутку. Закройте глаза и представьте себе, что вас ждет, если вы будете продолжать настаи-

вать на вашем «ничего». Отсюда вас отправят в тюрьму. У вас хватает фантазии, чтобы представить себе ваше существование в тюрьме — голод, вонь, тяжесть одиночки?.. Вы — такая нежная, избалованная, принцесса на горошине. А знаете ли вы, как там допрашивают? Слыхали ли вы о паровой камере, например? О лампочке в тысячу свечей? Нет? Не знали, что это существует? Балетом, небесным чистописанием занимались — «и легкой ножкой ножку бьет»... Не знали, что есть другие побои. Трах — и зубы вон. А? Не знали?

Глаза его совсем сузились. Она на минуту подняла веки и снова опустила под режущим взглядом Штрома.

— Такую нежненькую, впрочем, приятно, должно быть, деликатно мучить. Зубы вон — это для мужиков. Для вас найдется что-нибудь поутонченнее. У нас много садистов. Какой для них подарок, такая хорошенькая хрупкая балерина. В очередь будут становиться, чтобы допрашивать вас. Во всём сознаетесь. Во «Всём» с большой буквы. Не только себя, но и мужа под расстрел подведете. Из такого уж хрупкого материала сделаны, не огнеупорны. Куда там!.. А жаль. — Брови его снова зашевелились. — Ну вот, предоставляю вас вашей судьбе. Сейчас я позвоню, и вас увезут в тюрьму.

— А если?.. если?.. — вдруг заторопилась Вера. — Нет, не звоните еще. Не звоните. Вы хотите, чтобы я солгала?

Он вздохнул устало.

— Нет. Нам лжи не надо. Вы должны сказать правду. Ведь это чистая правда, что вы ничего не знали о преступной деятельности вашего мужа? Мы-то о ней хорошо осведомлены, а вам она совершенно неизвестна. Вы даже не подозревали о ней. Так где же ложь? Ложь только с его стороны. Он налгал вам всю эту историю с эпиграммой. А с вас требуется только правда.

— Если я признаюсь, что не знала, что жгла...

— Тогда можете идти на все четыре стороны отсюда. Тогда вы совершенно свободны и никакого наказания вам не будет. Простим!

— Но ведь я предам мужа.

— Предадите? — он откинулся на спинку стула и рассмеялся. — Какие пышные, театральные, высокие слова. «Предам»! И никого вы не предадите вовсе. Это не предательство, а исполнение гражданского долга. Тем лучше для вас, что исполнение вашего долга совпадает с вашими интересами. Впрочем, ведь он уже сознался. Мужу вашему всё равно крышка, что бы вы ни сказали. Я не о нем, а о вас хлопочу. Было бы жаль, чтобы такая прелестная, молодая талантливая жизнь зря сгинула в тюрьме. А мужу вы уже ничем помочь не можете — его песенка спета. Если вы о нем думаете, то бросьте. Мужа у вас больше нет. А жить вам, душенька, всё-таки надо. И на свободе лучше, чем в тюрьме. Так решайтесь — звонить мне?

— Нет, — она покачала головой и закрыла лицо руками. — Я сознаюсь. Да, я жгла бумаги и не знала, что в них.

— Минуточку, минуточку. — Он весь подобрался и натянулся, как струна. Ей показалось, что он даже весь как-то заострился. — Сейчас, всё по порядку. Сейчас! Всё по форме! Занесем в протокол!

Он снял телефонную трубку:

— Пришлите мне стенографистку.

— Умница, — он через плечо кивнул Вере. — Я ведь знал, что такая красивая не может быть дурой. Только притворяется. Но теперь помните, каждое ваше слово будет записано. Отвечайте покороче. Мой вам совет, как другу. Ясно и коротко отвечайте. Да — нет. И всё. Осторожненько, чтобы не засыпаться.

Через полчаса Вера подписала протокол, и стенографистка вышла, унося бумаги.

Вера встала. Он тоже встал.

— Вот и всё. Но подождите еще минуточку.

— Значит, я не свободна.

Она почувствовала себя такой усталой, разбитой, ей хотелось лечь, поскорее лечь. Ее комната, ее постель казались ей раем. Лечь, только лечь.

— Вы совершенно свободны, Вера Николаевна.

— Тогда отпустите меня скорее. Я хочу домой.

— Видите ли, в этом-то и дело. — Штром улыбнулся несвойственной ему растерянной улыбкой. — Вы хотите домой? А дома-то у вас больше нет. Дом этот принадлежал Луганову и теперь будет опечатан. Простите, что так резко сообщаю вам. Но узнать на месте вам было бы еще тяжелее.

— Значит, меня выгоняют на улицу?

— Ну, зачем же так грубо — на улицу. И ведь я — ваш друг и всегда готов помочь вам. Вам предоставят комнату, вам разрешат взять ваши личные вещи. Платья, обувь, белье и прочее. Драгоценности придется оставить. Они теперь принадлежат государству, как и обстановка. У вас много драгоценностей.

Вера покачала головой.

— Нет, только то, что на мне. Дома еще кольцо и браслет. Я не очень любила и Андрей тоже.

Она вдруг всхлипнула совершенно неожиданно для себя.

Штром подошел и ласково коснулся ее волос.

— Ну, ну. Такая умная, такая милая и станет портить красивые глаза слезами. — Он поморщился. — Терпеть не могу женских слез, действуют мне на печень.

— Я не плачу, — глаза ее, действительно, были сухи. — Совсем не плачу.

Он снова улыбнулся.

— Вижу и одобряю. Молодец! Так вот, снимайте-ка все ваши украшения и давайте мне их сюда. — Он отодвинул ящик письменного стола. — Они тут у меня полежат дня три. А то, что осталось на квартире, придется, к сожалению, отдать. Ну, снимайте. Пригодится потом. Мне спасибо скажете, что сберег. Главное — сберечь, чтобы не отняли.

Вера послушно отстегнула брошку, сняла с рук кольца, браслет и часы. «Украдет, непременно украдет, — подумала она. — Пусть. Всё равно».

Он взял вещи, рассмотрел их.

— Недурные камешки. И даже часы тут. Удачно. Обыкновенно женщины не надевают часов на бал. Видите, какие я тонкости знаю. Такие, золотые с бриллиантиками, конечно, отобрали бы. Рад за вас, что сбережете.

«Еще издевается», — устало подумала она.

Он задвинул ящик.

— Вам дадут провожатого. Он поможет вам сложить ваши вещи и перевезет вас. Берите всё, что можете. Не оставляйте ничего. Каждая тряпка денег стоит и пригодится потом. И чемоданы самые лучшие заберите. Смотрите, чтобы прислуга вас не обворовала. А послезавтра приходите сюда опять. В десять утра. Вот пропуск. Спрячьте. Буду ждать. И в театр не показывайтесь. Ну, пока.

Он встал и протянул ей руку. Она еле заметно поколебалась и подала ему руку. Не всё ли равно теперь? Зачем его раздражать. Он может ей еще большего зла наделать. Еще большего? Разве бывает еще большее зло? Ах, всё равно. Ей было трудно разобраться в том, что происходило сейчас.

— До свиданья, — сказала она устало.

— Вы поедете в автомобиле. Можете дома полежать перед тем, как укладываться. Я сейчас распоряжусь.

Он позвонил. Она стояла и бессмысленно смотрела на него. «Надо бы его поблагодарить». Но на это нехватало сил. И разрешение лечь отдохнуть в своей спальне, в своей постели, уже не казалось ей раем.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Но на третий день, как было приказано, ровно в десять часов, она входила в кабинет Штрома, пройдя снова по совершенно пустой лестнице и коридорам. У входа пришлось предъявлять пропуск. Удивительно, что она не потеряла его. Когда она в то утро, наконец, пришла к себе, она увидела, что пропуск всё еще зажат в ее левой руке.

Она вошла. Лампа попрежнему горела на письменном столе, и шторы на окне были опущены. Штром, улыбаясь и не двигаясь с места, протянул ей руку.

— Аккуратность — вежливость королей, но редко присуща красивым женщинам. Поздравляю. Я обнаруживаю в вас всё больше и больше качеств. Садитесь. Ну, как устроились?

Устроилась? Если это можно назвать «устроиться». Она кивнула. Не объяснять же ему, как ей отвратительно, как тяжело. Впрочем, он наверно и сам догадывается. Он выдвинул ящик стола.

— Получайте ваши вещички. Только не вздумайте продавать сейчас же. Не раньше, чем через полгода.

«Значит, не украл». Это поразило ее.

— Думали — тю-тю, — сказал он весело. — Не ожидали? Ах, красавица моя, вы еще молоды и не знаете, что в жизни всё всегда происходит не так, как ждешь. Я совсем не обижаюсь, — он весело рассмеялся.

— Собственность для меня отнюдь не священна. Я без предрассудков.

Он взял из ее рук сумку и, открыв ее, спрятал в нее часы, кольца и брошку.

— Не потеряйте. Смотрите, чтобы соседи по комнате не украли.

— Спасибо, — сказала она коротко.

— Не стоит благодарности. Поговорим теперь о вас. В театре еще не были?

Она покачала головой. Ведь он сказал не ходить.

— И отлично. Хорошо, что вы послушны. Всё новые качества открываются в вас. Теперь вам надо прошение о разводе подать.

— О разводе?

— Необходимо. Иначе вам нельзя оставаться в балете. И ведь это пустая формальность. Вряд ли вы когда-нибудь снова увидите вашего бывшего мужа.

— Но если он узнает?

Штром махнул рукой.

— Куда там узнает. В тюрьме-то. И еще... Вы, надеюсь, не хлопотали о нем, ни к кому не обращались?

Она покачала головой. Нет, она не хлопотала, она еще ни к кому не обращалась...

— Отлично. Только себе повредили бы. А ему уже никто не может помочь. Я вас сухой из воды вытащил. Так сидите спокойненько и никому глаз не мозольте. Поняли? Вот и всё на сегодня.

Она встала.

— Минуточку, — он протянул руку, показывая жестом, чтобы она снова села. — Совсем короткий, неофициальный разговор. Я уезжаю в Кисловодск на месяц. Вы ведь теперь одинокая, свободная женщина. И устали, конечно, здорово. Так не хотите ли разделить мой отдых? А?

Она вздрогнула. Колени ее стали пустыми, она тяжело опустилась в кресло. Он вдруг повернул лампу, и

она почувствовала ожог света на своем лице. Он коротко рассмеялся и щелкнул выключателем. Стало почти темно. Она не могла разглядеть выражение его лица.

— Не отвечайте. Уже и так понятно. Считайте предложение зачеркнутым, он открыл портсигар. — Нет даже если бы вы согласились, я бы не взял вас с собою в Кисловодск. Мимика у вас больно богатая, чисто пантомимная, — он опять рассмеялся. — Не думайте, что я обижен. В этих вопросах принуждения быть не должно. Свободный выбор. Да... Теперь всё. Когда вернусь, дам вам знать.

Он встал. Она тоже встала.

— Ну, всего, — он протянул ей руку.

— Спасибо, — сказала она.

Он насмешливо поклонился.

— За что вам меня благодарить, а? Ведь ненавидите, задушить готовы? Зубами горло перегрызть? Зубы у вас хорошие. Кстати. Не нужны ли вам деньги? На первое время. Потом, когда продадите свои золотые вещички, могли бы отдать. Возьмите.

Он достал бумажник.

— Нет, — сказала она решительно. — Нет, ни за что.

И опять прибавила:

— Спасибо.

Он отмахнулся, смеясь.

— Вы меня благодарностью, как паук паутиной муху, окутываете. Только, нет. Паук-то скорее я. Ну, летите себе, маленькая муха, на свободу. Видите, не все пауки страшные.

И он с поклоном широко отворил перед ней двери.

Вера вышла. «Не все пауки страшные», — повторила она. Но этот паук был очень страшен, так страшен, что она на улице долго стояла у фонаря, крепко держась за него и переводя дыхание.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

«Как в одиночной камере», — сравнение уже много десятилетий служащее беллетристам для описания одиночества. Сравнение такое избитое, что смысл давно выпал из этого сочетания слов: как в одиночной камере.

Если бы Луганова спросили прежде: — «Что вы думаете о заключении в одиночной камере?» — он наверно ответил бы: «Это — ужас».

Но как раз никакого ужаса не было. Всё было очень просто и очень буднично. Всё было мелко и скучно.

О таких случаях ему смутно приходилось слышать — о них не говорили громко. Какой-нибудь человек вдруг исчезал, и было спокойнее не слишком интересоваться причиной его исчезновения. Но Луганову никогда не приходило в голову, что это может произойти с ним, писателем, которого так любят, так ценят на верхах и которого даже сам Великий Человек...

Он не понимал, не мог понять — неужели только из-за этой ничтожной эпиграммы, из-за пустого острословия? Ведь за ним, действительно, не было никакой вины. Решительно никакой. Ни словом, ни помышлением он никогда... Он был не тем занят. Ему было не до того. Его личная жизнь, его литература занимали все его мысли.

Он всегда думал, что о свободе нельзя мечтать, пока зло не будет окончательно истреблено. Раз зло нельзя истребить, мир и жизнь всё равно должны быть несовер-

шенным. Против этого бороться нельзя. И он не желал бороться. Он, вернувшись тогда из Германии, раз и навсегда, окончательно принял советский порядок вещей. Раз зло всё равно не может быть истреблено (а в этом он вполне убедился за годы своей романтической молодости), ему было безразлично, какие формы оно примет. Ему казалось, что дело не в количестве, а в качестве зла. Его не возмущало, что в России зла было несравненно больше, чем в других странах. Ведь и в других странах зло присутствовало повсюду, только закомуфлированное, разукрашенное, не так резко и откровенно выступающее.

Первый месяц в тюрьме Луганов еще надеялся. Надежда еще не была изжита до конца. Великий Человек мог одуматься, понять, что погорячился. Луганов знал свою цену, сознавал, что он лучший русский писатель, что и во всём остальном мире таких писателей: раз-два и — обчелся. И если не его самого, то его талант пощадят. Его подержат в тюрьме и выпустят.

Его жена, его друзья, наверно, хлопочут за него, перерывают землю и небо, чтобы вызволить его из беды. Его друзья — Рябинин, Багиров, Серебряков. Если они на свободе. Если их не посадили, как и его. Но ведь у него были и другие друзья. И главный друг — Волков. Его не было в Москве, когда это случилось, но Вера, конечно, сейчас же сообщила ему. И теперь Волков хлопочет. Великий Человек любит Волкова и послушается его.

Надежда поддерживалась логикой. Никакого обвинения против него нет, иначе его вызывали бы к следователю, но его только раз допрашивали. Только раз. В ту ночь. В Кремле. Сам Великий Человек.

Нет, существование в тюрьме было совсем не такое, как он представлял себе.

Первое, что особенно поразило его, — было отсут-

ствие страха. Впервые за столько лет он не боялся. Он даже не мог ясно представить себе теперь присутствие страха во всех своих мыслях и чувствах, так отравлявшее его ежеминутно. Страх, будто доведя его до того, что по его прежним, дотюремным представлениям, было самым страшным, вдруг растаял, отступил, остался там, за стенами тюрьмы.

«Нет ничего страшнее страха» — повторял он еще гимназистом. Но только теперь, в тюрьме, он до конца понял значение этих слов.

Теперь он чувствовал успокоение, будто он, наконец, достиг цели, достиг того, чего так страшился, и больше бояться было нечего. Он не знал тогда, что «это» будет тюрьма. Но в «этом», чего он так страшился, непременно присутствовала разлука с Верой, разлука, потеря Веры, казавшаяся ему величайшим несчастьем, большим, чем смерть.

И вот, он сидел в тюрьме уже больше месяца и не чувствовал той боли, того «жала в плоть», которым, по его прежним понятиям, должна была ранить его разлука с Верой.

Они прожили почти десять лет вместе и за всё время не разлучались ни на один день, ни на одну ночь. Ему казалось, что разлука с ней непереносима для него.

В тюрьме он понял, что и это было ошибкой, как все его мысли, из которых рождался страх.

Он жил без Веры. Конечно, он постоянно думал о ней, но теперь ему часто казалось, что их общей жизни вообще никогда не было, что они никогда не жили вместе. Жили вместе? Разве жили? Он напрягал память, он помнил, что они спали в одной комнате, что они обедали за одним столом, что они ездили кататься за город и летом вместе купались в Черном море. Он помнил, но это была какая-то абстрактная память о жизни с Верой. Сколько он ни напрягался, он не мог себе представить живую Веру. Она как-то сразу, с той самой ми-

нуты, когда он в последний раз увидал ее застывшее, белое, удивительно похорошевшее от ужаса лицо, выпала из его сознания.

Вереница незнакомых, неизвестно откуда появившихся женщин, проходила перед ним. И каждая из них какой-нибудь чертой с Верой напоминала ее. Вот у этой ее выпуклый лоб и слабо очерченные ломающиеся брови, у этой — ее прелестная улыбка и манера, слушая, по-птичьи наклонять голову. У этой — ее походка, ее рыжеватые, легкие волосы. Вереница женщин проходила в его сознании. Это были части, составляющие Веру, но они распадались, и он не мог их соединить, из них не получался живой образ.

И воспоминания об общей их жизни тоже распадались, ускользали, расплывались, исчезали, как только осмысленно сосроточивался на них.

Это было похоже на то самое ощущение, о котором ему так часто рассказывала Катерина Павловна: «Мама, я действительно упал в воду или во сне?».

Или во сне? Действительно ли он жил с Верой или только во сне? Действительно ли он был знаменитым писателем или только во сне? Ненастоящесть его жизни, так тревожившая его в юности, когда он с Волковым смотрел в окна подвальных этажей, завидуя беднякам, стала мало-помалу снова овладевать им.

Он слышал стук в стены справа и слева, соседи по камерам стучали ему, но он не мог им ответить. Ему была неизвестна азбука перестукивания. Он не стучал в ответ. Он никогда не спрашивал Волкова об этой тюремной манере общения и теперь очень жалел, что не спрашивал. Стуки раздражали его, как звонки испорченного телефона. Стуки мешали ему думать. Кто-то желал вступить с ним в контакт, кто-то желал приковать его внимание к себе, обменяться с ним биографическими сведениями. Он чувствовал там, за стеной, напряженную волю, рвущуюся объяснить себя, найти со-

чувствие и самой посочувствовать. И это отравляло его покой. Но стуки прекратились, и в его камере установилась тишина и покой, нарушаемая только раздачей пищи, когда в открытую дверь ему подавали то кипятку с куском хлеба, то тарелку похлебки. Голода он не испытывал. Спал он тоже хорошо. Он ждал. Ожидание освобождения занимало его. Он думал о будущем. Теперь, когда его, наконец, выпустят, он заживет совсем по-иному. Разве он жил до сих пор? Нет, настоящая жизнь наступит, когда его выпустят отсюда. Но дни шли, и надежда понемногу блекла и чахла, в мертвящем тюремном воздухе.

И вот настал день, когда он проснулся с ощущением полного безразличия к себе и к своей судьбе: он проснулся, взглянул на белые стены своей камеры, на маленький квадрат окошка, серевший под потолком, сел на койку и потянулся до хруста в костях, как делал это каждое утро. Но чувства пробуждения не было. Сон как будто продолжался. Вернее, это — ощущение сна во сне, когда снится, что проснулся, и всё же сознаешь, что и это пробуждение — сон. Он проснулся, но он, хотя это и удивляло его, не чувствовал самого себя. Он как будто видел всё со стороны, был только зрителем и вместе с тем сознавал, что человек, потягивавшийся здесь, на тюремной койке, был он сам, писатель Андрей Луганов. Но ему не было никакого дела до себя, до пителя Луганова. Он с брезгливостью осмотрел себя, свои небритые щеки, свои острые лиловатые колени, свои большие ступни. Он старался не замечать себя. Держаться мысленно как можно дальше от самого себя. Но это ему плохо удавалось. Он стал думать о перемене, происшедшей в нем. Откуда она взялась? «Из страдания», — ответил он себе. Ничего, что страдание мое скучно, что причина его ничтожна, что оно может быть просто объяснено и, как объясненное, сброшено со счетов, что беда моя в общей экономии бытия не имеет

ровно никакого значения. Оно всё-таки довело меня до отчаяния, до тихого отчаяния, родившегося из бессилия перед неизбежным.

«Теперь, — подумал он насмешливо обращаясь к себе, как к постороннему, — тебе самому пора заняться философией. Ведь, по Платону, как тебе известно, философия — упражнение в смерти. А тебе вряд ли удастся выбраться отсюда живым. Раз существующее необходимо должно существовать так, как оно в действительности существует, а не иначе, то можно только покориться. Покорись!»

И второй голос, вдруг вступивший в его мысли, отчетливо ответил: «Да, я покоряюсь. Я обречен на абсолютное одиночество и безнадежную оставленность. Ты прав. Пора пофилософствовать: начало философии — не удивление, а отчаяние. Пока я, как всякий человек, с которым случилась катастрофа, удивлялся и возмущался, я не мог коснуться тайн жизни. Только отчаяние приводит к границам и пределам существования».

«Как пышно ты выражаешься», — насмешливо сказал первый голос. Луганов слушал. Никогда еще он не испытывал ничего подобного. Два голоса вели разговор в его сознании, в его голове. Он слушал.

«Тот, кто ищет начал, источников и корней всего — хочет ли он, или не хочет — должен пройти через отчаяние. Я, должно быть, искал эти источники, корни и начала, только не знал, что ищу».

«Иначе, если бы ты понял, что ищешь их, ты бы, конечно, сразу отложил всякие поиски». — «Из страха перед отчаянием? — спросил первый голос. — «Не знаю, — ответил второй. — Отчаяние успокоительно, отчаяние разгоняет даже страх, люди повторяют: «Страх и отчаяние», как будто отчаяние — высшее развитие страха. Но эти слова несоединимы. Когда наступает отчаяние, страха уже не существует».

«Может быть, ты и прав. Оттого я и перестал бояться здесь, в тюрьме. Я впал в отчаяние, как только перешагнул порог тюрьмы. Мне стало здесь, в тюрьме, легче, чем на воле. Отчаяние означает конец всех возможностей. Оттого трагедию так приятно, так успокоительно смотреть, что волноваться не надо, что гибель героя заранее предрешена, и места для страха и надежды нет. Где нет возможности спасения, там не может быть ни волнения, ни страха».

«А как тебя мучил страх! Ты не мог вырваться, освободиться от него, тебя от страха освободила только тюрьма. Не забавно ли? Свободу тебе дала тюрьма. Ведь того, чего мы боимся, мы и желаем вместе с тем. Сильнее всего желаем. Вот твое тайное желание и исполнилось». — «Не смейся надо мной». — «Над нами, — поправил первый голос. — Смеясь над тобой, я смеюсь и над собой. Напрасно воображают, что, если два человека находятся в одинаковом положении, они непременно поймут друг друга. Это неправда. Даже мы с тобой не понимаем друг друга. И тебе не хочется меня понимать, тебе хочется жить, хотя ты и скрываешь это от себя. Тебе всё еще и наперекор всему хочется жить. Ты мог бы воспользоваться своим новым состоянием духа. Ты ведь знаешь, что «отчаяние развивает в душе ее высшие силы». — «Нет, ответил второй голос, — я отупел и стал ко всему безразличен. Я ничего не могу понять. Я нуждаюсь не в понимании, а в жалости. Будь милосерден, пожалей меня». — «Пожалеть? Но разве ты не знаешь еще, что милосердие бессильно и беспомощно? Есть только одно средство помочь тебе, как и всякому страдающему человеку, это — прибавить тебе еще страдания». — «Я не понимаю. Как ты можешь быть так жесток?». — «Не от меня моя жестокость», помнишь? И это совсем не жестокость, а милосердие и любовь. Но любовь может привести только к еще большему несчастью, сделать человека таким несчастным, каким он ни-

когда без любви не был. Это единственная помощь, на которую способна любовь».

Луганов шагал взад и вперед по камере и останавливался только, когда голова начинала кружиться слишком сильно. Головокружение было похоже на опьянение и нравилось ему.

«Ты был писателем. Ты старомодно верил в свою миссию, в свою избранность. Но ты не видел того, что показывает людям смерть, и не хотел знать, какие ужасы прячет в себе жизнь. Пока не поздно. Открой глаза и смотри. Взгляни через плечо, туда — назад».

— Нет, нет, — крикнул Луганов, — нет! — Он стоял посреди камеры. Он дрожал. — Я сошел с ума, — громко сказал он.

«Ну да, — спокойно прозвучал первый голос в его сознании. — Говоря по-человечески: ты сошел с ума. Ты выпал из общего. Ты уже ни с кем, кроме меня, объясниться не можешь. Откажись от своего разума, раз ты выпал из общего. Пока ты шел в ногу со всеми людьми и временем, ты чувствовал твердую почву под ногами. А теперь... Видишь, как пол колеблется? Сядь на табурет, если не хочешь упасть».

Луганов сел и вытер рукой лоб.

Первый голос продолжал:

«Заметил ли ты сегодня, что ты ни разу не вспомнил о Вере? Это тоже подарок, сделанный тебе отчаянием. Отчаяние освободило твою душу от привязанностей. Разве тебе не стало легче и спокойнее, когда ты понял, что это — конец? Но ты еще топорщишься, ты еще борешься, ты, как плохой пловец, не решаешься просто и мягко лечь на волну отчаяния, отдаться ей — пусть несет, куда хочет. Ты еще полон своей гордости, этой superbe diabolique[1]. Ты очень горд, ты всегда был очень горд. Ты забыл, что начало всякого греха — в

[1] Великолепной, дьявольской.

гордости. И ты даже не догадываешься, что гордость — только загнанное вглубь сознание своего бессилия, только замаскированное, разукрашенное бессилие. Ты любил это бессилие в себе, ты холил ты растил его. Ты и сейчас гордишься не только собой, но и всем необычайным, происшедшим с тобой. Тебе даже кажется, что твоя смерть — добровольная жертва. И это очень забавно. И еще тебе кажется, что твоя смерть — великое мировое событие, которое оставит след в веках. Как ты смешон, как ты жалок! Бедный, бедный! Как мне жаль тебя. Твоя тупая, равнодушная покорность, твоя, вдруг вспыхивающая и сразу же гаснущая гордость смешна и жалка. Я хотел поговорить с тобой о Боге, но ты еще не созрел. Ты всё еще стремишься к личному бессмертию, к славе в будущих поколениях. Ты мечтаешь о памятниках Луганову, о Лугановских площадях и улицах. О, бедный, жалкий. И я ничем не могу тебе помочь. Давай, будем лучше опять молчать. Любовь, бессильная любовь, может превратиться в ненависть, а я не хочу тебя ненавидеть. Будем лучше молчать...».

Стало совсем тихо, совсем темно. В голове была какая-то особенная пустота и легкость, будто голова вообще отсутствовала.

«Если бы я сейчас мог посмотреть на себя в зеркало... Может, у меня действительно нет головы. Но ведь мне не отрубят голову, меня расстреляют. Стреляют, кажется, сзади, в затылок». Он почувствовал боль в затылке и дотронулся до него. «Вот сюда. Рано, рано, — сказал он — и вообще это наверно, совсем не больно». И боль сейчас же исчезла. Он ощупал рукой голову, но и без того он уже опять чувствовал ее и это тяготило его, теперь уже нельзя было сомневаться, что она тут, на плечах, тяжелая, переполненная тоской. И он снова мысленно брезгливо отодвинулся сам от себя. Он сам себе мешал и был сам себе противен.

Он открыл глаза. По стене пробежал паук, и вни-

мание его поглотилось движением его лапок, быстро передвигавшихся по белой известке. Паук на минуту заменил ему его собственное, такое надоевшее, «я». Но только на минуту. Вот уже паук, покачиваясь на неизвестно откуда взявшейся тонкой, всё удлиняющейся нити, исчез в трещине пола. Но здесь, в бетонной камере, не было и не могло быть никаких пауков. И щелей в полу тоже не было. Щели в полу, пауки — всё это было взято памятью из старого реквизита воспоминаний.

И паук был, может быть, тем самым знаменитым ручным пауком, о котором он читал в детской хрестоматии.

Но как бы там ни было, внимание его, подобно вымышленному пауку, вдруг покачавшись на тонкой нити этих мыслей, растворилось, растаяло в неподвижности и тишине тюремного утра.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Теперь Луганов перестал даже прислушиваться к бою часов, перестал считать дни. Ему стала совершенно безразлична дата сегодняшнего дня. Не всё ли равно, четверг сегодня или воскресенье, 3-тье июля или 10-ое августа? Ему стало казаться, что он научился ни о чем не думать. Он не интересовался ничем. Его водили на прогулку, и он шел, механически переставляя ноги, вниз по лестнице, потом занимал свое место в паре, рядом с одним из заключенных. Он не смотрел на своего соседа, не старался расслушать, что тот шептал, еле шевеля губами. Он двигался, опустив голову, глядя себе под ноги, занятый только тем, чтобы не споткнуться, не потерять равновесие, не упасть. И с облегчением возвращался в свою камеру. Он теперь проводил большую часть времени стоя, прислонившись к стене, слегка закинув голову назад. Так ему было спокойнее. Смотреть на потолок было безопасно. Он был белый и пустой. Он всегда оставался только потолком.

И однажды, когда Луганов уже лежал, и квадрат окна стал черным, оттого, что за стенами наступило то, что называется ночь (последние недели время для Луганова проходило в первозданном хаосе света и тьмы и перестало делиться на дни и ночи), дверь его камеры вдруг раскрылась широко, гораздо шире, чем при появлении тюремного сторожа, без лязга ключей, без щелканья замка — широко и бесшумно, как дверь его мос-

ковского кабинета. Дверь открылась, и в камеру вошла Вера. Она была одета, как жена бретонского рыбака на картинке его детской французской книжки (той самой, в которой рассказывалось о пауке, жившем в камере заключенного), в широкую сборчатую юбку, с платком, скрещивающимся на груди. Ее деревянные сабо звонко стучали о тюремный пол. Она держала в руках большой яркий фонарь. Вместе с ней в камеру влетел океанский ветер, пахнущий дождем и морскими водорослями.

Она вошла, оглянулась, подняла фонарь над головой и стала с недоумением всматриваться в Луганова, будто не узнавая его, будто сомневаясь, тот ли он, кого она ищет. Потом отвернулась, вздохнула, поставила фонарь на табурет и устало села на койку. Она сидела рядом с ним, но не касаясь его, не замечая его, — точно он был не тот, кого она искала. Вдруг она опустила голову и заплакала. Он почти никогда не видал, как она плакала. Он запомнил только, как она плакал в тот вечер, когда он спросил ее, хочет ли она стать его женой, но тогда она плакала совсем иначе, тогда она плакала от радости. Он с удивлением смотрел на слезы, текущие по ее молодому, измученному лицу. Она еще ниже опустила голову, и ее мокрые вьющиеся волосы упали на ее глаза. Теперь он видел ее плачущее лицо, как через сеть морских водорослей. Он почему-то вспомнил об утопленницах, образ Офелии неясно шевельнулся где-то в тесноте и темноте его сознания. Rosmary... That's for remembrance...[1] пропело в его памяти.

— Вера, не плачь, Вера, — попросил он жалобно.

Но она, должно быть, не слышала. Она долго плакакала, потом подняла голову, отбросила назад мокрые волосы и встала, вздохнув. Он потянулся к ней, но она

---

[1] Розмари... Это для памяти...

уже взяла фонарь с табурета и, сутулясь, как от старости или от болезни, пошла к выходу, стуча своими сабо.

Дверь всё еще была открыта. И опять, как когда она вошла, она подняла фонарь и оглядела камеру с тем же недоумением. Пламя в фонаре качнулось и вспыхнуло ярче.

— Вера, — крикнул он. — Вера, не уходи! Вера! — Он только сейчас понял, что она — его спасение, и если он даст ей уйти так, молча, — он погиб навсегда. Но она, не слушая его, уже уходила, унося фонарь.

Она шла, не оборачиваясь. Она уходила всё дальше и дальше. Он уже не мог различить ее. Он видел только всё удаляющийся, всё уменьшающийся свет ее фонаря. И вот, свет ее фонаря стал не больше звезды. Вот он, как звезда, светит из черноты и пустоты коридора. Звезда... Свет звезды... «Свет звезды доходит до земли в двести лет», — вспомнил он. Неужели прошло двести лет, как Вера ушла от него?..

И тогда он понял и ему стало страшно. Он почувствовал, что он не может сделать ни одного движения, что если бы ему надо было бежать, спасаться бегством, это было бы невозможно.

«Что же ты удивляешься, — вдруг снова раздался первый голос в его сознании, — ведь я, кажется, уже говорил тебе, что страх — обморок свободы. Свободы не только отличать добро от зла, но свободы распоряжаться своими мыслями, чувствами и даже своим телом. Лежи себе. Холодей. Цепеней. Банально холодей от ужаса. Ты всегда боялся банальности. Ты никогда не позволял себе писать, — его зубы стучали от ужаса, — и напрасно: слышишь, как твои зубы стучат и руки и ноги холодеют? Это было слишком избито и банально. Да, это банально. И всё-таки это правда. Перед тобой уже стоит вечность. Вечность пожирает всё и ничего не отдает назад. Нет силы, которая может бороться с веч-

ностью. Ты будешь вечно, в бесконечности переживать минуту потери разума, входить во мрак, где тебе не ответит даже отчаяние. Ведь даже отчаяние не спасло тебя. Ты совершил междупланетное путешествие. Поздравляю тебя. Тебе удалось то, что редко кому удается. Разум твой, безотчетно стремившийся туда, где тебе уготована гибель, наконец, достиг своего».

Он лежал, чувствуя, как кровь леденеет в его теле, как его зубы стучат. И страх не проходил, оттого, что он сознавал его.

«Знаю, знаю — «нет ничего страшнее страха», — сказал насмешливо первый голос. — Как мне смешны и противны те, кто хотят избавить человека от страха перед страшным». — «А дальше? Что будет с ним дальше, потом?» — спросил второй голос, и Луганов услышал ответ, громко прозвучавший в его сознании: «Остановимся на этой черте. Вернее всего, что дальше для него ничего не будет». — «Но ведь ты хотел поговорить с ним о Боге». — «Поздно, теперь уже некогда. И он не поймет — страх помешает ему понять. Пусть уходит из жизни. Предоставим его самому себе, вернее его гибели...».

Луганов долго ждал, пока, наконец, рассвело. Он удивился, что еще узнал рассвет. Как я любил рассвет при жизни, — подумал он. — При жизни? но разве я уже вне жизни? Разве я уже мертв? Или это мое безумие заставляет меня уже чувствовать себя трупом? А что, если потом будет наоборот. Я уже буду мертв, я уже буду трупом, и меня будут есть черви, а я всё еще буду чувствовать себя живым и страдать, как при жизни, как живой?

...В тот же день, когда его повели на прогулку, он оттолкнул часового и выбросился из открытого окна тюремного коридора.

Уже вспрыгнув на подоконник, он вдруг вспомнил свое всегдашнее детское ощущение: вот выпрыгну из окна и не упаду, а полечу в небо.

А вдруг... подумал он. Он не успел додумать «полечу», как почувствовал, что уже падает.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Луганова подняли и отнесли в тюремную больницу. Он был без сознания. Доктор качал головой.

— Вряд ли оправится. Во всяком случае, калекой останется — двойной перелом плеча и, — он тронул длинным пальцем седой висок, — и возможно не все дома будут. После такого падения: головой об камни.

Доктор ошибся. Луганов оправился и даже удивительно быстро. Сломанное плечо срасталось, руку не пришлось ампутировать, но служить она тоже больше не могла. Ей предстояло всю жизнь покоиться на груди, на перевязи.

Доктор ошибся и на счет головы Луганова: падение, повидимому, мало или даже совсем не отразилось на ее работе.

Луганов, когда он пришел в себя, стал на всё давать разумные ответы и не проявлял признаков умственного расстройства.

Когда Луганов пришел в себя... Но дело в том, что он не мог назвать своего пробуждения в тюремной больнице «пришел в себя». Он очнулся. Но тот, кто очнулся, был не тот, кто выбросился из окна или вернее это был он и не он. Он попрежнему назывался Андреем Платоновичем Лугановым, нового имени у него не было и тело его было прежнее, хотя и разбитое. Он присматривался, прислушивался к себе, изучал себя. Как это могло слу-

читься? Об этом он не думал. Как? Почему? было не важно. Важным была перемена, происшедшая в нем. Он чувствовал себя очень слабым. Сил хватало ровно на то, чтобы измерить, определить перемену. В чем она состояла? Прежде всего, хотя это и казалось невероятным, в ощущении удовольствия. Да, несмотря на боль в плече и в руке, несмотря на слабость, он, лежа на спине, с удовольствием чувствовал мягкую подушку под головой, с удовольствием ждал посещения доктора. К этому, непонятно откуда взявшемуся ощущению удовольствия, примешивалось чувство покоя, сохранности, какой-то защищенности и неуязвимости, никогда прежде, даже в самые молодые годы не испытанные им.

Луганов с детства был серьезным, сумрачным и требовательным. Его отношения не только с окружающими, но даже с матерью, даже с самим собой были сложны и трудны. Но сейчас он впервые чувствовал, что никакой сложности, ничего трудного не было в его отношении к миру, к людям и к самому себе. Всё, напротив, было просто, легко и как-то наивно. Всё в нем и вокруг него казалось чистым и светлым. Должно быть, от больничной белизны, — подумал он и сейчас же отказался от этого объяснения. Нет, больничная белизна здесь была ни при чем. Нет, это в нем самом исчезла хмурость и тень, которую он набрасывал на всё вокруг себя, и оттого ему кажется, что он яснее, что он по-новому видит окружающее. По-новому видит, слышит и понимает окружающее с тех пор как очнулся после падения.

Может быть, — подумал он неуверенно, — я, падая сквозь скважину того длившегося тогда мгновения, проник в вечность живой? Может быть, время остановилось для меня, я остановил его своим падением, и теперь я нахожусь в вечности, живой в вечности? И оттого мне так легко и спокойно. И оттого ни прошлого, ни будущего для меня больше нет. Прошлое и будущее перестали меня мучить и страшить, раз я в вечности.

Он не мог понять, он не понимал, но это не огорчало его. Он чувствовал, что улыбается, и давно позабытое ощущение улыбки тоже доставляло ему удовольствие. Как будто, теплый свет на губах и лице. Свет, который шел из него самого.

Доктора и сиделки входили и выходили. Но даже когда он оставался один, он не испытывал одиночества. Он чувствовал незримое присутствие добра и покоя. Ему казалось, что он спит. Во сне он слышал, что кто-то читает Отче наш. Он открыл глаза и прислушался. «Да будет воля Твоя. Да приидет Царствие Твое» — услышал он, и это уже не был сон. Это не был сон, и он был один в комнате. Кто же читал молитву! И вдруг он понял, что это он сам читает молитву и уже много раз повторяет всё те же слова. Тогда он закрыл глаза и заплакал от радости.

Луганов никогда не был религиозным. Он любил заутреню в Казанском соборе, крестный ход в еще холодной весенней ночи, заканчивающийся ликующим Христос Воскресе. Он любил вечерние службы в их темной деревенской церкви, свечки, целым пучком жарко освещающие сумрачный склоненный лик Богородицы, волнение молящихся, ту страсть, с которой они прижимали сложенные пальцы ко лбу, прося Бога о даровании им чего-то, на что они, конечно, имели право, цепь веры, связывающая всех этих молящихся, этих паломников с высокими кипарисовыми посохами и стройных молодых вдовушек-паломниц, обходящих святые места в надежде заслужить себе там, в Раю, ту радость, в которой им здесь на земле отказано. Он любил обрядовую театральность православного богослужения, с его певчими и басом диакона. Он любил их деревенское, бедное и декоративное кладбище с холмиками и полуразвалившимися деревянными крестами, густо заросшее плакучими ивами, на которых вороны так тревожно и зловеще каркали ветренными вечерами на закате.

Но был ли он религиозным? Нет, конечно, нет.

Уже гораздо позже, в годы своей женитьбы, он как-то нашел среди книг Веры ее зеленую Библию, которую она постоянно возила с собой. Он раскрыл ее. Его поразила глубокая поэзия, точность и мастерство английского перевода. Он тогда же прочел ее всю. Он был так очарован ею, что выучил много мест наизусть. Тогда же у него явилась мысль написать статью о влиянии Библии на стиль английских писателей. Но он бросил ее, узнав, что мысль эта уже давно была приведена в исполнение и что она не представляла собой открытия.

Вскоре он перестал интересоваться Библией. Ведь интерес его к ней был чисто художественный, а не религиозный.

И всё-таки он не мог утверждать, что он не верит в Бога. С Богом у него были совсем особенные, свои собственные отношения. Ему казалось, что Бог любит его, вернее, то, что он пишет, что Бог присутствует во всём когда-либо написанном им. Он не думал об этом ясно, но смутное сознание своей миссии и участия в ней Бога у него безусловно было. Это составляло часть его романтического мироощущения. Он чувствовал, что Бог — или абсолют, или причина причин, он не старался точно определить Его имя, — интересуется им сильнее, чем большинством смертных. Он чувствовал свою избранность. И связанное с избранностью благословение того, которого он привык называть Богом. Благословение Бога, но и вытекающее из него проклятие того же самого Бога: тяжесть, которую эта избранность и связанный с ней труд навалили на Луганова. Жестокая, требовательная любовь Бога, отравляющая его жизнь, наполняющая ее горечью, недовольством собой и тем, что он писал, вплоть до соблазна отречься от своих книг, уничтожить их, сменяющаяся гордостью, почти восторгом перед величием того, что ему удалось создать. Всегдашнее ощущение — раскачивание, как маятник, от гор-

дости к презрению к себе, от отчаяния — к восторгу. И этим раскачиванием маятника тоже управлял Бог.

Конечно, Луганов не думал ясно о своих отношениях к Богу. Это были только очень туманные, очень расплывчатые ощущения, непроявленные до конца, тающие, прежде чем он мог оформить их и уточнить.

Если бы его до тюрьмы спросили, верит ли он в Бога, он подумал бы, прежде чем серьезно и честно ответить: не знаю. И это был бы самый правильный ответ. То смутное, что составляло его отношения к Богу, нельзя было назвать верой.

Но сейчас, здесь, на больничной койке, на тот же вопрос он, не задумываясь ответил бы: верю! Всем сердцем! Как в детстве. Да, именно, как в детстве, когда он не подозревал еще, что не всё благополучно в мире, когда он даже не догадывался еще, что на свете существует зло и смерть, когда Бог был только добро, только любовь.

Как могло случиться, что он, доведенный отчаянием до самоубийства, очнулся с чувством радости и покоя, которые должны испытывать праведники в раю? Может быть, его душа за то время, когда он вплотную подошел к смерти, успел узнать многое, еще неизвестное, его сознанию? Он не знал. Он не хотел об этом думать. Он был еще слишком слаб. Он только тихо радовался, жмурясь от теплого света улыбки, освещавшей его лицо.

Но к вечеру ему стало душно. Глаза горели и сердце билось томительно. Объяснение нашлось само собой — это жар.

Луганов лежал один в сумерках и смотрел на темнеющее окно. Там, в этом окне, где только что был больничный сад, теперь, на фоне звездного весеннего неба, вырисовывались зубчатые стены Кремля. Но ведь их тут не было только что, — вспомнил Луганов. Значит это не только жар, значит это — бред.

Да это был бред. Луганов сидел в кресле низкой комнаты в Кремле. Перед ним колыхающейся походкой ходил взад и вперед по пестрому кавказскому ковру узкоплечий коротконогий человек. Луганову было трудно следить за его движением. Оно укачивало его, отвлекало его внимание от слов, которые он слышал, от слов, которые он произносил. Что напоминало ему это движение ног в мягких сапогах без каблуков по ковру? Из памяти вдруг выплыла библейская фраза: From walking up and down, to and fro in the world[1].

Да, именно так гулял сатана по земле перед спором с Богом о душе праведного Иова. Сатана? Но ведь Луганов не верит в сатану, как не верит в зло. Сатана не может гулять по ковру кремлевской комнаты, оттого, что ни сатаны, ни зла вовсе не существует. Это только бред, — успокоил себя Луганов и стал прислушиваться. Человек в мягких сапогах продолжал шагать up and down, to and fro, задавая вопросы гортанным, повелительным голосом. И Луганов отвечал. Ответы были односложны: «нет». И еще: «нет», и опять: «нет». Нет — на все вопросы. — «Не хочешь признаться? — вдруг спросил человек, останавливаясь — Запираешься? — Глаза его из-под нависших лохматых бровей взглянули в лицо Луганова удивленно, почти дружески. — Мне не хочешь сознаться?». — Он помолчал немного и другим усталым, разочарованным тоном добавил: «Впрочем, дело твое... Тебе же хуже будет»... И тогда, — вспомнил Луганов, — тогда я встал и подошел к окну. Он видел, как он встает с кресла, как подходит к раскрытому окну. Он чувствовал ветер на своем лице, он чувствовал напряжение мускулов, понадобившееся ему для того, чтобы встать на подоконник. Он вспомнил свою последнюю сознательную мысль: А вдруг не упаду, вдруг полечу!..

---

[1] От хождения вверх и вниз, и в разных направлениях по миру.

И он, действительно, полетел. Он летел с страшной быстротой. С быстротой света, — точно определил он и сейчас же вспомнил, что читал где-то, что для удаляющегося от земли со скоростью света то, что он видел в последнее мгновение, когда он покидал землю, уже никогда не изменится, будет длиться вечно.

И значит, он обречен вечно видеть это движение мягких сапог без каблуков по ковру? Но разве это можно перенести?

«Нет, — сказал он себе сознательно, — всего этого нет и не может быть. И даже никогда не было. Это бред».

Дверь его палаты открылась и к нему вошел фельдшер.

— Вот сейчас сделаем вам вспрыскивание. Что, очень больно, гражданин Луганов? — участливо спросил он.

— Нет, не очень больно, — ответил Луганов, стараясь высвободиться из кресла там, в Кремле, — нет не очень больно. Только, вот, бред.

Фельдшер кивнул.

— Ну, как же без бреда после такого? Вполне нормально, что бред. Сейчас вспрысну морфий и вы уснете.

— Разве усну?

Луганову казалось, что ему уже никогда не удастся уйти из бреда, ставшего его действительностью. Он почувствовал легкий укол шприца, увидел рыжеватую голову фельдшера совсем близко, он хотел еще что-то спросить, но у него уже не хватило ни сил, ни слов.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Он проснулся утром всё в той же палате, с тем же чувством радости. От бреда не осталось воспоминаний. Всё было хорошо. Он взглянул на окно. Там, в больничном саду, шел дождь. Рыжие намокшие листья копошились на мокрой траве. «Как живые», — прошептал он, чувствуя нежность к этим листьям и к этой траве, и к земле, на которой росла трава. «Как это было сказано у Франциска Ассизского? «Сестра моя земля?». — «Сестра моя жизнь?». Нет, «Сестра моя жизнь» — название сборника стихов. Но как это прелестно. Сестра моя жизнь, именно сестра. Сестра, роднившая меня и с этой мокрой землей, и с этим дождливым небом, и со всем, что живет». Луганов смотрел в окно. Косой дождь вдруг осветился солнцем. Порыв ветра, прогнавший тучу, налетел на дождь, ломая его пунктирные линии. На небе робко показалась радуга. Луганов благодарно следил за тем, как она становилась всё отчетливее, всё ярче, пока не образовала широкой арки, одной стороной упиравшейся в сад. «Радуга, — прошептал он, — обещание»... Он не закончил, он не додумал — обещание чего? Просто — обещание.

И обещание исполнилось в тот же день. К нему пришел Волков.

Луганов совсем не удивился его приходу. Ведь он был обещан ему радугой. Он, молча улыбаясь, протянул подходящему Волкову здоровую руку, и тот осторожно

взял ее в обе свои, подержал немного и осторожно, будто и она была сломана, положил обратно на одеяло. И только тогда заговорил, заволновался, завозмущался.

К концу его посещения, когда Волков уже решил, что он добьется для Луганова ссылки, вместо тюрьмы, — ссылки и работы в газете, Луганов невнимательно, как всегда, слушавший его, встрепенулся.

— А Вера? Почему ты ничего не расскажешь о Вере? Как она живет?

Волков отвел глаза.

— Ну, по всей вероятности, хорошо. Хотя я не успел ее еще повидать. Ведь я только утром из Берлина приехал и сразу узнал о тебе.

Луганов поморщился. Плечо вдруг сильно заныло и боль отдалась в груди.

— Сходи к ней, пожалуйста. Узнай всё, как она там одна. И, — он опять поморщился, — я бы очень хотел ее повидать, только боюсь, что ей будет слишком тяжело. И не говори ей, пожалуйста, что я... — он показал на окно и улыбнулся, несмотря на боль. — Она не должна знать. Она такая впечатлительная, нервная, хрупкая.

— Чепуха, — перебил Волков. — Женщины гораздо выносливее нас с тобой. А балерины, те просто двужильные, с грузчиком могут силой потягаться.

— Нет, ты всё-таки не говори. Выдумай что-нибудь, ну ревматизм или еще что. Я ведь в медицине профан. Только, чтобы она не знала, что я хотел...

— Хорошо, хорошо. Скажу, что у тебя припадок детского паралича.

Но Луганов не слушал.

— Главное, не испугай ее. И еще у меня к тебе просьба. Принеси мне Верину английскую Библию.

Волков нагнулся над ним и удивленно заглянул ему в лицо.

— Библию? Это еще зачем?

— Принеси. Там есть одно место в книге Иова. Мне перечесть хочется.

— Я бы тебе лучше «Библию для верующих и неверующих» Емельяна Ярославского принес? А? И полезнее и забавнее. Хочешь?

Луганов покачал головой. По лицу его было видно, что он страдает, и Волков перестал шутить.

— Сейчас же съезжу к Вере Николаевне и завтра полный рапорт тебе представлю. И Библию привезу. Может быть, и Веру Николаевну захвачу к тебе.

— Нет, нет! — Луганов задвигался на подушках. — Нет, не завтра еще. Когда я поправлюсь. И побриться мне надо. А то она испугается меня. Только повидай ее...

На следующий день Волков привез Луганову Библию и известие, что Вера уехала со всей труппой в командировку в провинцию.

— Ну, конечно, — рассказывал он, — в начале она много плакала. А теперь ничего, работает, танцует. У нее столько друзей, ни минуты не бывает одна. Она ждет, что тебя скоро освободят.

— Да, — сказал Луганов задумчиво, кладя Библию возле себя. — Я так и думал. Ты не знаешь, сколько в ней мужества, сколько доблести.

— Если хочешь, можно ее телеграммой вызвать. Она, конечно, прискачет.

— Что ты, что ты? — Луганов поднял протестующе руку. — Зачем? Я так рад, что ей хорошо, что она на гастролях...

Через две недели, так и не повидавшись с Верой, которая всё еще танцевала где-то в провинции, Луганов уезжал на место своей ссылки.

Всё случилось так, как предсказывал Волков. Тюрьма Луганову была заменена ссылкой в один из захолустных украинских городков.

Луганов совсем поправился. Только рука осталась на перевязи, но к этому он легко привык.

Сейчас, сидя с Волковым в купе, он с нежностью смотрел на осенние поля и леса, пролетавшие мимо окна.

— А я и забыл, как всё это прелестно и трогательно. Я думал, что уже никогда не увижу, что это уже не для меня... А вот, благодаря тебе...

— Ну, ну, — Волков нетерпеливо дернул головой. — Не вздумай только благодарить... И ведь мне ничего не удалось для тебя сделать. Великий Человек уперся. Упрям он. До чего упрям..

Луганов помолчал немного.

— А знаешь, — сказал он задумчиво, — так гораздо лучше, что я не видел Веру. Скорее она от меня отвыкнет.

— Это еще что? Разве ты ее разлюбил?

— Нет, напротив. Я ее люблю еще больше, гораздо больше, но... — Луганов бросил в открытое окно недокуренную папиросу и глубоко вдохнул воздух полный паровозного дыма. — Как бы тебе объяснить? Я теперь ее для нее самой люблю, а прежде я ее для себя любил. Теперь мне хочется, чтобы ей хорошо было, даже без меня, — он запнулся, — даже с другим. И вот, я хотел тебя попросить. Устрой наш развод. Чтобы она была свободной. И могла бы жизнь сначала устроить. Ведь она еще так молода...

Волков свистнул.

— Ну, ну, смотри у меня, — он погрозил Луганову пальцем. — Не будь ты таким добрым, а то, того и гляди, растаешь от доброты, как масло на солнце. Ты что это собрался, как тот старичок с медведем живым на небо быть взятым?

— Какой старичок с медведем? — не понял Луганов.

— Волков рассмеялся.

— Иона, из твоей же Библии. Впрочем нет, не Иона. Иона — тот первое подводное плавание совершил... Не помню я всех этих басен, забыл. Я ведь даже басен Кры-

лова никогда толком запомнить не мог, а уж эти и подавно.

И он, продолжая смеяться, махнул рукой.

— Не понимаю я тебя, — заговорил он снова. — Как ты можешь эту ерунду читать? — он показал на Библию, лежавшую в открытом портфеле Луганова. — Ведь ты, кажется, разумный человек. Одно только объяснение нахожу: перетрусил ты очень в тюрьме и уже решил, что твоей жизни конец. А известно, что суд Божий еще несправедливее, чем земной: идите от меня во тьму и скрежет зубовный — лизать сковороды раскаленные. Вот ты и «убоялся». Конечно, «страх — основа религии». Но сейчас, хоть и не особенно пышно, всё-таки жизнь твоя устроилась, ничто тебе не грозит и, право, нет основания бояться и в Бога верить.

— Оставь, — перебил Луганов. — Ты — мой друг, ты — милый... но не будем об этом спорить. Расскажи лучше, что ты видел в Берлине.

И Волков, одернув гимнастерку, стал пространно и обстоятельно излагать все свои соображения о немецком народе, о социал-национализме и Гитлере. Их у него накопилось много.

Луганов улыбался и не слушал. Да, радуга не обманула, — вспомнил он. — Да, обещание исполнилось. Еще лучше, чем он надеялся.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

— Нам надо с тобой серьезно поговорить, — сказал Волков. — Приходи вечером.

Теперь был вечер. Теперь происходил этот серьезный разговор. Луганов целый день ждал его с чувством, почти напоминавшим его прежний страх. И успокаивал себя. «Пустяки. Волков опять заведет речь о революции, о Великом Человеке. Ведь он разочарован, только не смеет себе признаться в своем разочаровании. И весь этот его монолог, в сущности, бесконечная тяжба с обманувшей его мечтой юности. Но пора бы ему понять, что мечта всегда обманывает, на то она и мечта. А найти реальность, ту реальность, которую нашел он, Луганов, редко кому удается, редко кто живет в таком мире гармонии и покоя, как он теперь. Но в этом мире покоя и гарномии снова, как мышь, заскреблась тревога. О чем хочет говорить Волков? Не о Вере? Не о Вере ли?».

Веру он с тех пор так и не видел. Устроить ее приезд сюда было, повидимому, не легко, иначе Волков непременно выписал бы ее сюда на несколько дней. Два раза в месяц приблизительно Луганов получал от нее письмо, однообразно-оптимистическое — «надеюсь, скоро увидимся», — однообразно-веселое, говорящее всё о тех же ее балетных успехах. Иногда она писала: «У меня чудная новая шубка, тебе бы очень понравилась». Или: «Я заказала себе синий костюм у твоего портного». Но о новых знакомых, о поклонниках, о возможности как-

нибудь по-новому устроить свою жизнь, — хотя он постоянно просил ее считать себя свободной, — не было ни слова никогда.

Он посылал ей письма через Волкова. Лучше Вере не получать писем на свой адрес от Луганова. Это могло помешать ей и ее карьере. Возможно, что за ее перепиской следили.

Может быть, это касается Веры? — сердце Луганова застучало громче. Казалось, было просто крикнуть — не томи. Куда ты гнешь? О чем? Но он по опыту знал, что Волков только зафыркает раздраженно и прочтет ему лекцию о том, что сразу в лоб ничего объяснить нельзя, что требуется для всего подготовка, логическая связь между причинами и следствиями, без которых ничего не удается ясно понять. Всё это было слишком хорошо известно Луганову и всё-таки он не сдержался.

— Ответь только — ты о Вере хочешь говорить?

Волков остановился на полуслове и заморгал, будто спросонок.

— Что? О Вере Николаевне? Разве я обещал говорить о ней?

— Нет, нет, — заторопился Луганов. — Я думал, не больна ли она, не случилось ли с ней чего.

Волков пожал плечами.

— Что им, этим балеринам делается? Пляшут себе и другим на радость. Порхают от успеха к успеху.

— Так продолжай. Я слушаю. — Луганов удобнее уселся, закурил новую папиросу и стал следить за кольцами. Кольцо дыма долетело до лампы и медленно и бесследно растаяло в ее свете, растаяло, как его тревога о Вере.

Волков говорил, иногда характерным жестом поправляя ремень. Говорил отчетливо, то повышая, то понижая голос, то останавливаясь, будто делая паузу для

аплодисментов. Теперь, успокоившись, Луганов слушал, наслаждаясь воскресшим из прошлого часом близости друга. Он закрыл глаза — ему показалось, что они перенеслись назад, туда, в их петербургскую квартиру, в их молодость. Мишук, блестя сине-черными глазами и характерным жестом оправляя студенческую тужурку, ораторствовал возле пыхтевшего самовара. Лампа низко спускалась над круглым, нарядно накрытым столом, освещая тонкие руки мамы-Кати, разливавшие чай в голубые гарднеровские чашки, ее ласковую улыбку, ее светлые, вьющиеся волосы. Совсем такие же светлые и так же вьющиеся, как у ее сына Андрика, сидевшего рядом с ней в черной бархатной блузе. «Так же ораторствует и я так же его не слушаю», — подумал Луганов и почувствовал, как сильно он любит Волкова.

Любовь... С любовью дело обстояло не совсем удовлетворительно. Любить дальних, абстрактных людей было легко. Но любить ближних — сотрудников газеты, встречных, толкавшихся на улице, хозяев квартиры, было не только трудно, но почти невозможно. Сколько бы он ни думал о любви, как бы ясно ни понимал, что без любви нет спасения, он не умел заставить себя полюбить их. И сейчас он с умилением чувствовал, что любит Волкова. В груди стало тепло, и счастливая дрожь пробежала по горлу.

Чем я заслужил такого друга? — подумал он взволнованно и благодарно. — Такого, что его нельзя не любить?

Он совершенно перестал слушать, он был занят собой, своими чувствами. Всё, что говорил Волков, нисколько не касалось его. Но вдруг он прислушался.

— Война неизбежна! Самое позднее, через две недели будет война.

Война? Неужели? А он не знал. Он хотел верить, что России удастся избежать войны.

Волков сделал паузу. Нет, на этот раз не для аплодисментов, а чтобы дать слушателям освоить положение.

Луганов вытянул шею. От резкого движения его сломанное плечо заныло.

— Война? Ты уверен?

— Абсолютно уверен. То, что я хочу предложить тебе, слишком серьезно. Я бы не начал этого разговора, если бы не был уверен в неизбежности войны.

Он прошелся по комнате и остановился спиной к окну.

— Сто семьдесят немецких дивизий стоят на границе Союза, — начал он снова. — От нашего города до границы 300 километров. Считай. Наступая на Францию, немцы шли по 30 километров в день. У нас они, вероятно, будут двигаться еще быстрее. Красная Армия на первых порах будет «в порядке отступать», т. е. бежать или сдаваться. Короче говоря, самое позднее через месяц в этом кабинете будет сидеть немецкий комендант. Я буду где-нибудь на фронте, а ты...

— А я? — Луганов тяжело привстал, опираясь на диван. — А я..

Волков раздраженно махнул на него рукой.

— Не перебивай. Дай мне всё объяснить тебе по порядку.

Луганов молча смотрел на него. Война? Значит, правда, война? Нет, этому нельзя поверить, нет, он еще не верил. Волков постоял с минуту около окна, потом подошел к дивану, сел рядом с Лугановым и положил ему руку на колено.

— Да, — сказал он, — война. Да, — повторил он и покачал головой. — Ты не видишь жизни. С тобой нельзя говорить просто. Ты полон интеллигентских предрассудков.

Луганов нетерпеливо сбросил его руку со своего колена.

— Говори просто. Прямо и просто. Без этих твоих фокусов.

— Нет, прямо с тобой нельзя. Ни прямо, ни просто. Не понимаешь ты многого. Постараюсь тебе растолковать. Авось поймешь. Хоть и не поручусь, что поймешь. Голову на отсечение не дам. Нет, ты, Андрей, не понимаешь советской действительности и никогда не понимал.

Он снова встал. Стоя ему было привычнее говорить.

— Возьмем хотя бы твою историю. Ты проклинаешь день и час, когда сочинил эту эпиграмму.

Откуда он взял? — подумал Луганов. — Я никогда не говорил ему. И уже давно не жалею, совсем не жалею. Это он, а не я не видит действительности. Или, вернее, ни он, ни я. Никто не видит. Каждый видит только то, что сам воображает. Каждый живет в своем собственном, им самим созданном мире. Оттого-то так и трудно понять друг друга. Мысли его приняли обычный ход, но он усилием воли прервал их и стал слушать. Ведь во всех этих разных мирах, для всех, живущих в них русских людей, одинаково будет война.

— Ты терзаешь себя, — продолжал Волков. — Зачем прочел эту проклятую эпиграмму. Ведь мог не сочинить, ведь мог не читать. И ничего бы не случилось. И был бы ты попрежнему знаменит и счастлив. Нет, друг мой. Ошибаешься. Случилось бы. Всё равно случилось бы. Не это, так что-нибудь другое. Не в этот день, так через месяц, через полгода. По другому поводу, в другой обстановке. Но твое падение было неизбежно. Непременно нашелся бы и повод, и подобающая обстановка. А этого ты не хочешь, не можешь понять.

Ведь твоя эпиграмма, в сущности, была невинная шутка. В Америке, во Франции такие шутки о президен-

те республике распеваются с эстрады и печатаются в юмористических журналах. И ты недоумеваешь, почему за такую невинную шутку Великий Человек обошелся с тобой так жестоко. А я считаю, что он еще мягко обошелся с тобой. Если знать советскую действительность и твердо учитывать момент, удивительно, что не воспользовались поводом и тебя сразу, без проволочек, не вывели в расход. То, что ты уцелел, что ты находишься здесь почти что на свободе, удивительнее, чем твой арест за невинную шутку. Но не строй себе иллюзий. Ты сохранил существование, но навсегда выпал из советской жизни. В советской жизни для тебя больше места нет. И никогда уже не будет. Не веришь?

Ну да, еще недавно такие люди, как ты, были очень нужны. С вами возились, за вами всячески ухаживали. Вы ели советский хлеб — белый хлеб, густо намазанный маслом. Вас отпускали в заграничные командировки. Вам платили огромные гонорары. Вас превозносили в печати. У вас были особняки и машины. Обеспеченные, знаменитые, признанная гордость Советского Союза, вы почти не касались советской действительности. Вы жили личной жизнью. А личная жизнь, которой вы так широко пользовались, считая ее своим неотъемлемым правом, была еще большей роскошью, еще большей редкостью, чем особняки или автомобили. Вы ведь не были англичанами или французами, для которых личная жизнь действительно неотъемлемое право. Вы были советскими гражданами, а в Советском Союзе никто давно не имел личной жизни — кроме вас, никто не имел — ни партия, правящая страной, ни скрученные партией в бараний рог советские граждане. Никто. Вам одним, людям искусства и науки, было позволено, до поры до времени, жить вне подневольного труда, недоедания и вечного страха, в котором жила вся страна. Кстати о страхе, которого не знали вы. Страх — шлак, отброс производства государственной машины. Ценный, нуж-

ный отброс. Отлично идет в дело. Удобряет почву. И одних вас не касалась и железная дисциплина партии. Но вы жили сами по себе под вашим стеклянным колпаком, как цветы в оранжерее, которым дела нет до непогоды. Вам позволялось очень многое, давно запрещенное рядовому гражданину. Даже легкая оппозиция вам разрешалась. Напиши ты свою эпиграмму лет десять тому назад, ты, конечно, мог бы лично прочесть ее Великому Человеку. Он бы не рассердился или, вернее, не показал бы вида, что рассердился. Напротив, мог бы даже пожаловать тебе лишнюю премию своего имени. «Луганов что-то будирует, Луганова надо приласкать. До поры до времени он нам еще нужен».

Вот как взглянул бы тогда Великий Человек на твою эпиграмму. Ты был нужен. Очень нужен. Не ты лично и даже не твой талант. Твой престиж, твое имя, твоя порядочность, твой интеллигенстский независимый склад ума. То, что ты вернулся в Союз из-за границы, не пожелав бороться оттуда с советской властью, было нужно и ценно.

Дело было совсем не в твоих книгах. Не такие книги нужны партии. Впрочем, нужные партии книги писались и без тебя и тебе подобных — писались на все сто процентов.

Вспомни, кто из русской интеллигенции оказались сразу на нашей стороне, кроме членов партии, конечно. Даже Горький, старый друг Ленина, отшатнулся от нас и уехал за границу. Правда, как и ты, на время. Писатели, художники, ученые, примкнувшие к нам немедленно, были, почти без исключения, отбросами интеллигенции. Тогда, в начале, мы и их очень баловали. Они были нам очень нужны тогда. Одна из наших ставок вообще была на человеческие отбросы. Она оказалась беспроигрышной. Наши ряды сразу пополнились. У нас сразу завелись необходимые нам офицеры, юристы, ди-

пломаты — почти все они были авантюристы, жулики, сбежавшиеся на запах жареного. В свое время они нам здорово помогли. И в свое время, когда грянет, наконец, мировая Революция, опять помогут. Не те, конечно. Те давно умерли от раздольной жизни, сифилиса или кокаина, а которые не догадались умереть, ликвидированы нами. Помогут подобные им в Европе. Они и теперь нам помогают, мы и теперь уже их подкармливаем. Они не ошибутся в расчете на власть, на деньги, на легкую, привольную жизнь, которая их всех ждет, когда мировая Революция грянет. Не рассчитывают они только на ликвидацию их, когда пройдет в них надобность. А ликвидируем мы их непременно.

Луганов вдруг шумно вздохнул и завозился на диване.

— Короче, — взмолился он, — короче! Зачем все эти отступления?

— Иначе не умею. Могу совсем замолчать, — в голосе Волкова послышалась обида.

— Нет, нет, — заторопился Луганов. — Но раз это меня касается, мне, естественно, хочется скорее знать, куда ты клонишь.

— Очень уж ты нетерпелив, Андрей. Без подготовки...

— Ну, хорошо, хорошо. Продолжай свою подготовку, свои экскурсии в прошлое. Я слушаю.

— Ты уже потерпи, — Волков коротко засмеялся. — Сам знаю за собой недостаток говорить пространно, повторять знакомые вещи. Сам над ними смеюсь, а не умею иначе. Привычка. Ты уж извини, уж потерпи. Для твоего же блага, Андрей.

— Ну, продолжай. — Луганов кивнул. Обещаю — больше не буду тебя прерывать. Но не томи, если можно. Ты сказал — война.

— О войне потом. Теперь о тебе. Так вот. В огромной машине советской власти, окрепшей, но тогда еще не окончательно, участие такого Луганова было важно. Важно для страны. Важно для престижа за границей. Важно — представь себе — для самого Великого Человека. Он ведь тогда только исподволь, осторожно прибирал власть к рукам. У него были враги, и какие враги — вся старая ленинская гвардия, все самые талантливые люди на партийных верхах. Все они стремились его уничтожить. А время устраивать показательные процессы изменников еще не пришло.

Имена друзей Великого Человека, теперь такие громкие, тогда еще никому не импонировали. Но Луганов импонировал. Мейерхольд импонировал. Есенин и Маяковский импонировали. И их баловали и берегли. Помнишь, как по всем участкам Москвы был дан приказ: когда пьяный Есенин устроит очередной дебош, будет бить зеркала и кричать «Бей коммунистов, спасай Россию», — не составлять протокола, а мягко, бережно вывести Есенина под ручки и на автомобиле доставить домой. И Великий Человек, сам отдавший это приказание, при встрече с Есениным, смотря на него добродушно, как он один умеет смотреть, и отечески грозя ему пальцем, говорил: «Не снести тебе головы, скандалист. Ухлопают тебя по пьяной лавочке. Не тебя жалеть буду, талант твой жалеть буду». Что такое была бы, повторяю, тогда твоя эпиграмма? Шутка, вздор. Но годы шли, и всё коренным образом изменилось. Ты не заметил этого, пока над тобой не грянул гром. У тебя ведь никогда не было чувства советской реальности, Андрей, не было и нет.

Вот у Есенина было. Подсознательное, конечно. Сознательно вряд ли он понимал. А бессознательно чувствовал и бессознательно правильно поступил. Кричал: «Бей коммунистов». Пил. Плевал на всё. Пил, плевал, скандалил, оттого, что бессознательно понимал: сегодня еще можно, еще полная безнаказанность. А завтра,

— какой паинькой себя ни веди, — всё равно попадешь под колесо. Тонко чувствующая, поэтическая была натура. Весь на интуиции, на вдохновении. Пил, хулиганил, а когда пришел срок — сделал самое правильное, что мог сделать, — повесился. Он, ты знаешь, на рассвете повесился. Выражаясь по-вашему, по-литературному, можно сказать — символистической была его смерть. Он покончил с собой, когда заря Великого Человека едва загоралась. Конечно, причины самоубийства нашлись — всякие там Айсейдоры и прочие жены — внучки Льва Толстого, непробудное пьянство и неудовлетворенность. «До свиданья, друг мой, до свиданья...», которое он кровью стихами написал, вместо: «Пришло время. Лучше уж я сам себя повешу, с собой покончу, чем вы меня прикончите».

Тогда солнце Великого Человека только всходило. Теперь оно стоит в зените. Под этим солнцем вашей породе независимых, свободолюбивых людей нет места на советской земле.

— Что ж, — снова перебил Волкова Луганов, — ты мне советуешь покончить с собой? Еще раз попробовать, но на этот раз удачно? А война тут при чем?

Но Волков только махнул на него рукой.

— Обещал молчать и слушать, так молчи и слушай. Не перебивай. Нет, не о твоем самоубийстве, я о твоей жизни хлопочу. Только не мешай, помолчи немного.

— Молчу, — отозвался Луганов с дивана, и Волков продолжал:

— Да, таким людям, как ты, нет больше места на советской земле. И вы исчезаете один за другим. Маяковский, вот застрелился, оставив записку: «Любовная лодка разбилась, разбилась о быт» — и так далее. Но что это значило. Это значило, что он, стреляясь, соблюдал приличие кодекса самоубийц: «В смерти моей никого не винить». А винить надо было, и как еще. И Чека, и всю

советскую власть, запутавшую Маяковского, доведшую его до этого. Не мог же он написать — кончаю с собой, пока меня не прикончила Чека. Он думал о своей биографии. А что более подходящее для объяснения самоубийства поэта, как неудачная любовь? Он правильно поступил стреляясь, и правильно составил записку. Солнце Великого Человека всходило всё выше.

А те, кто, подобно тебе, был самоупоен и нечувствителен к окружающему, не разбирался в том, что вокруг происходит и куда вас всех несет неизбежность — что сталось с ними? Пильняк? Пильняк, отказавшийся когда-то принять поднесенный ему Бенц — не нравится мне эта марка, — и которому переменили Бенца на Паккард. Ты знаешь, как он кончил. А Мейерхольд? Знаменитость. Реформатор современной сцены. Правительство подарило ему не автомобиль, нет, — Паккард или Бенц мелочь. Правительство подарило ему театр имени Мейерхольда. Театр имени Мейерхольда — было высечено на фронтоне несокрушимо, рассчитано на сотни лет. Правда, надпись уничтожили в один день после его опалы. Кстати, кто из них раньше умер? Он или его жена актриса Райх. Ты ведь знаешь, ее не арестовали. К ее дому ночью подъехал автомобиль. И все в доме знали, что это значит, и дрожали. К кому? И когда из квартиры Райх понеслись стоны и крики, все остальные обитатели дома облегченно вздохнули: «Слава Богу, не к нам». Утром ее нашли мертвой, с выколотыми глазами, в разгромленной квартире. В «Правде» появилась заметка об очередном налете грабителей и убийстве ими актрисы Райх. Вот и всё. Ни суда, ни следствия.

Телега с грохотом прокатилась по мощеной булыжниками мостовой. Первая яркая звезда блеснула в окне. Луганов молчал. Волков сделал паузу, подошел к дивану. Луганов крепко сжал челюсти. Если не мешать Волкову, он сейчас скажет, объяснит то, к чему он так из-

дали ведет. Он сейчас скажет. Только бы не перебить его.

— Странный, странный вы народ, русские интеллигенты, — задумчиво сказал Волков, после паузы. — Такие умные и в то же время такие отчаянные дураки.

Луганов отшатнулся. Так вот оно что. Пауза, отдых перед новым пробегом. И надо еще ждать.

— Отчаянные дураки, — голос Волкова окреп, — совсем, как те византийские мудрецы. Турки осаждают Константинополь, лезут уже на стены, а они спорят о Фаворском несотворенном свете. Перерезали их турки всех до одного. Так им и не удалось выяснить, какой такой несотворенный свет.

— Слушай, — перебил Луганов. — Это ты, кажется сейчас о Фаворском свете споришь. Хватит, хватит! Не мучь меня, кончай. Ты начал о войне, потом обо мне. А теперь куда занесся? До Фаворского света докатился. Не мучь меня. Ведь у тебя доброе сердце.

Волков подошел к нему.

— Экий ты нервный, Андрей! Что значит человек за бортом. Разве ты раньше такой был? — он покачал головой. — Вот, ты говоришь, что у меня доброе сердце. А что ты подразумеваешь под этим? То, что я немного помог тебе выпутаться из грязной истории, которая называется безвыходное положение знаменитого писателя в Советской стране? Доброе сердце! Ты еще не знаешь, что я тебе предложу, но ты, конечно уверен, что мое доброе сердце устроит твое будущее. А сердце у меня, между прочим, совсем не такое, как ты воображаешь. Не доброе и не злое. Исправное сердце — вот какое оно у меня. Может выдержать любую нагрузку. Не забьется даже сильнее там, где твое разорвалось бы. И сейчас, гляди, как ты корчишься от нетерпения и тоски, ты — мой единственный друг, стучит спокойно и ровно. В наше время, не спорю, это большое преимущество. Ты

жил в советской оранжерее, откуда тебя выбросили на советскую помойку. Настоящей жизни ты не видел. Побывал бы ты, например, на раскулачивании... Вообрази только: вечером в деревне всё, как всегда. Закат, стада идут домой, парни с гармошками, крестьянки в пестрых платочках, уютно, хозяйственно, свиньи хрюкают, коровы мычат. А наутро — бумажка. Привез ее прямо из Москвы какой-нибудь такой товарищ с исправным сердцем, вроде меня. Собирает он сход и читает бумажку. И сразу всё летит к чорту. Сразу — только он эту бумажку прочел — бабы ползают в грязи на коленях: не губите. Пожалейте наших детей. Вой, вопль, крики. «Куда мы пойдем?». Не беспокойтесь, всем места заготовлены. «Никуда мы из наших изб не пойдем». Нет у вас больше ни изб, ни лежанок, ни печей, за которыми прячутся повсюду старые иконки. Проваливайте. Всё это колхозное. Прикладами в шею мужиков, баб и детей. На грузовики, на подводы и в товарный поезд. Пятнадцать, двадцать дней тянется такой поезд к месту назначения — на рытье каналов, строить советские чудеса где-нибудь в тундре. Половина прибывает уже трупами. Зимой от мороза, летом от тифа. Круглый год — от голода и жажды.

Только вот, ты говоришь, что у меня доброе сердце. Представь себе только: вой, плач, бабы целуют сапоги. Товарные вагоны, набитые людьми, так что пошевелиться нельзя. Покуривал бы ты папироску спокойненько, глядя на раскулачивание и покрикивая на подчиненных: «Живей! Что возитесь? Время не ждет!». Как бы твое сердце чувствовало себя? А мое — как всегда. Билось, как ему полагается, ни сильней, ни слабей, работало на вверенном ему секторе, разгоняло кровь по артериям. И я тоже исполнял работу на вверенном мне секторе, больше ничего. И покуривал при этом. Не злой и не добрый, обыкновенный сознательный партийный работник. Хороший чиновник революции... Но в том и дело, что

не совсем это так. И я доступен жалости. И как еще! И сердце у меня с царапинкой, с червоточиной. Одним словом — брак. Никого не жалею на свете? Нет, неправда. Жалею. Тебя, Андрей, жалею, — он вздохнул. Значит, не такой я точный, выверенный аппарат, раз, вот, почти лирически разхныкался над тобой. Впрочем, не над тобой. Над прошлым. Есть и у меня такая иконка, что в моей памяти прячется. Никогда не влюблялся. А любил всё-таки один раз в жизни, зато крепко, навсегда. Однолюб я, видно, хоть это и кажется смешно, не подходит ко мне. Полюбил я в десять лет маму-Катю и так, несмотря ни на что, даже на ее смерть, продолжаю ее любить, будто она живая, только живет где-то далеко, за границей, что ли. Никому, никогда не говорил — стыдился. Романтизм какой-то. Не подходит мне совсем. А сегодня, вот, признаюсь, чтобы ты понял, поверил, что я тебе добра желаю. Что я это не для тебя, для нее...

Он оборвал, глядя перед собой. Луганова удивило мягкое, мечтательное и рассеянное выражение его обыкновенно таких внимательных, колючих глаз.

— Знаешь, она мне часто снится, — продолжал он почти шопотом, будто шопотом было не так неловко говорить о себе и своих чувствах. — Часто снится. И еще позавчера ночью снилась. И так странно. Я уже старый, такой, как сейчас, а она совсем молодая, как, помнишь, на портрете в гостиной. Совсем молодая и такая красивая, нарядная. И в волосах цветы. И платье шелковое, широкое, шуршащее. Обнимает меня, целует и всё говорит что-то, быстро-быстро. Я слышу ее голос, а понять слов не могу. А она настаивает, просит, плачет, — он провел рукой по лысеющему лбу. — Я хочу понять и не могу. Я проснулся и до утра уже не мог заснуть. Всё думал — это она за тебя просила, конечно, за тебя. Ведь, как она тебя любила!.. Тогда я и решил тебе пред-

ложить, тогда я и понял, что другого выхода нет. Верь мне, Андрей! Я тебя спасти хочу. Не для тебя только, а для нее. Верь мне! Даже своей карьерой рискну. Хотя вздор, карьера моя не пострадает. Пойми, поверь мне... Для нее это, для нее. Как она тебя любила, Андрей, как любила... — быстро и сбивчиво говорил Волков. — Поверь мне, другого выхода нет. Поверь!

За окнами совсем стемнело. Теперь всё небо было в больших украинских звездах. «Тиха украинская ночь» — пропела в памяти Луганова пушкинская строчка. Там, в упоительной поэме, вслед за тишиной украинской ночи, за блещущими звездами на прозрачном, таком же, как сейчас, небе тоже говорилось об ужасах жизни, о пытках, о невинно пролитой крови. И как сейчас, на Россию тогда тоже надвигался враг...

Что там Миша толкует о советской действительности, о Великом Человеке, о писателях? Россию спасать надо. Всем, всем. Спасать, защищать от врага. Даже ему — со сломанным плечом, с рукой на перевязи. И сейчас, как и тогда, всё для России кончится победой и славой. Всё кончится еще небывалой победой и славой. Нет, рука на перевязи не мешает, и одной рукой можно защищать Россию, сражаться за нее, умереть за нее. Что он там вспоминает прошлое и маму-Катю? Разве мама-Катя не часть той же России, того же русского прошлого, как Полтавский бой, как Пушкин? И разве, сражаясь за Россию, тем самым не сражаешься за память мамы-Кати, и за эти звезды, и за пушкинскую поэму, за всё прошлое, за всё будущее России, с которыми он, Луганов, так тесно, так кровно связан? Ничего, что со сломанным плечом, с рукой на перевязи. И со сломанным плечом можно...

— Через месяц в этом самом кабинете будет сидеть немецкий комендант, — прерывая мысли Луганова, гулко и отчетливо прозвучал голос Волкова. — Через ме-

сяц, не позже. И я предлагаю тебе остаться здесь и перейти к немцам!

Луганов ждал, что Волков сделает ему какое-то предложение. Он был подготовлен почти ко всему. Но к этому, нет, к этому он подготовлен не был.

Ему показалось, что с потолка сорвался завиток лепного карниза и ударил его в лоб между глаз. И еще ему показалось, что он потерял сознание от этого удара. Но это, конечно, только показалось ему. Он продолжал сидеть на диване, в этом не было сомнения. Он попрежнему видел ночное небо в окне и бледное лицо Волкова в волнах табачного дыма. Но всё как-то странно переместилось приблизилось и отдалилось, будто разрушилось чувство перспективы. Лицо Волкова, бледное и круглое, было где-то очень далеко, за окном, окруженное облаками, а здесь из табачного дыма, на фоне уныло-пестрых обоев, прямо перед Лугановым, мягким матовым светом светилась луна.

Я пьян, — смутно и душно подумал Луганов. — Миша не говорил этого. Нет, я просто пьян, — он нагнул голову, глядя на белевшую перед ним луну, и стал слушать. — Это кажется тебе чудовищным, — сказала луна, — перейти к врагу. Но помоги мне помочь тебе. Пойми.

Луганов шумно вздохнул и привстал. И луна, и лицо Волкова сразу поплыли перед его глазами и снова переменились местами. Я пьян, — повторил Луганов, — но ведь я ничего не пил, — вспомнил он снова и нагнул голову, исподлобья посмотрел перед собой. Но теперь перед ним был Волков, и это Волков, а не луна, говорил:

— Ты не хочешь перейти к врагу? Но ты только подумай, что будет с тобой на Соловках или в солончаках Туркестана, а ты непременно попадешь туда или куда-нибудь еще хуже — в один из наших бесчисленных концлагерей. И я ничем не смогу тебе помочь. Я уже пробовал, всюду пробовал. Отказали. Единственное, что

я могу для тебя сделать, это — чтобы тебя эвакуировали в таких условиях, чтобы ты не умер по дороге. И даже это уже трудно. Но, скажем, ты доберешься живым до Соловков или Туркестана. А что с тобой будет там? Голод, цынга, вши. Восемнадцатичасовый каторжный труд. Словом, смерть в рассрочку. Ты будешь знать, что это — конец, что выбраться оттуда нет никакой возможности. Ты, Луганов, лучший русский писатель, заживо сгниешь, медленно, позорно, гнусно. Какой-то доктор сказал, что если отрезать палец солдату и Блоку — обоим будет больно, только Блоку — в тысячу раз больнее. И тебе будет в тысячу раз больнее умирать, чем твоим товарищам по лагерю. Последнее, что у тебя сохранится, это сознание. Выпадут зубы, отвалятся отмороженные пальцы, ослепнут глаза. А мозг всё будет жить и продолжать думать, думать, думать, мучиться, мучиться, мучиться. Да, так будет, если ты не послушаешься моего совета. Подожди! Не перебивай меня. Потом ответишь. Дай сказать. Ведь мне не легко говорить это. Против себя, против всех моих убеждений — советовать тебе стать изменником. Но, послушай, пойми. У нас разные точки зрения, мы должны различно рассуждать и видеть события. Если бы я был на твоем месте. Измена России? Вздор. Никакой измены России нет. Ты не России изменяешь, а только советской власти. И ты с своей точки зрения абсолютно прав, изменяя ей. Разве ты клялся в верности советской власти, разве ты приносил ей присягу? И даже если бы клялся, никакая клятва не устоит против того, что советская власть сделала с тобой. И за что? Ты был всегда лойялен по отношению к ней, честный, добросовестный попутчик, большего с тебя ведь и требовать не могли. А она с тобой вот что сделала. — Волков протянул руку к черной перевязи на груди Луганова. — И еще что собирается сделать? Ты прав отрекаясь от советской власти и вступая с ней в борьбу. Прав! Стране своей ты останешься вер-

ным. И ты не только прав, но это даже твой долг. Твой долг поступить именно так. Твой долг перед Россией. Ведь ты, прежде всего, обязан сохранить свою жизнь, свой талант для России. Ты сам не раз говорил, что Толстой, Гоголь, Достоевский сделали для славы России больше, чем все полководцы, все выигранные сражения. И всё-таки ты готов дать себя уморить, утопить, как шелудивого котенка, тебя и твой талант. Ты — лучший русский современный писатель и ты знаешь это. Тобой гордилась твоя страна, твои книги переведены на все европейские языки. Сколько ты еще можешь сделать для славы России, для ее настоящей славы! Но ты готов дать себя отравить, как крысу. Готов принять позорную, мучительную смерть. Из-за чего? Из-за душевной трусости, душевной близорукости, из боязни додумать до конца, нарушить нелепое, созданное средними людьми для средних людей законы морали. Но разве ты сам не смеялся над этими законами, разве ты средний человек, а не один из тех, которые создают законы, которые меняют представление о морали, которые могут провозгласить: дважды два пять и которым поверят? Нет, я не предлагаю тебе менять представление о том, что называется изменой своей стране. Я только хочу с тобой додумать до конца твое положение. Ты не хочешь изменить своей стране. А знаешь ли ты, чего хочет твоя страна? Не мечтает ли она сама об этой измене? Не будет ли шептать отец на ухо уходящему на фронт сыну: «Ты, смотри, переходи к немцу? Немец нас от колхоза избавит». Другое дело, что мы таких шептунов на ушко будем расстреливать и будем правы со своей точки зрения. Но ты? Не окажешься ли ты как раз против своей страны, если безропотно покоришься дикой гибели, приготовленной тебе советской властью. Знаешь ты, чего хочет твоя страна? Не знаешь. Но ты во всяком случае должен знать одно — твоя страна хочет, чтобы ты жил. Ты обязан для России...

— Нет! — крикнул Луганов. — Нет! Я... никогда, что бы там...

— Погоди, погоди, — властно перебил его Волков. — Дай мне кончить. Не предполагал я, что ты так косен, так весь во власти пустых формул и отживших принципов, что ты такой «преувеличенно-умеренный», «нормальный». Лучшего я был о тебе мнения, о тебе и твоем уме. Кругом такой вихрь закрутился, а ты со своей маленькой мерочкой «это можно, этого нельзя» в хаосе хочешь разглядеть тропинку, ведущую прямо к добру. А ведь вокруг давно нельзя разобрать, где мрак, где свет, где добро, где зло — всё смешалось, как перед первым днем творения. Хляби под ногами — по твоей же Библии. И, творя добро, творишь зло, и наоборот. Такая неразбериха пошла. А ты хочешь «нормально» поступить. Только нормы-то тут все уже разбиты, как старые кухонные горшки. Подожди! Помолчи! Ты — русский. Ну, конечно, это непреложно. Русский — родился от русских родителей, на русской земле. И всё-таки, прежде всего, ты — русский интеллигент, а потом — просто русский. Принадлежность к интеллектуальному миру гораздо более характерна для тебя, чем твоя принадлежность к русскому народу. Ты, прежде всего — типичный интеллигент-западник. Твое место сейчас в Европе, где столько дорогих тебе могил и столько дорогих тебе единомышленников. Они, конечно, и по духу, и по мысли, тебе гораздо ближе, чем я. Не говоря уже об остальных твоих русских современниках. Во Франции, в Англии, в Америке...

— Но ведь, — крикнул Луганов, крикнул оттого, что своим обычным голосом ему говорить сейчас не удавалось, — ты ведь советуешь мне врагу передаться, а не эмигрировать в Англию или Францию.

Волков пожал плечами.

— Подумаешь, разница уж не так велика. Передаться врагу? Конечно, немцы — враги. Вернее, твои враги

по духу. Ты ненавидишь Гитлера не за то, что он враг коммунизма, а за то, что он отросток коммунизма. Но и в Германии далеко не все с Гитлером, и там много интеллигентов твоего толка. Ты только передашься немцам, ты только честно расскажешь им, откуда у тебя эта рука на перевязи. Засиживаться в Германии тебе нечего. Переберешься как-нибудь во Францию. А там и дальше. Брось твою душевную щепетильность, взгляни хоть раз правде в глаза. Тебе надо спасти свою жизнь. Это твой долг, повторяю. Твой долг перед Россией. А кто тебе поможет исполнить этот долг, — безразлично. Ты не имеешь права дать себя уничтожить. Даже если для этого надо передаться немцам.

— Не могу, — хрипло крикнул Луганов, — не могу. С врагами против России. Всему изменить, друзьям изменить, всю русскую литературу изменой опозорить. Нет, нет! Чтобы мои друзья...

Волков подошел к дивану и сел рядом с Лугановым.

— Друзья твои? — он улыбнулся вкрадчиво. — Серебряков, Багиров, Рябинин. Ты о них?

Луганов кивнул.

Ты не можешь понять, как мы с ними были близки. Боюсь, что и так они за меня пострадали, но они теперь хоть могут жалеть меня, а если...

— Верил ты им очень? — перебил Волков, так же вкрадчиво улыбаясь. — И они тебе, конечно. Братья? Ближе, чем братья? А?

Луганов молчал.

— Па-ни-маю, — почти пропел Волков. — Не хотел я тебя огорчать, а придется, видно.

Он медленно, будто нехотя, встал, подошел к шкафу и раскрыл его.

— Эти твои братья-друзья, вот они где у меня, — он достал с одной из полок тонкую папку. — То-есть, не они сами, а творчество их. Лучшее, священнейшее,

заветнейшее, на что они способны. Не понимаешь, о чем я? А между тем, это просто. О доносах их говорю. Вот они, тут их доносы, — он протянул папку Луганову — их доносы на тебя. Не хочешь взять в руки, сам удостовериться? И так веришь? — он пододвинулся к дивану, перелистывая папку. — Напрасно. Ведь любопытно. Все три друга-брата, каждый сам по себе, не сговариваясь с остальными, настрочили на тебя донос.

— Неужели правда? — задыхаясь, спросил Луганов.

— Еще бы не правда! И даже обыкновеннейшая правда в нашем Советском Союзе. И как не донести? Ведь трое слушало, из троих-то один непременно донесет. Тогда и тем двоим крышка. Вот всякий и ловчится, чтобы не оказаться тем, которым крышка за недоносительство. А ты лакеев винил, соседей по столу! Всё много проще — сами твои друзья-братья. И в каких еще выражениях. Почитать, что ли?

— Нет, ради Бога! Не надо. Не могу, не могу... — Луганов отвернулся и спрятал лицо в диванную подушку.

— Ну, ну, успокойся. Силой заставлять тебя читать не стану.

Волков спрятал папку в шкаф.

— Не показывал тебе, знал, как тебе больно будет. Романтичен ты очень. В высокие чувства веришь. Но сегодня я, как хирург, операцию произвел. Надо было раз и навсегда твои иллюзии убить. Надо было, чтобы ты понял и согласился со мной. Ну что, ведь согласен теперь? А?

Луганов поднял лицо.

— Ты не торопись с ответом, — Волков протянул ему пачку папирос. Луганов закурил. Пальцы его тряслись. — Ты не торопись с ответом. Подумай за ночь. И завтра мне скажешь, чтобы я всё приготовить успел. Ведь нешуточное дело.

Луганов подался грудью вперед, опираясь на здоровую руку.

— Не надо. Довольно, — он как-то весь съежился, болезненно морщась. — Довольно, ради Бога. Я хотел бы домой.

— Домой? Вот это правильно. Поговорили и хватит на сегодня. Завтра ты мне свое решение сообщишь. Спорить с тобой я всё равно не стал бы. Раз я вступаю в спор, я тем самым допускаю, что могу быть неправ. А я прав последней правотой, не допускающей сомнений. Последней правотой, — повторил он, повышая голос. — Непререкаемой! В особенности после того, как показал тебе доносы твоих братьев-друзей, — он рассмеялся резким смехом. — А, чорт, до чего договариваться приходится, — он махнул рукой и крикнул: — Федоров!

Открыв дверь он стал смотреть в коридор, ожидая шофера, будто он стеснялся повернуться, увидеть белое, опустошенное лицо Луганова, будто он сам хотел как можно скорее окончить это томительное «с глаза на глаз».

Шофер вошел и вытянулся перед Волковым.

— Отвезешь товарища Луганова, до комнаты доведешь и улечься поможешь. Нездоровится ему, — сказал Волков.

— Нет, — запротестовал Луганов. — Я здоров. Откуда ты взял?

Волков помог ему встать и ласково похлопал его по затылку.

— Ну, ну, больные, как пьяные, никогда не хотят сознаться. Известное дело. Подожди, я тебе веронал дам. Примешь на ночь. Я и сам бессонницей страдаю, знаю, какая это египетская казнь.

Он достал из кармана и протянул ему тюбик.

— Две таблетки. Слон — и тот заснет. А утром на свежую голову всё решишь. Впрочем, ведь и так решено. Другого выхода нет. Математика. Не поспоришь.

Завтра придешь ко мне. Ну, спокойной ночи, — он вышел проводить Луганова в коридор. — Спокойной ночи, — настойчиво повторил он, — будто стараясь вложить в эти слова покой, которого он желал для Луганова. — Спокойной ночи, Андрей.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Но ночь оказалась неспокойной, несмотря на веронал. Это не была бессонница, это было много хуже бессонницы. Это был бесконечный дремучий сон, сон, происходивший в его комнате, сон, снившийся наяву. Дверь его комнаты открывалась и в нее входила хозяйка квартиры с высоким шиньоном и лорнеткой на длинной золотой цепочке. Она на носках подходила к постели, к той постели, на которой спал Луганов и, подняв ободки лорнета к близоруким глазам, осматривала постель, одеяло, простыни пустой постели, пустой постели, на которой спал Луганов. Она удивленно щурилась и вдруг начинала беззвучно смеяться, будто поняв, как и отчего постель оказалась пустой, несмотря на то, что в ней спит Луганов. За ней в комнату входил ее муж, бывший полковник, сохранивший еще военную выправку и отчетливость движений. Он, как с мороза, вытирал платком свои седые бакенбарды и откашливался. Они останавливались в углу и начинали быстро шептаться. «К немцам переходи, — шептал он, — к немцам! Немцы нас от большевиков избавят. Немцы нас спасут!» — «Да, к немцам, к немцам? — отвечала она шопотом. — К немцам». Они шептали и шуршали в углу, как мыши. Луганов не видел их, а только их тени на стене и тени германских касок, такие, как были в 14-ом году, целые полчища германских касок двигались по стене. Дверь закрывалась и снова открывалась, и каждый раз Луга-

нов просыпался, просыпался во сне. Но ведь это был сон наяву. Или это вообще не был сон. Граница между сном и действительностью вдруг исчезла, осталась только эта комната и пустая постель, в которой, несмотря на то, что она пустая, лежал Луганов. Кто-то входил, кто-то выходил. Кто-то ходил по неизвестно откуда взявшемуся ковру. Тяжелые, тихие шаги, ноги обутые в мягкие кавказские сапоги без каблуков. Туда и сюда, взад и вперед. От двери до окна, от стены до стены. «Up and down, to and fro» — вспомнил кто-то вместо Луганова.

...Шаги тихие, шелестящие по ковру, шелестящие шелестом старичков в углу. «К немцам переходи, к немцам»... И вдруг ритм шагов нарушался, будто теперь шагал кто-то еще. Но ведь дьявол был один, он один шагал up and down, to and fro по земле, по русской земле. Откуда же эти другие шаги, гулкие, будто подкованные гвоздями? Откуда?

Луганов приподнялся и увидел спину удалявшегося низкорослого, сутулого, шагавшего к двери. Лица его он не видел, но он узнал его походку. Это был он. Но внимание его было отвлечено вторым, шедшим к окну, и Луганов увидел лицо того, второго. Лицо было ужасно. Оно было ужасно конвульсивно-разинутым ртом, беззвучно кричавшим что-то, безумным блеском широко раскрытых глаз, истерической неподвижностью застывших мускулов, будто превративших это лицо в маску ужаса. И главное — какой-то каплей комизма, чего-то издевательски-клоунского, делавшего ужас совершенно непереносимым. Каплей комизма. Но что было комичного в этом ужасном лице? — Усы! — понял Луганов. Да усы, как у Чаплина. Ужас захлестнул его и смял. Он почувствовал, что он весь обмяк, что шея его легко качнулась и голова его проваливалась в подушках. Но шаги, перебивая друг друга, не перестали звучать разно-

бойно, взад и вперед, взад и вперед по русской земле. Всё ближе и ближе, пока не зазвучали в его голове, в его груди. Это мое сердце, — догадался Луганов. — Это мое сердце. Мое сердце, моя кровь стучит, оттого, что дьявол ходит по русской земле. Дьявол? Но отчего он не один, как на допросе в Кремле? Отчего их два? Отчего он раздвоился? Как мог он раздвоиться? И вдруг он понял. Дьявол раздвоился, чтобы вступить с самим собой в борьбу. Зло уничтожает зло, — вспомнил он. Вступят в борьбу и оба погибнут в борьбе. Пожрут, уничтожат друг друга. Но он не мог смотреть больше, не мог перенести зрелища этой борьбы. Надо проснуться. Я должен проснуться. Я сейчас проснусь.

И он, действительно, проснулся. Это была та же комната. Но теперь никто не шагал по ковру, и никакого ковра не было, и никто не шептался в углу. Он лежал один в пустой комнате. И была ночь.

И как всегда, теперь, когда он просыпался ночью, он почти машинально, стараясь не вспугнуть остатки сна, стал читать «Отче наш», отгоняя все мысли, все воспоминания, повторяя слова молитвы, включаясь в цепь, образуемую верующими, стараясь приблизиться к Богу, почувствовать Его присутствие.

«Да будет воля Твоя». Он остановился. Но в чем воля Бога? И что Бог требует от него? Он готов всё исполнить, всему покориться. Но что ему делать?

Голос Волкова снова отчетливо проговорил: «Если ты не передашься немцам, тебя ждет медленная, мучительная, позорная смерть. Вывалятся зубы, потом отпадут отмороженные пальцы. А сознание всё будет жить и мучиться. Ты представляешь себе, что такое восемнадцатичасовой каторжный труд?». Нет, когда он сидел в каибнете у Волкова, оглушенный, ослепленный предложением перейти к врагу, он ничего не мог себе представить. Но сейчас, в темноте и тишине ночи, он ясно увидел себя по колени в воде, с лопатой в здоровой

руке. Он чувствовал, как зябнут мокрые ноги, боль в спине, в разбитом плече и в мозгу под черепной коробкой, почти неощутимую, но тем более отвратительную, сладкую, тягучую тошноту.

Восемнадцать часов подряд. Голод, тиф, вши. Общие нары. Грязь, вонь, ругань. Чтобы, в конце концов, медленно, гнусно, позорно... О, если бы можно было умереть! Здесь и сейчас умереть. Если бы он мог, как тогда в тюрьме... Но это было теперь совсем невозможно. Нет, о самоубийстве он ни на минуту не думал. Ведь тогда вся его вера оказалась бы одним воображением. Он восстал бы на Бога, отрекся от Него, он сам бы разрушил бессмертие и вечное блаженство, уготованное для него, как для всякого верующего. То бессмертие, по сравнению с которым личное бессмертие его, как писателя, было жалким и неосуществимым. Но передаться врагу было также невозможно. Выбора не было. Надо было покориться. Но когда Авраам заносил нож над Исааком, он всё-таки верил, что Исаак ему будет возвращен. И Луганов верил, что хоть он и отвергает недостойный способ спасения, он всё-таки будет спасен, избавлен от этой гибели. Чем, как спасен? Смертью. Другого спасения нет. Смерть должна избавить его от унизительных страданий. Смерть казалась единственным выходом, единственным спасением. Легкая, немедленная смерть. Для Бога всё возможно. Раз я с Богом, значит для меня не обязательны земные законы. Надо только верить.

«Отрекись от своего разума. Войди во тьму, где не светит ни разум, ни закон, но только тайна веры, которая с несомненностью возвещает тебе, что ты будешь спасен, помимо и вне земных законов, во Христе» — сказал знакомый голос в его сознании, и второй, такой же знакомый голос продолжал:

«Бог — это значит — зла нет, страданий нет, и даже смерть неощутима. Надо верить и зависеть исклю-

чительно от Бога, полная зависимость от Бога освобождает от зла и страданий».

Знакомые голоса в его сознании, те же самые голоса, которые он уже слышал в тюрьме, перед тем, как выбросился в окно. И опять два голоса заговорили, перебивая друг друга:

«Раз для него нет места на земле, Бог возьмет его к Себе».

«Живым на небо вознестись собирается? Помнишь, как Волков смеялся над ним в тюремной больнице». — «Нет, не живым. Нет, мертвым. Но грань между жизнью и смертью не кажется уже ему такой определенной. Он уже не ясно понимает, жив он или мертв... А, может быть, жизнь и есть смерть, а смерть — жизнь, — как еще гимназистом часто повторял он. Теперь он, действительно, не сознает ясно, где жизнь и где смерть».

«Оставь, — сказал первый голос. — Это не важно. Важен переход. Важно перейти из настоящего состояния — безразлично, жизни или смерти — в следующее, безразлично — смерть или жизнь. И Бог должен помочь ему в этом».

«Но подумай, — сказал второй голос. — Разве тебе не жаль его. Он, с его талантом, с его стремлением к добру. Разве он не имел права рассчитывать на то, что Бог любит его?»

«Может быть, Бог и любит его. Ведь Бог любил и гордился Иовом, а наградил его страданиями тяжелее песка морского. А, может быть, Бог и не любит таких, как он. Может быть, самый гениальный, самый добродетельный человек и есть величайший грешник».

«Но ведь ты знаешь, что одному раскаявшемуся грешнику в раю радуются больше, чем тысяче праведникам. А он ведь раскаялся во всём, во всех своих несотворенных грехах, во всей своей добродетели раскаялся».

«Это всё пустые рассуждения. Это всё — от ра-

зума. Он уже болен смертью. Незачем говорить ему о жизни. Теперь он должен только поддаться величайшему соблазну — поверить до конца, сделать последнее движение веры, понять, что для Бога возможно то, что для человеческого разума лежит вне предела возможности. Понять, что он будет спасен несомненно. Несомненно спасен — оттого что спасение невозможно.

«Я не понимаю».

«Этого я и не предлагаю тебе понять. Понять этого всё равно нельзя».

...Луганов лежал в темноте, сложив руки, и наивно, просто, чистосердечно просил Бога о смерти. Это не было восстание, это не было нежелание подчиниться воле Бога. Это была молитва, полная уверенности, что Бог услышит, Бог исполнит ее. Он лежал неподвижно и тихо ожидал смерти. Он не спрашивал, откуда придет смерть и какая она будет. Он был совершенно спокоен. Смерть будет легкой, безболезненной, незаметной. Бог возьмет его к Себе. Ему не пришло в голову просить о продлении жизни, он просил только о смерти. Он лежал и ждал смерти. Должно быть, это длилось долго, но он уже как будто потерял понятие о времени. «Может быть, я уже умер, — думал он, — умер и только не знаю». Понемногу прорезы в ставнях стали серыми, потом запели петухи. Прошел первый трамвай, сонно скрипя и звеня.

Луганов лежал и открытыми глазами смотрел прямо перед собой.

Голос Волкова снова проговорил над самым ухом: «Если ты не перейдешь к немцам»...

Луганов сбросил одеяло, давившее грудь, и застонал.

— Нет, — сказал он громко, — нет. Даже, если Бог не даст мне сейчас смерти. Я не перейду к немцам. Нет...

Тихое отчаяние заволокло его сознание.

— Да исполнится воля Твоя, — прошептал он снова. — Всё приму — и каторжный труд, и цынгу, и всё, всё. Если иначе нельзя.

Он закрыл глаза. Полумрак успокоительно коснулся его усталых век и усталого сердца. Он не мог разобраться в том, что он чувствует, в том, что происходит с ним. Неужели это смерть? — радостно зазвенело в ушах. Легкий холод коснулся его лба, будто чья-то прохладная рука легла на его лицо. Он открыл глаза. Никого не было.

Слабый луч солнца пробрался сквозь прорезы ставни, и осветил кусочек стены, превращая в райскую розу цветок обоев. Луганов почувствовал, что улыбнулся. Он еще никогда не видел такого красивого, такого райского цветка. Но ведь это только грязный кусочек обоев. Только и всего. Он прислушался к звукам наступающего дня. Трамвай нежно и звучно перекликался с щебетанием проснувшихся птиц. И вдруг совсем неожиданно под окном запел нежный, воздушный детский голос. Звуки перекликались, сливались, расходились, превращались в розы на обоях, в солнечные пятна на полу. И все эти солнечные пятна и цветы собрались в одну охапку, в одну лучистую мелодию и легли на грудь Луганова, как цветы, положенные в гроб — на грудь покойника.

— Умираю, — радостно холодея, подумал Луганов. — Конец...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Волков повесил телефонную трубку и тяжело сел в кресло у стола. Он вынул портсигар и достал из него папиросу. Ему казалось, что он думал, но думать он уже ни о чем не мог.

В дверь кабинета постучали. Он крикнул:

— Занят! Не беспокоить! — и только тогда увидел, что всё еще держит папиросу и портсигар в руках. Он закурил и пересел на диван... Через час он вышел и прошел мимо столпившихся в прихожей просителей, ни на кого не глядя.

Шофер распахнул перед ним входную дверь. Волков спустился с крыльца и сел в автомобиль.

— К товарищу Луганову, — приказал он коротко.

Луганов еще спал глубоким утренним сном. Волков окликнул его, потом подул ему в лицо и сел к нему на постель.

— Вот ты спишь, а я тебе какую новость привез!

Луганов, моргая, смотрел на него бессмысленными глазами, еще полными обрывков сна.

— Какую новость? Зачем?

— Зачем? Сейчас поймешь, зачем. Только что опять с Москвой говорил, с самим Великим Человеком. Поздравляю тебя! Лучше, чем можно было мечтать. Ты опять всюду печататься будешь. И по радио говорить. Видно,

там опять таланты потребовались. Сегодня же вечером выедешь в Москву!

— В Москву? — задохнулся Луганов. Он оперся на здоровую руку. — Ты не шутишь? Правда?

— Стану я такими вещами шутить.

— В Москву? — переспросил растерянно Луганов. — Как же так?

— Ну да, да. Пойми. Некогда мне по десять раз повторять. В Москву, в Москву! Сегодня ночью! Я сам заехал, хотел увидеть, как ты прыгать будешь, а ты, как будто, не рад совсем.

— Я еще не понимаю. Как же так вдруг? И Веру... Веру увижу?..

— Конечно, она завтра тебя на вокзале встретит. Я уже распорядился, чтобы ее предупредили.

Луганов слушал его, не шевелясь.

— На тебя что, столбняк от восторга нашел? — Волков подергал Луганова за воротник. — Очнись. Ну, я бегу. Весь день занят. А вечером приходи. Поговорим на прощанье. Прямо от меня на вокзал поедешь. Приготовь вещи. Федоров заберет их.

Луганов вдруг ожил и задвигался.

— В Москву? Правда, в Москву? Знаешь, меня уже второй раз в жизни будят, чтобы сообщить о чуде. Первый раз — мама-Катя с газетой, теперь — ты. Но это чудо еще гораздо чудеснее.

— Да, брат... — Волков встал. — Это чудо из чудес, всем чудесам чудо. Вот оно какое. А что вчера ночью говорили — забудь начисто. Теперь это ни к чему тебе.

— Ты знаешь, я твердо решил не переходить...

— Брось! Что об этом вспоминать. А приятно, чорт возьми, счастливого человека увидеть. Дай на тебя еще раз посмотреть. Не каждый день удается.

Он нагнулся к Луганову и посмотрел ему в лицо долгим, внимательным взглядом. Потом выпрямился и легко толкнул Луганова обратно в подушки.

— Да, — сказал он, — не ожидал я, что так случится. — Он пошел быстро к дверям, на ходу оправляя гимнастерку. — До вечера! — крикнул он с порога и помахал рукой.

Луганов остался один. Он лежал, опрокинувшись навзничь. Теперь весь потолок и стены были пестрыми от солнечных полос, перебегавших с одной стороны на другую. В комнате было тихо и прохладно, хотя там, за закрытыми окнами, шумно и жарко хозяйничал июньский день.

— Так вот оно какое счастье. Вот как чувствует себя счастливый человек. Человек, с которым произошло чудо.

Никогда еще он не испытывал такой легкости, такой воздушности в теле и в мыслях. Будто он снова стал ребенком. Такая нежность и хрупкость была во всём вокруг и в нем самом. Он рассмеялся. Сколько времени прошло с тех пор, как он смеялся в последний раз? Он захотел подсчитать. Но это не удалось. Вспомнить было нечего — воспоминаний больше не было, прошлого не было. Он видел себя в прошлом, он сознавал, что он прожил сложную, мучительную, длинную жизнь, но как это всё происходило, он не помнил больше. Была его жена Вера, были книги, была когда-то мама-Катя и был друг Волков и тюрьма, но как это связывалось в прошлое, принадлежавшее ему, Луганову, он не знал. Как будто всё с ним делалось помимо его воли, всё решалось за него. И, должно быть, по плану, из которого вдруг возникло это чудо, это счастье. Сорок пять лет его жизни, бывшие только подготовкой к чуду, и теперь, оттого, что сами по себе все эти года ничего не значили, вдруг поблекшие, осыпавшиеся, как сухие листья с де-

рева. Мертвый, ненужный ворох шуршащих воспоминаний, который ветер уже уносил из его сознания, наполняя его легким солнечным светом и теплой тишиной.

Всё сначала, — подумал он. — Новая жизнь. Новая жизнь, начавшаяся с чуда. Иову вернулось его богатство — и ослицы, и верблюды, и сыновья — в удвоенном количестве. А мне вернулось больше. Еще гораздо больше. Мне вернулось мое детское сердце, мне вернули мою молодость...

От Луганова Волков не поехал прямо домой.

— Куда хочешь! Хоть к чорту на рога! — крикнул он, садясь в автомобиль. — Жарь во всю!

Гул ветра в ушах. Это было как раз то, что ему было нужно. Это мешало думать. Он открыл глаза.

Автомобиль мчался по знакомой дороге на узловую станцию, где Волков так часто садился в Московский экспресс. Он узнал ее, лицо его перекосилось, и он яростно ткнул шофера в спину.

— Болван! — крикнул он. — Морду разобью, скот. Поворачивай назад, живо!

Пока оторопевший шофер поворачивал автомобиль, Волков сидел, закусив губу, и щека его дергалась. На этой самой дороге... Сегодня ночью... Ничего изменить нельзя...

...Гортанный голос с грузинским акцентом сказал по прямому проводу из Кремля:

— Понял? Под твою ответственность.

Возражать было невозможно. И он не возражал. Он покорно ответил:

— Будет исполнено.

Снова гул ветра. Но теперь он больше не мешал думать.

Выходя из автомобиля, Волков велел шоферу идти за ним в кабинет, и там, заперев дверь и не глядя шоферу в лицо, вполголоса отдал ему приказание.

— Понял? Под твою ответственность.

И шофер покорно ответил:

— Будет исполнено...



ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Вера проснулась и прислушалась. Всё было тихо. Значит еще очень рано и надо еще спать. Рано еще просыпаться, рано. Новый день еще не начался. Вот она сейчас заснет, глубоко, спокойно заснет и проснется очень поздно. Она повернулась к стене. Но заснуть не удалось. Каждое утро повторялось одно и то же. Каждое утро она всеми силами старалась удержать ускользающий сон, продлить ночь, отодвинуть подальше наступающий день.

Отчего это случилось с ней, именно с ней, а не с какой-нибудь другой женщиной, более стойкой, более подготовленной прошлым к горю? «Ты создана для счастья, — говорил ей когда-то Андрей. — Как раз по мерке, на заказ. Счастье на земле для таких, как ты». Она соглашалась. Она и сама была уверена, что ей никогда не удается «избежать счастья». Да, она так пышно и безвкусно выражалась тогда,

Но оказалось что она сделана «как раз по мерке, на заказ» не только для счастья, но и для горя. Иначе, как бы она могла перенести всё, что стряслось с ней?

Она прежде не знала себя, она многого не знала. Она прежде даже не догадывалась, как безрадостно, тесно и изнурительно живется большинству москвичей. Она не подозревала о выстаивании в очередях, ожидании всегда переполненных трамваев, о всей мышиной

суете жизни. Она всегда жила в замкнутом, привилегированном мире — до замужества в балетной школе, где она, как и остальные ученицы, была занята только танцами, экзаменами, успехами и мечтами. Годы замужества были годы «исполнившихся мечтаний», когда она жила своей любовью к Андрею и своей карьерой, когда она была глуха и слепа ко всему, кроме себя, мужа и театра. Тогда ей это казалось мудростью. Теперь она видела, что она была просто глупа. Думать отвлеченно о себе, о своем месте в мире ей прежде было некогда. Но теперь, когда она стала чувствовать тяжесть времени, давившую ее необходимостью изжить каждый новый скучный день, каждую новую страшную ночь до конца, она стала думать. Прежде она больше чувствовала, чем думала. Она постоянно ощущала радость, она восхищалась миром и собой, она смеялась, она танцевала. Теперь, когда она стала думать, ее поражало, что она совсем не знает себя. Кто же она на самом деле? Что составляет ее суть, ту суть, которая скрыта от других непроницаемой оболочкой ее тела. Что там, у нее внутри? Она знала только, что основной чертой ее была легкость, с которой она тогда воспринимала жизнь. Она считала прежде, что это было свободой души. В легкости ей чудился божественный отблеск.

А ее совершенная, бессмертная любовь к Андрею? Теперь она знала, что никакой любви не было. Любовь была только самообманом. Такие, как она, должно быть не могут любить бессмертной, совершенной любовью. Она напрасно отыскала свою настоящую сущность, свое «я». Ее «я» оказалось уродливым и бессмысленным. Она с отвращением душевно отшатнулась от себя. Ей хотелось снова подальше спрятать в темную духоту подсознания всё, что она узнала о себе. Но знакомство с собой уже состоялось. И результатом его было то, что она перестала себя любить, что она перестала даже жалеть себя. Я глупа, я подла, я труслива, — объясняла

она себе с злорадством. И всё-таки это была она, Вера. И разве она была так виновата, так виновата, что не заслуживала снисхождения?

Ей хотелось понять, как она дошла до теперешнего горя. Но сколько она ни оглядывалась назад, в прошлое, она ничего не понимала, не могла разглядеть, где была дорога, приведшая ее к горю. Она не видела этой дороги, не знала, когда она вступила на нее. Во всех своих воспоминаниях она видела только отдельные мгновения, как картинки в раме остановившегося времени. Но связи между этими мгновениями, между иллюстрирующими их картинками, не было. Текучести времени не было в ее воспоминаниях. Того, что меняло жизнь, и ее самое, и события, она не умела проследить. Она вспоминала только разрозненные, остановившиеся минуты, свои желания и радость, что ей удавалось добиться исполнения желаний. Всегда удавалось. Успех и чувство радости неизменно повторялись во всех картинках. Вот она вылетает на сцену, и вот уже театр звенит и гремит от рукоплесканий. И вот она вдвоем с Андреем на пляже в Крыму, и вот она в шляпном магазине, и вот она в новой шляпе едет с Андреем по Москве в автомобиле. И всё всегда чудесно. Всё, даже усталость, даже простуда, когда лежишь целый день в мягкой, теплой постели, и Андрей от беспокойства еще нежнее, еще влюбленней.

Но где же дорога, приведшая ее к горю? Где настоящая действительность, обернувшаяся горем, она ускользала от нее. Она отсутствовала в ее празднично разукрашенных воспоминаниях. Она не могла разглядеть ее, не могла понять, как это всё случилось, как и почему.

Не думать... Если бы можно было не думать, не вспоминать. Но из моря памяти волнами уже подымались воспоминания, — те, после катастрофы. Воспоминания, готовые, как волны, смыть ее, сбросить на самое дно отчаяния. Гибну. Тону, иду на дно! О, скорее бы, скорее достичь этого дна, чтобы всему наступил конец!

Но дна отчаяния не было, как и конца жизни не было, как и самой жизни не было. «Застрелите меня, — сказал ее голос из прошлого. У вас есть револьвер». И память сейчас же услужливо иллюстрировала эти слова. Она, Вера, лежит, скорчившись на этой самой кровати. И всё опять оживает. В воспоминаниях после катастрофы всё связано, всё последовательно и вытекает одно из другого... Это настоящая реальность, это жизнь, которую нельзя заставить превратиться в прошлое. Это — настоящее, которое надо снова и снова переживать, которое нельзя изжить.

...Она возвращалась с рынка с клетчатым мешком в руках. Шел дождь. Он, как на зло ей начался, когда она уже прошла мимо трамвайной остановки. Возвращаться и ждать трамвая под дождем не было смысла. Еще больше промокнешь. Мешок был тяжелый. У нее были слабые руки, типичные руки балерины, привыкшие всегда к одним и тем же классическим, условным жестам, грациозные, тонкие руки бездельницы.

Но теперь этим рукам приходилось стирать, чистить картошку, мыть полы, таскать мешок с рынка. Они не привыкли. Они не желали. Их надо было заставлять. Они болели, они дрожали.

Дрожь была хуже всего. Даже хуже боли. Когда, наконец, донеся мешок домой, она взмахивала руками, они дрожали. Они дрожали мелкой, отвратительной дрожью, как в утро после ареста Андрея. Она сознавала, что сейчас их дрожь вызвана не страхом, а усталостью. Но ведь и от страха они дрожали совсем так же. Эта дрожь могла быть вызвана безотчетным, вечным страхом, отравляющим даже ее сны. Она смотрела на свои дрожащие руки и уже не могла противиться страху. Дрожь проникала в ее кровь, дрожь принималась хозяйничать в ее теле, подкатывалась шариком к горлу. Ей было страшно. Но чего? Она не знала и не спрашивала.

Это был абстрактный страх, возникающий из ничего. Страх, похожий на головокружение.

Она сжимала руки в кулаки, она ложилась на постель и ждала, пока сердце успокоится, начнет снова правильно биться.

Я отдыхаю, — уговаривала она себя. — Я устала, мне необходимо полежать. И сейчас, идя под дождем, она старалась перехитрить, обмануть страх. — Я устала. Я приду и сейчас же лягу. Я даже не взгляну на свои руки. Пусть себе дрожат, это меня не касается.

Она шла теперь мимо цветочного магазина. Цветы всегда казались ей еще несозданными ангелами. Зачатками, проектами ангелов, мечтой об ангелах. Они были, как обещание, как надежда. Пока на свете еще цветут цветы, горе не может быть окончательным. Нет, нет, — это только остановка поезда после катастрофы, это только скобки, в которые вписали столько горя. Но поезд снова пойдет, скобки закроются. И всё будет, как прежде. Блаженное легкомыслие, — всплыло из глубины сознания. Права ли она, что так осуждает себя? На каких весах она взвешивает себя? Какой меркой мерит? Правильны ли эти весы и эти мерки? Может быть, то, что людям кажется важным, ровно ничего не значит, а ничего не значущее имеет огромное, решающее значение. Вот сейчас она, даже не заметив, наступила на какого-нибудь жучка и раздавила его. Ей это кажется пустяком, а происшедшая с ней катастрофа — необыкновенно важной. Но в иной перспективе может оказаться, что раздавленный жучок гораздо важнее жизни Веры, важнее не только Веры и ее жизни, но и войны, и мировой катастрофы, происходящей теперь. Гибель жучка важнее гибели Веры и даже гибели миллионов солдат? «О чем это я? — подумала она. — Это от одиночества, от молчания такой вздор лезет в голову».

Она еще раз взглянула в окно цветочного магазина, по которому стекал дождь. Если такие цветы цветут на

земле, конечно, нельзя быть безжалостной. Раздавленного жучка надо пожалеть и ее, Веру, тоже. Бедная, бедная!.. Как она устала, и ноги совсем мокрые. Вот она сейчас вернется и переменит чулки, а потом ляжет отдохнуть.

Она взошла по лестнице, она прошла по коридору. Сейчас, сейчас. Только дверь открыть И она открыла дверь.

Посредине комнаты стоял Волков. Он смотрел прямо на нее. Выражение его лица заставило ее остановиться. Ей показалось, что сердце ее перестало биться. Андрея расстреляли. Он пришел сказать ей это. Оттого у него такое лицо. Она не смела спросить. Она ждала. Она пробормотала только:

— Михаил Леонидович...

Его рот дернулся в сторону, он сжал челюсти так сильно, что кожа побелела на скулах, и шагнул к ней.

Она стояла перед ним, всё еще держа мешок в руках. Сейчас, сейчас он скажет, что Андрея расстреляли. Она ждала, что он заговорит, и он действительно заговорил.

— Убить вас мало! — отчеканил он. — Дрянь! Сволочь!

Его губы снова дернулись. Ей показалось, что он сейчас плюнет ей в лицо. Она выпустила из рук мешок. Картошка рассыпалась по полу. Она слышала стук, но даже не взглянула. Стараясь защититься, она подняла локоть балетным условно-грациозным, единственным движением на все случаи танцев и жизни. Но он не плюнул ей в лицо. Он отступил на шаг и глубоко засунул руки за ремень.

— Избил бы вас, изуродовал бы с наслаждением.

Он сделал еще шаг назад. Теперь он снова стоял посреди комнаты. Ей было ясно, что он борется со своим желанием избить, изуродовать ее.

— За что? — спросила она совсем тихо.

Это было чудовищно. Еще более чудовищно, чем обыск, чем допрос Штрома. Ведь Волков был лучшим другом Андрея. Неужели и он стал врагом, неужели он пришел арестовать ее?

— Я ничего не сделала. Я ничего не знала. Андрей никогда ни о чем мне... — ее голос сорвался. — Клянусь. Я ничего не знала, я...

Он не дал ей докончить.

— Сколько вам заплатили за то, что вы предали Андрея?

— Предала? Но, ведь я не предавала его. Что же я могла сделать для него? Что?

Он снова шагнул вперед.

— Что? — спросил он звонким шопотом, наклоняясь к ней и близко глядя в ее глаза. Что сделать? Сдохнуть. Сдохнуть должны были, а не губить такого человека.

— Но ведь я не губила его...

— Не губили? — он злобно рассмеялся. — Нет, невинная птичка, вы не губили, не предавали его. Нет. Вы только показали, что он всю ночь перед арестом жег неизвестные вам бумаги. Только это. Только это, погубившее его.

— Но Штром сказал, что Андрей сознался. Я думала, он говорит правду...

— Лягушек на бумажку ловят. И вас Штром, как лягушку поймал.

Штром грозил мне тюрьмой, пытками. Я бы под пытками еще и не то бы показала...

Он махнул рукой.

— Никаких пыток нет. Всё басни. Ну, и посидели бы в тюрьме. Подумаешь, важность какая. Сотня бы таких, как вы, в тюрьме пропала бы за него, и то мало. Вы себе представляете, кто вы и кто он?

— Значит... — начала она, — я действительно предала, погубила Андрея? Она всё еще не понимала, не могла понять.

— Еще бы не действительно! — крикнул он. — Если бы вы хоть мне дали сейчас же знать. Ведь я до вчерашнего дня не подозревал. Он выбросился из окна тюрьмы. Хотел покончить с собой.

— Жив? — прошептала она, задыхаясь.

— Сломал плечо. Калекой останется.

Она, согнувшись пополам от неизвестно откуда взявшейся боли в животе, медленно прошла мимо него, добралась до постели и упала на нее ничком. Она не думала о том, что Волков еще тут, что он видит. Она спрятала голову между рук и, тычась лицом в шершавое одеяло, заскулила, как собака. От боли, от страха, от жалости к Андрею и к себе.

Волков говорил что-то, но она не слушала, не понимала.

Вдруг она приподнялась и оглядела его. Взгляд ее остановился на его кобуре.

— Револьвер, — сказала она внятно. — У вас есть револьвер. Застрелите меня, пожалуйста. Я не могу больше жить.

Он нагнулся к ней и встряхнул ее за плечо.

— Бросьте. Не ломайтесь. Вы не на сцене.

— Нет, — сказала она так же внятно, — я не могу жить после этого. Ведь вы правы. Это я его предала. Я его любила больше всего на свете. Застрелите меня, пожалуйста.

— Ищите себе другого убийцу. Или сами кончайте с собой! — голос его звучал жестко. — А меня избавьте от таких просьб. Избавьте меня от ваших комедий. Я к вам по делу пришел. Андрей просил принести ему вашу английскую Библию. Тут она у вас?

Она кивнула.

— Тут. На этажерке.

Он подошел к этажерке.

— Хоть это удачно. Ведь Андрей думает, что вы на прежней квартире. Он беспокоится, как вы живете одна. Он не догадывается, что вы предали его. И не я ему об этом скажу. Сказать — значило бы зарезать его.

Она молчала. Он порылся в книгах и нашел Библию.

— Он хочет вас видеть.

— Видеть? — она села на постель. Она забыла про боль в животе, она не чувствовала ее больше. — Нет, нет. Я не могу. Я не могу его видеть. Нет. Я сама признаюсь ему, что погубила его. Ради Бога, ради Бога, придумайте что-нибудь. Хоть, что я умерла, только, только не заставляйте меня идти к Андрею.

Она соскользнула на пол и протягивала к нему руки.

— Вы еще подлее, еще гаже, чем я думал, — рот его искривился от отвращения. — И подумать, что вы — жена Андрея!

— Ради Бога, ради Бога, — повторяла она, всхлипывая. — Я не могу.

— Заткнитесь вы с вашими богами, — крикнул он грубо. — Конечно, если вы ему такую комедию разыграете, если в вас нет ни на грош выдержки и самообладания, лучше вам к нему не ходить. Но что же я ему скажу?

Она, согнувшись, тихо плакала и скулила. Потом подняла голову и посмотрела на него сквозь слезы.

— Все наши поехали в балетное турнэ. Скажите, что уехала с ними, что я уехала, что я только через месяц вернусь в Москву. Через месяц, я может быть смогу.

Он постоял над ней в сомнении, качая головой.

— Попробую. Постараюсь устроить. Но если он будет настаивать, ревите, не ревите — силой сволоку. Он прошелся по комнате. — Через неделю я увезу его на Украину.

— На Украину? — задыхаясь, переспросила она.

— А что вы думали? Расстреляют его? На Соловки

сошлют? Только оттого, что его стерва жена налгала на него.

— На Украину, — шопотом повторила она. Ее рот наполнился прохладой и покоем, воздух легко и нежно проник в ее иссохшее горло, будто это был воздух украинских вишневых садов, а не московской затхлой комнаты. На минуту она почувствовала себя почти счастливой. «Как лягушка, которую долго мучили, долго кололи булавками и жгли на огне, а потом, наконец, дали капельку воды. Как лягушку, которую поймали на бумажку», — подумала она и закрыла глаза.

— Спасибо, — сказала она тихо.

Он стоял над ней с брезгливостью глядя на нее сверху вниз.

— Я постараюсь устроить это. Не для вас — для него. Но если он захочет, придется вам идти.

— Спасибо.

— От вас благодарности не принимаю.

Он вышел, дверь за ним захлопнулась.

Это было почти два года тому назад, но ей казалось, что это было вчера, сегодня, только что. Она лежала в кровати. Ей хотелось встать, заняться уборкой или стиркой, чем-нибудь, чтобы скорее дать выход скопившейся за ночь тоске. Но нельзя было, Надо было ждать, пока из одной из шести комнат квартиры не подадут сигнала. — «Тишина больше не обязательна. Новый день начался!». — Начать первой шуметь ей не разрешалось. Сейчас же за стеной раздался бы крик: «взгромождается тоже ни свет, ни заря. И куда, подумаешь, спешит?».

Да спешить ей было некуда. У нее не было ровно никаких дел. Ни дел, ни интересов. Жизнь, заключенная в тесные рамки необходимости есть, пить, содержать себя в чистоте. Жизнь просто для жизни. «Жизнь сама по себе уже благо» — учили ее когда-то в школе. И вот ей на опыте пришлось убедиться, что это, как и многое другое, чему ее учили, оказалось неправдой.

У нее больше не было часов. Она не знала, долго ли придется лежать так, выжидая. Часы она сломала еще зимой. За починку с нее требовали так дорого, что она предпочла просто продать их. Ей они не были необходимы. Ей нигде не надо было быть во-время, она вообще нигде не бывала. Она научилась обходиться без часов. По вставанию, возвращению со службы, по обедам и ужинам, по вечерним выходам в кино соседей можно было точно определять время. Всё было до минуты рассчитано в программе их дня, они постоянно торопились, боялись опоздать, перекликались: «Уже два, а обед не готов. Безобразие!». Или: «Чорт знает что, опять в театр опоздаем! Пять минут девятого, слышишь, уже пять минут девятого».

Да, без часов легко можно было обойтись днем. Ночью это было сложнее и мучительнее.

Вере надо было вести себя осторожно. Такой, как она, нельзя было позволить себе будить других. Она здесь последняя, и комната ее — самая худшая: между ванной и кухней.

Конечно, два года тому назад, до катастрофы, все эти жильцы и мечтать не смели познакомиться с Верой или ее мужем. В те счастливые времена они простаивали полдня в хвосте перед кассой, чтобы только купить билет на балет, в котором танцевала она. Они срывали себе голоса, вызывая ее, они отбивали себе ладони, чтобы заставить ее лишний раз выбежать перед уже спущенным занавесом и улыбнуться своей знаменитой улыбкой. «Улыбка нашей Назимовой, красота нашей Назимовой, талант нашей Назимовой...» — говорили москвичи, гордясь Верой не меньше, чем метро, а метро они чрезвычайно гордились. В те дни открытки с ее портретами украшали собой стены вот таких убогих, как эта, комнат. И жалкая обитательница такой вот комнаты, глядя на портрет Веры, переносилась мечтой в мир удачи и счастья, в котором царила эта прелестная, талантливая,

улыбающаяся Назимова. Ведь она была не только знаменитой балериной, но и женой Луганова. Двойной круг их знаменитости окружал ее ореолом, защищая и ограживая от грязи, скуки и низости, в которой копошились обыкновенные люди. Но вот судьба толкнула ее в спину, и она упала и разбилась на куски. С высоты страшнее, с высоты больнее падать. Падать, действительно, было очень страшно, очень больно. Но самое мучительное было — повторность этого падения, то, что оно не желало улечься в памяти, то, что ей постоянно приходилось переживать его с начала. Бал, которым оно началось, всё во всех подробностях, во всём блеске — и музыку, и смех, и разговоры, и люстру, отражавшуюся в паркете, как фонарь во льду катка... И опять, опять всё сначала... Всё сначала... Она застонала, закусила зубами простыню и повернулась на спину.

Сейчас можно будет встать... Сколько унизительного труда уходит на то, чтобы продлить эту никому не нужную жизнь. Но еще унизительнее труда было чувство голода, постоянно присутствовавшее во всех ее ощущениях и мыслях. «Есть хочу». Тоненький отросток мысли, укол, легкая тень голода, от которой никак и ничем не отделаешься. Есть хочу. Есть. Но не эту пресную кашу, не черный хлеб, не картошку, а вкусные, умело приготовленные блюда. Намазывать икру на поджаренный хлеб, пить кофе со сливками, есть виноград и персики.

Соседки готовили разнообразные кушанья, комната Веры наполнялась запахами кухни. Она открывала окно, она старалась не думать о том, что там, на кухне, жарится такая вкусная баранина, что ей так хочется съесть кусочек этой баранины. Но ей ли, такой несчастной, такой потерявшей всё на свете мечтать о вкусной еде?

— Приходите к нам пить чай, — приглашали соседки друг друга. — Муж принес горячие калачи и ветчину.

Нет, это приглашение не относилось к Вере. Веру

не звали ни на именины, ни на торжества, устраиваемые вскладчину всеми квартирантами. Ее просто не замечали, с ней не считались, с ней не здоровались даже. А толкнув ее, не извинялись. Иногда Вере казалось, что она стала невидимой для других квартирантов. Она входила в кухню, неся свой чайник или свою кастрюлю, но ни одна из хлопотавших у примусов женщин не оборачивалась к ней. На кухне часто происходили споры и ссоры, доходившие почти до драки. И ссорившиеся квартирантки старались переманить на свою сторону каждого, входившего в кухню, но Веру никто не переманивал, никто не кричал ей, приглашая ее в судьи.

— Нет, вы только посмотрите, до чего наглость доходит! Нет, полюбуйтесь — заняла весь стол, а я жди... Никто не искал в ней союзника. Перебранка продолжалась, будто Веры тут не было вовсе. И только, когда она вплотную подходила к ним, обе, до этой минуты ссорившиеся квартирантки, как по команде, брезгливо и поспешно отодвигали свои кастрюли и примусы.

Значит — всё же видят меня. Значит, я всё-таки существую, — думала Вера. Ей хотелось, будто нечаянно, обварить соседок кипятком, вывернуть на пол их сковородки с яичницей. Но она знала, что никогда не посмеет. Она старалась двигаться как можно осторожнее, никого не раздражать, не задевать.

И когда какая-нибудь, еще не остывшая от схватки квартирантка говорила в сторону, как актер в старинной пьесе: — Те, которые не спешат на службу, могли бы, кажется, и подождать со своим завтраком, — она, ничего не отвечая, уносила свой чайник и ждала, пока утренняя спешка немного уляжется и для нее найдется место на кухне.

Она даже не сердилась на соседок: ведь они, в сущности, были вправе так обращаться с ней. Ей некому было пожаловаться, ее никто не защитит, а они, если захотят, могут выгнать ее из этой комнаты, подав кол-

лективное заявление или написав на нее донос. Какой? Не всё ли равно какой? Всякий донос сделает свое дело. И куда она тогда денется? А тут всё-таки крыша над головой. Крыша. Это очень много. Но как тяжело дойти до сознания, что и крышу надо ценить, оттого что другой крыши для нее во всём мире уже нет.

За стеной кто-то звонко зевнул, потом что-то упало, и разговор, начавшийся сонным бормотанием, перешел в крик. Там, за стеной, жили молодожены, и переход от холостой к супружеской жизни, повидимому, давался им не легко.

— Ангела из терпения выведешь! — крикнул женский голос.

— Напрасно, мать моя, в ангелы метишь, — перебил мужской. — С хвостиком ангел. С хвостиком и рожками.

Вера старалась не слушать. Она не догадывалась прежде, сколько ненависти, злобы и грубости пряталось в человеческих отношениях, сколько ненависти, злобы и грубости таилось в каждой из семей такой квартиры.

Она отбросила одеяло и стала босиком на пол. Коврика перед кроватью не было. Следовало бы сделать хоть несколько балетных упражнений. Ложась, она каждый вечер обещала себе: завтра непременно сделаю двенадцать приседаний. Но на утро становилось очевидно, что она уже всё равно нигде и никогда танцевать не будет — и напрасно утомляться. И так возни много с уборкой комнаты, с одеванием. Сколько возни. Они никогда не учились стирать, гладить, штопать. Она не умела начистить туфли до блеска, она криво пришивала белый воротничок к порыжевшему от солнца платью. Она старалась одеваться, как можно аккуратнее. Она даже старалась причесаться помоднее. Но из прически ничего не получилось. Волосы почему-то потускнели и перестали виться. Сколько она ни расчесывала их щет-

кой, они оставались пыльно-бурыми и прямыми. Цвет лица тоже испортился. Без кремов, без косметики веснушки снова проступили на бледной коже. Они, как пятна грязи, темнели вокруг глаз и около рта. Она смотрела на себя в зеркало. Я? Неужели это я? Почему это я? Разве я была такая прежде? Нет, конечно, она прежде не была такая. У нее теперь было совсем другое, усталое, некрасивое лицо. Оттого, что она очень похудела, глаза и рот казались больше, слишком большими. Вздор, что большие глаза красят. Большие, грустные глаза придавали лицу жалкое, голодное выражение. И она стала казаться гораздо моложе. Ей было уже тридцать лет, но сейчас ей нельзя было дать больше двадцати, такая она казалась угловатая, худая, застенчивая. Она снова стала походить на себя — на ту, какой она была после тифа. Она казалась гадким утенком. С ней случилось как раз обратное тому, что было в сказке. Она из сияющего, гордого лебедя превратилась в гадкого утенка. До чего гадкого! Она огорченно отворачивалась от зеркала, проводила по нем рукой, будто стараясь стереть свое изображение.

Нет, она не делала больше балетную гимнастику. Зачем? Ведь ее выгнали из балета. Два года тому назад, когда настал день возвращения труппы в Москву, она отправилась в театр. Как она радовалась, как волновалась, что опаздывает. Три переполненных тролейбуса прошли мимо нее. Уже в маленьком артистическом подъезде ее охватил милый, родной воздух. Она снова почувствовала себя частью того неповторимого, волшебного совершенства, которое называется «Русский Балет». Она с радостным сердцебиением прошла по коридору и вошла в уборную. Наконец-то наконец! Она ждала, что сейчас со всех сторон на нее, с криком: Верочка, Веточка, Ветерок — налетят розовые пачки, что десятки рук обовьются вокруг ее шеи, и щеки ее будут сплошь замазаны красной губной помадой радостных поцелуев.

— Наконец-то, ласточка! Как я скучала по тебе, белочка! Без тебя всё не то, Ветерок...

Но вот она стояла на пороге общей уборной. И никто из одевавшихся, смеявшихся и суетившихся танцовщиц не поднял головы, не взглянул на нее, не побежал навстречу. Все казались глубоко занятыми своим делом — кто завязыванием тесемок розовых атласных туфелек, кто застегиванием лифа, кто прикалыванием искусственных цветов к завитым волосам. На Веру никто не смотрел, будто она не стояла здесь на пороге. Но ее всё-таки увидели, ее присутствие не было незамеченным. Режиссер подбежал к ней: — Пожалуйте к директору. — Зачем, Павел Павлович? — Там объяснят, — он сухо поклонился и открыл перед нею дверь к директору. Ей оставалось только войти. И она вошла на ногах, ставшими вдруг длинными и тонкими, как у цапли. Ей казалось, что все видят, что она вдруг превратилась в цаплю. Так отчего они не смеются? Она огляделась. Никто не смеялся никто даже исподлобья, краешком глаза не взглянул на нее.

В конторе ей дали жалованье за месяц вперед и заявили, что пока не нуждаются в ней. Что роли на этот сезон уже распределены, и участие Веры в них не предвидится. Вера спросила:

— Но я всё-таки могу приходить упражняться?

Ей ответили вежливо и твердо:

— Это не совсем удобно. Раз вы перестали принадлежать к балету...

— Я перестала?

— Ну да, вы уволены в отпуск без сохранения содержания.

— Но почему, почему?.. — начала Вера и оборвала. Совершенно ясно, что все вопросы и просьбы напрасны.

— Будьте добры оставить свой новый адрес. На всякий случай.

— На какой такой случай? — хотелось ей спросить,

но она только молча записала в книге свой адрес. Она всё еще не уходила. Может быть, сейчас сюда войдет директор и радостно протянет ей обе руки:

— А, божественная! Солнышко наше! Заждались вас...

Но директор не появлялся. Она постояла минуту в конторе, чувствуя, что ей здесь больше не место, что надо уходить. Уходить из театра. Совсем. Но разве это возможно? Ведь ей было только девять лет, когда ее привезли в балетную школу. Ведь театр больше, чем ее дом. Ее нельзя выгнать отсюда. Нельзя. Но ее уже выгнали. Она уже шла по улице...

— О чем плачете, хорошенькая гражданочка? — участливо крикнул ей с подводы молодой рабочий.

Плачете? Разве она плакала? Этого она не чувствовала. Этого она не помнит. Нет, она не плакала ни по дороге, ни вернувшись в свою комнату. Она была слишком несчастна, чтобы плакать. Ведь для того, чтобы сохранить место в балете, она развелась с Андреем. Штром потребовал, чтобы она развелась. «Жена государственного преступника не может танцевать в балете». И она развелась. Но танцевать ей всё-таки не позволили.

С того дня она и стала жить так, как сейчас. Одиноко, тоскливо, бесцельно, равнодушно. Не мучась больше ни предчувствиями, ни надеждами. Надеяться теперь было не на что. Ничто не спасло ее. Даже развод. Всё было напрасно, напрасно. «Очищается горе от всякой надежды».

И всё-таки она продолжала жить. Она, всегда такая хрупкая, такая слабая, теперь умудрялась никогда не болеть. Как будто, болезни, как и радости и надежды, были не для нее, не хотели замечать ее. Она больше никому не была интересна. Даже смерти. Ей казалось, что всё будет продолжаться так без конца, что даже в будущем, в далеком, туманном будущем, нет смерти для

нее. Нет смерти, как и жизни нет. Одна тоска и одиночество. Вечно.

Она подошла к окну и открыла его. Какое восхитительное утро. Как тепло, как хорошо. — Хорошо? — переспросила она себя. Ничего хорошего не было для нее в этом голубом июньском утре. Напротив, оттого что всё кругом сияло, она чувствовала себя еще более несчастной и опозоренной. Этим нежным сияющим воздухом ей было трудно дышать. В дождь, в слякоть, в стужу, ей всё-таки было легче. Несчастным всегда легче в слякоть и стужу. Они не чувствуют себя такими выброшенными из жизни. Лучше бы уж круглый год была осень, дождь, туман, слякоть. Лучше бы никакого солнца не было, — подумала она. И всё-таки она не могла не сознавать, что для других — не для нее — это было началом чудесного дня. Для других. Но ее ничто не связывало с этими другими, как ничто не связывало ее с этим небом и этой землей. Она выпала из гармонии мира. Она была одна. Чужая всему. Навсегда одна со своим горем.

Одиночество. Нет ничего страшнее одиночества, — подумала она. — Никто не постучит в мою дверь, не войдет, не заговорит со мной. Я буду молчать, молчать, молчать. Но я не могу больше молчать. Я сейчас закричу, завою, если не постучат в мою дверь...

Она стояла у окна и смотрела на уличную жизнь. На живых людей, спешивших по своим делам — на службу, на вокзал, за покупками. Пусть им тоже плохо и тяжело. Пусть и им совсем не весело, как большинству в Москве, в России. Но ведь они живы. А она? Разве она живая? Разве это можно назвать жизнью? Может быть, она уже перестала жить и только притворяется живой, плохо притворяется. И оттого ее толкают на лестнице и в коридоре. Не видят, вернее, не всегда видят. Может быть, она умерла и не заметила сама, как умерла. Думала, что смерти для нее нет, а смерть уже наступила.

Мертвые страха не имут — ни страха, ни стыда. Нет, значит она не мертва. Ей стыдно, ей страшно. Если бы она действительно, была мертва, она не стыдилась, не боялась бы так. Всегда. Ночью и днем, днем и ночью. Даже во сне. Стыд и страх. Стыд, переходящий в страх. Но чего тебе еще бояться? Нечего тебе бояться, нечего тебе стыдиться. Что еще может случиться с тобой? Ничего тебе больше не страшно и прошлого тебе стыдиться нечего. — Не страшно? — спросила она себя. — Так отчего, скажи, у тебя опять дрожат руки? Нет, нет, довольно. Я больше не могу, не выдержу. Если сейчас не постучат в дверь... Если не постучат...

И в дверь, действительно, постучали. Громко постучали. Это было так невероятно, что у нее нехватило голоса сказать «войдите». Она только открыла рот и вздохнула, глядя на дверь. Никто не вошел.

— Вас требуют к телефону! — крикнули из-за двери и, подождав немного, не получая ответа, еще громче: — К телефону вас!

К телефону? Она не поверила, не поняла. Не может быть. Ее никто никогда не требовал к телефону. Кто мог позвонить ей? Кто?

Она заметалась по комнате, потом выбежала в коридор. Это ошибка. Конечно, ошибка. Спутали номер, спутали фамилию. Это ошибка. Конечно, не ее...

Снятая телефонная трубка лежала на столе. Трубка была холодная и липкая. Вера прижала ее к уху. Конечно, ошибка.

Но это не была ошибка. Ее вызывали из НКВД. Очень вежливо «просили заехать».

Она задохнулась, будто захлебнулась воздухом.

— Сейчас приеду. Сейчас.

Она постояла, еще держа трубку у уха, испуганно и бессмысленно глядя на стену, всю расписанную разными номерами. 240-93 было дважды подчеркнуто красным. Что могло значить это 240-93.

«240-93», — повторила она. Но, ведь, ей этот номер был ни к чему, ведь ей звонил не 240-93.

Она повесила трубку и бегом вернулась в свою комнату.

Одиночество. Так ли страшно, как ей только что казалось, было одиночество? Теперь она сознавала, что есть вещи и пострашнее одиночества. И с одной из этих, еще более страшных вещей, ей предстояло столкнуться сейчас.

Она только что думала, что с ней уже ничего не может случиться. Она ошиблась. Может, и еще как может! Она только что стояла у этого самого окна и в почти блаженном неведении будущего думала, что всё страшное уже позади, в прошлом. А машина судьбы уже снова была пущена в ход. Ее рычаги и колесики уже двигались и крутились, готовые переломать, перемолоть, раздробить уничтожить всё, что еще осталось от нее и ее жизни. И, как всегда, когда она спешила и волновалась, все вещи начали исчезать. Берет, где ее берет? Она перерыла комнату, заглянула даже в комод, хотя никогда не прятала туда берета. Ничего, можно и без берета. Она вспомнила сквозь спешку и волненье рассказ о том, как осужденного ведут на казнь, и он, совсем как она сейчас, сбивается с ног, ища свою шляпу. И смущенные слова часового:

— Ничего, можно и без шляпы. Ничего...

Она оглянулась. Рассказ. Чей это рассказ? Читала она его когда-то или придумала сейчас. Не всё ли равно? Она взглянула на стену и увидела берет, висевший на крюке. А, может быть, лучше, вместо того, чтобы ехать в НКВД просто повеситься на этом крюке?

Она не успела заштопать перчатки. Дырявые. Если держать руку сжатой в кулак, незаметно. А если и заметно, не всё ли равно? Она по привычке взглянула на себя в зеркало, надев берет. И по привычке, перебивая

страх и сердцебиение, навстречу из зеркала, будто подпись под ее отражением, выплыла мысль: «Я? Почему это я? Разве я прежде была такая?».

Нет, она не была такой прежде. Даже пять минут тому назад, до телефонного звонка, она всё-таки не была такой раздавленной, такой покорной, такой готовой ко всему и на всё.

ГЛАВА ВТОРАЯ

...Этот стеклянный широкий подъезд, этих часовых, эту лестницу, покрытую ковром, этот пустой, тихий коридор она хорошо знала. Через этот порог она уже не раз переступала такими же похолодевшими, тяжелыми ногами, с такой же подкатывающейся к горлу тошнотой.

Кабинет. Зеленый колпак зажженной лампы. Опущенные шторы. Штром повернулся к ней, сияя лысиной и улыбкой, и, не вставая, протянул ей руку.

— Присаживайтесь. Давненько мы с вами не болтали.

Нет так не могла начаться глава нового несчастья. Это еще не гибель. Отчего не могла? Оттого, что Штром улыбался? Но и в то утро он улыбался совсем так же, такой же восточной, лукавой, сияющей улыбкой.

Она подала ему руку. Он пожал ее долгим притворно-сердечным пожатием.

— Ну как? Всё хорошеем?

Он взглянул ей в лицо, и его зоркие блестящие глаза удивленно расширились.

— Вы больны?

— Нет.

Она покачала головой.

— Но вы были больны? — настаивал он.

— Нет, — повторила она. — Я ни разу не хворала за этот год. Я совсем здорова.

Он поправил галстук, взглянул в угол кабинета и притушил лампу.

— Конечно, жить не всегда легко. Досадно, да что поделаешь. И я ведь предлагал вам, помните, заняться вами? Не захотели, гордая испанка.

Он отряхнулся и снова заулыбался, давая понять своей улыбкой, что на большее сочувствие к несчастью Веры он неспособен. Большего с него получить нельзя.

Потом протянул портсигар, зажег ее папиросу и закурил сам.

— Теперь побеседуем о деле, — начал он попрежнему весело. — Я попросил вас приехать оттого, что вы мне очень нужны. Ведь насколько я помню, вы хорошо обучены английскому языку. Фундаментально и с подобающим выговором? А? Ну, так вот.

Дело оказалось простым. В Москву прибыл американец — доктор — на несколько дней. Но беда в том, что он и журналист вдобавок, а мы этого не знали. Любопытный чорт. Всё ему видеть надо, всюду свой нос сунуть. Наши сотрудницы как на подбор, все заняты. Некому с ним возиться, а одного его тоже оставить не годится с его любопытством. Вот мне и пришло в голову приспособить вас временно. Услуга за услугу. Я в долгу не останусь.

Он бросил в пепельницу папиросу и закурил новую.

— Сдам его вам под расписку. Не отпускайте его ни на шаг. Куда он, туда и вы. И переводчицей в разговорах. Впрочем, лучше поменьше посторонних разговоров и, главное, клиник и лечебниц. Очаруйте его. Вы ведь умеете. И всякие, там, загородные прогулки, виды и пейзажи, театры, ночные кабаки, цыгане.

Вера встала с места, подошла к столу и повернула рефлектор, освещая всю себя.

— Вы, должно быть, еще не посмотрели на меня? Видите, на что я стала похожа. Мне ли очаровывать? Вы смеетесь надо мной.

Она стояла перед ним, вытянувшись, нисколько не скрывая, а, напротив, подчеркивая, выставляя на показ свой жалкий, усталый вид, и порванные перчатки, и сношенные туфли, и грошовый берет. Он, наклонив зеркально-лысую голову, оглядел ее серьезно и критически, будто взвешивая и оценивая.

— Да, — сказал он, наконец, — экипировочка, действительно, подгуляла. И парикмахерский ремонт тоже спешно требуется. И, конечно, наводка красоты на фасад. Но всё это пустяки, — он протянул руку вперед, освобождая из-под манжеты большие, круглые золотые часы. — Теперь без десяти одиннадцать.

Вера сжала руки в разорванных перчатках.

— А если я не захочу? А если я не соглашусь?

— Не согласитесь? — он казался искренно удивленным. — Как так не согласитесь? — глаза его вдруг блеснули хищным, пустым, стеклянным блеском. — Вы уже раз не согласились. Но тогда это касалось чувств, а в вопросах чувств я не допускаю ни малейшего принуждения, — он вдруг рассмеялся весело и раскатисто, потом, вынув платок, вытер им глаза. — Ну, и рассмешили вы меня, дорогая. Давно так не смеялся. Отказываться всё же не советую. Так вот, теперь без десяти одиннадцать, а в половине второго мы с вами завтракаем с американцем в Метрополе, — он протянул руку к телефону. — Сейчас вами займутся. Отделают вас под орех. Красавицей, как прежде, станете. Не извольте беспокоиться. И нарядят соответствующе. Не узнаете себя.

И не дожидаясь ответа Веры он снял трубку телефона.

В половине второго рыжеватая молодая женщина

в белом костюме, с модной белой сумкой через плечо, в маленькой шапочке на свеже-завитых волосах, вышла из автомобиля и вошла в отель Метрополь.

Вера видела как она, переставляя свои золотисто-шелковые ноги, прошла мимо швейцара и растерянно оглянулась на своего спутника, и тот одобрительно и ободряюще подмигнул ей.

Вере казалось, что она всё еще стоит у окна своей комнаты, что еще не постучали в ее дверь, еще не крикнули — «к телефону вас». Ей казалось, что она из окна видит, как эта элегантная молодая женщина входит в отель. И о чем она так волнуется? Бедная, бедная. Если она будет так волноваться она споткнется, она упадет перед всеми этими людьми, загромождающими холл отеля и глядящими на нее, будто она на сцене, Будто она танцует на сцене, а они зрители. Но где уж ей танцевать, только бы дойти до стула, только бы сесть. Отчего все они с таким любопытством, так настойчиво смотрят на эту бедную, элегантную женщину? Или это ей только кажется, оттого, что она так давно нигде не бывала и так одичала?

Надо успокоиться, взять себя в руки. Штром шел за ней. Она сознавала, что он здесь, за ее спиной, и его ненавистное присутствие действовало на нее успокоительно. Без него она совсем потерялась бы.

Прямо на нее, на них с Штромом уже шел американец. Это был тот самый американец. Такие не бывают русские. Таких в Москве нет. Она не успела разглядеть, что в нем было такое особенное. Она только почувствовала: американец.

Штром уже здоровался с ним. Уже знакомил его с ней. Американец, улыбаясь, дружелюбно потряс ее руку — он действительно казался очень рад знакомству с ней или это была только американская манера знакомиться. И она, не задумываясь, ответила: — How do you do, —

будто ей часто приходилось здороваться по-английски, будто она не разучилась вообще здороваться.

Теперь они сидели в ресторане за угловым столиком. Штром весело и суетливо составлял меню, советуясь с ней, с американцем, с метр-д-отелем, желая всем сразу угодить. Чтобы окончательно успокоиться, чтобы не смотреть на американца, Вера стала стягивать длинные замшевые перчатки со своих только что приведенных в порядок рук. Вид коралловых блестящих ногтей с непривычки всё-таки удивил ее: уже больше двух лет она не лакировала ногтей, и теперь эти белые руки с красивыми ногтями казались ей чужими, такими же чужими, не принадлежавшими ей, как перчатки, которые она только что сняла. Но показывать удивление было нельзя. По дороге сюда Штром наставлял ее:

— Главное помните, что вы снобка. Вас ничем не удивишь. Вы всё видели. Вы избалованы. И плевать вам на Париж или Нью Йорк. В Москве всё лучше. Подчеркивайте это. Но вежливо, любезно. Ведь он — гость, а мы, москвичи славимся гостеприимством. Не нарушайте его представления о нас. О себе всё врите, и попышнее. Кроме, конечно, что вы знаменитая балерина. Это я ему уже сообщил.

— Бывшая балерина, — перебила его Вера. — Бывшая знаменитость. Всё в прошлом.

— Где кончается прошлое, где начинается будущее? Попроще, Вера Николаевна. Без философии. Улыбайтесь очаровательно и молчите, если не знаете, что сказать. Предоставьте ему самому истолковать ваше молчание. Всегда в вашу пользу истолкует.

Хорошо, что можно было молчать, что Штром разрешил ей молчать. Штром говорил и за нее и за себя. Очень весело и бойко. Он объяснял, забавно гримасничая, что его уэйтчепельский выговор и странный подбор слов объясняются тем, что он во время войны 1914-го

года сидел в Лондоне в тюрьме за пацифистскую пропаганду. Два года просидел там и научился английскому языку; ему это потом очень помогло в его дипломатической карьере. Он весело смеялся, и американец смеялся так же весело. Ей тоже следовало бы рассмеяться, но она чувствовала, что это никак не удастся ей. «Улыбайтесь», — вспомнила она приказание Штрома, но и в своей улыбке она не была уверена. Осторожно, чтобы не получилось гримасы. Она ведь совсем разучилась улыбаться. Лучше проверить перед зеркалом, прорепетировать. Она открыла чужую белую сумку и, порывшись во множестве чужих предметов — карандаша для губ, пудреницы, портсигара, золоченой зажигалки — вынула зеркало и наклонилась над ним. Из чужого зеркала выглянуло чужое лицо. Будто НКВД, снабдив ее чужим костюмом, сумкой и шляпой, снабдило ее также и чужим лицом. И постоянный вопрос при виде себя в зеркале: «Я? Почему это я? Разве это я? — прозвучал сейчас совсем по новому. Ответ возможен был только один: «Это не я. А если это всё-таки я, то «я» — ложь и обман. Просто ложь и обман: «я» вовсе не существует». Ей захотелось додумать до конца, как же это так, понять что-то очень важное.. Но она уже выпила вина, и ее мысли стали ускользать от нее.

Она осторожно приоткрыла подрисованные красные губы. Так вполне сносно. Чужая улыбка. Но другой, не чужой, улыбки — и быть не могло на этом чужом лице. Вполне сносно. Ведь всё — только ложь и обман. Как раз то, что нужно — эта улыбка. Она захлопнула сумку и посмотрела кругом, по новому улыбаясь. Только веки лучше опускать, чтобы не были видны ее глаза. Ее глаза — это она еще утром видела в зеркале, — были, как два пятна горя, и совсем не подходили к улыбке, хотя бы и к лживой.

Как часто она прежде бывала в этом ресторане с

Андреем. И всё здесь совсем попрежнему ничего не изменилось в этом большом ресторанном зале. Тот же бобрик, тот же аквариум, те же красные шторы в окнах, те же зеркала и хрустальные бра на стенах. Всё тут статично, навек окаменело в суете лакеев и смеющихся посетителей. Те же лакеи, те же посетители. И только двое — Андрей и она... Нет, об этом ей сейчас совсем нельзя было вспоминать. Она выпила еще стакан вина. Ей начало казаться, что всё здесь совсем не так уж статично, не так окаменело в неизменности. Нет, время изменило и этот ресторан. Только в чем это изменение, чего оно коснулось? Конечно, не стен, не штор, люстр, аквариума, столиков и лакеев. Нет, не место изменилось, не внешность, а содержание. Изменился воздух, изменилось настроение, изменилась душа этого места. Изменились посетители, дело было в них, это они создавали настроение, это они были душой этого ресторана. Но ведь они были прежние, эти посетители. Они бывали тут и два, и три года тому назад. Она узнала в лицо многих из них. Мода, — сообразила она, — мода переменилась. Не та женская мода, предписывавшая женщинам носить сумки, как почтальоны, через плечо, стягивать талии в рюмочку, ватировать плечи костюмов, завивать волосы над лбом. Нет, мода более глубокая и менее бросающаяся в глаза. Мода разговоров, жестов, мода настроений, чувств и мыслей. Мода характеров. И мода эта была на простецкость, на жизнерадостность, на хамоватость. Рубаха-парень, душа на распашку — вот, должен быть, идеал этой моды. Подчеркнутое довольство своей судьбой и своим положением в своей стране.

За соседним столиком сидел когда-то знакомый с Верой и ее мужем «знатный человек страны», знаменитый инженер. Он говорил очень громко и звонко горловым голосом, и собеседник отвечал ему так же. Будто для публики, чтобы все слышали, о чем они говорят.

Подчеркнуто — «секретов нет. Ничего не скрываем». Они сопровождали слова стуком по столу кулаком с поднятым вверх большим пальцем. Оба. Это тоже, должно быть, был модный жест. Прежде Вера не видела его. Кулак с опущенным большим пальцем — жест императора, означавший смерть побежденного гладиатора-раба. Обратный жест побежденных рабов — не значит ли он: жить, во что бы то ни стало, жить? Напрасно поднимают — жить всё равно не дадут. Какой вздор, о каком вздоре я думаю! Ведь я здесь по приказанию Штрома. Мне следует теперь заговорить с американцем. Но слов для разговора еще не находилось. Лучше молчать и улыбаться, раз это разрешено.

Она снова посмотрела на притворно самодовольного и самоуверенного «знатного человека». И чего он так старается? Захотят сослать или расстрелять — сошлют или расстреляют. Стучи, не стучи кулаком с поднятым вверх пальцем.

Он повернул к ней голову, и лицо его сразу потеряло всё самодовольство, всю самоуверенность. Глаза стали косящими, и взгляд их трусливо убежал в сторону. Но только на мгновение. Глаза, вспыхнув радостью узнавания, уже снова возвращались к Вере и открыто и радостно остановились на ее лице.

— Вера Николаевна! Вы ли это? Сколько лет, сколько зим...

Вера поняла. Он увидел Штрома. Если она с Штромом, и к тому же так элегантно одета, значит ее не только можно, ее непременно нужно узнать.

Она кивнула ему.

— Как поживаете?

— А-а-тлично, — ответил он преувеличенно-радостно. — А как же можно у нас в Москве поживать? Небось, сами знаете.

— К сожалению, нет, не знаю. Я была почти два года больна и только теперь начинаю поправляться.

— Ай, ай, ай, нехорошо! — «знатный человек» покачал головой. — То-то я смотрю — похудели будто. Поправляйтесь скорей. Жить стало веселей, а-атлично стало жить. За ваше здоровье! — Он выпил рюмку водки и закусил, крякнув, как извозчик. — Удивительно приятно стало жить!..

Ну, как кому. Да и вам — долго ли будет приятно? До первой катастрофы, до первого расстрела. Но этого, конечно, Вера не сказала. Это она только подумала.

Штром положил ей еще спаржи.

— Вам надо хорошо питаться.

И он сейчас же принялся объяснять американцу, что Вера была больна и только недавно стала снова выходить...

Ложь, ложь, обман. Она старалась не слушать. Но есть тоже не могла. Она, постоянно мучившаяся голодом, мечтавшая о таком вот рябчике, о такой вот спарже, теперь, когда этот рябчик и эта спаржа очутились на ее тарелке, только брезгливо отворачивалась от них. Но ведь она была тут не для того, чтобы есть. Она исполняла приказание Штрома и это мешало ей есть. Ее горло от волнения сузилось и жевать стало утомительно. Но пить можно было, и она пила. От вина становилось спокойнее, легче. Штром зорко наблюдал за ней своими блестящими, веселыми глазами. Она не могла догадаться, доволен ли он ею или нет. Он улыбался. Но ведь в то утро он тоже улыбался той же самой вкрадчивой, ласковой улыбкой. Она вздрогнула. И американец сейчас же озабоченно спросил:

— Вам нездоровится? Вам холодно?

— Нет, нет. Я чувствую себя отлично.

Вот и она уже поддалась общей моде. Вот уже и

она говорит «отлично», скрывая за этим «отлично» свой страх: поняла, что теперь необходимо чувствовать себя отлично или, по крайней мере, притворяться, что чувствуешь себя так.

Как давно она не пила крепкого черного кофе. С коньяком. Вкусно, и сердце начало тепло и гулко стучать в груди: «Я тут, я тут, я тут. Не бойся, нечего тебе бояться. Нечего».

Разве нечего? Может быть, правда, ей нечего больше бояться.

Может быть, всё страшное уже позади.

Но и это была ложь, но и это был обман. Всё — ложь и обман. Даже стук собственного сердца.

Штром закончил вымышленный рассказ о ее болезни и уже успел перейти к тому, что интересовало его, к чему он вел рассказ. И американец пошел ему навстречу. Так просто и естественно. Раз Вера сейчас ничем не занята, раз всё ее время свободно, почему бы ей не быть такой бесконечно милой и не сделаться гидом американца по Москве?

— Давайте, попросим ее вместе, — предложил Штром.

— С восторгом, — американец безусловно был искренен. Ему безусловно очень хотелось, чтобы Вера шпионила за каждым его шагом.

— Но как мне вас упросить? Как?

Упрашивать совершенно не требовалось, ведь Штром уже приказал ей. Она уже согласилась, иначе бы она не была здесь. Она только не смеет показать американцу, что она согласна. Не надо торопиться.

Она, рассеянно улыбаясь, смотрела на американца. Она уже овладела улыбкой. Нет, смотреть на него всё-таки не надо. Глаза могут ее выдать. Она стала следить за дымом папиросы.

— Я собиралась хорошенько отдохнуть. Ни с кем не видеться, лежать целыми днями. Мне надо окрепнуть перед поездкой в Крым. Я, право, не знаю...

— Вера Николаевна, — настаивал Штром. — Вы ведь не только очаровательны — вы еще и добры. Ну, ради нашей старинной верной дружбы. У вас так много друзей, но всё-таки один из самых преданных...

Ложь, издевательство. У нее нет ни одного друга на свете. Только враги. И этот американец, конечно, тоже враг.

Вере хотелось плеснуть Штрому кофе в лицо. Она сознавала, что немного пьяна. Не настолько, чтобы, действительно, плеснуть кофе, достаточно, чтобы поколебаться — не плеснуть ли?

— Если бы вы согласились... — голос американца звучал наивно и просяще, — вы бы так скрасили...

Она продолжала курить, улыбаясь и следя за дымом.

— Согласиться? Но я так устала. А вы ведь захотите осмотреть всю Москву, всё увидеть, со всеми поговорить. Это очень утомительно.

— Нет, я не утомлю вас. Вы сами составите программу, вы повезете меня только туда, куда захотите, — уговаривал американец. — И вы сделаете доброе дело.

Доброе дело! Ей совсем не хотелось заниматься добрыми делами, но и зла ей тоже делать не хотелось. Ни добра, ни зла. Ей приказали, и она слушалась. Только и всего, и нечего этому американцу так благодарить, так радоваться.

— Вы не можете себе представить, каким я чувствовал себя одиноким в Москве.

Штром поднял брови на зеркальном лбу.

— Не может быть! Одиноким в Москве? Но, ведь, у нас никто не чувствует себя одиноким, не правда ли, Вера Николаевна?

И Вера ответила:

— Конечно, у нас в Москве даже бездомные кошки не чувствуют одиночества. Одиночество. Какое забавное слово! Я даже не вполне понимаю, что это значит. Но, повидимому, что-то очень неприятное. О-ди-ночество...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Прощаясь после завтрака, Штром сердечно пожал руку американца:

— Гора с плеч! Теперь, когда у вас такой гид, я спокоен за вас. А то — непорядок: приехал иностранный гость и скучает в Москве. У нас в Москве всем должно быть весело и хорошо. Так, до скорого...

И улыбаясь, он быстро пошел к выходу, довольный результатами завтрака, уже занятый новыми делами, уже не думая ни о Вере, ни об американце. Он ведь всё предусмотрел и устроил, и дальше всё покатится правильно, по заранее намеченному плану.

Но ничего правильного не вышло. И никакого движения тоже не было. Всё сразу остановилось, как только Штром исчез в дверях. Разговор оборвался.

Они еще остались допивать кофе. Штром сказал:

— Вы народ свободный, вам торопиться нечего. А я, рабочая кляча, завидую вам, да надо идти работать. Если бы вы только знали, какой я лентяй. А известно, что из лентяев всегда выходят самые отъявленные труженики.

Может быть, поговорить о лени. Процитировать — La paresse est delices de l'âme?[1] Но вряд ли он понимает

[1] Леность — душевное наслаждение?

по-французски. И это, наверное, слишком тонко для него. Что сказать ему? Что?

Чувство неловкости всё сильнее охватывало ее. Она волновалась совсем так же, как когда входила сюда. Ей казалось, что она успела успокоиться, привыкнуть к американцу и к своей роли за время завтрака. Но без Штрома она чувствовала себя потерянной. Подумать только — потерянной без Штрома! Мысль, что Штром хоть на минуту мог быть ей нужен, была настолько чудовищной, что разогнала даже неловкость.

— Что же мы теперь будем делать? — спросила она, пользуясь тем, что смущение немного отпустило ее горло.

— Что хотите. Я готов, не споря, всюду следовать за вами.

Куда везти его? Об этом она еще не успела подумать. В сумке лежал список дозволенных мест, данный ей Штромом. Но нельзя вынимать списка.

Она молчала. Он тоже молчал. Молчание, повидимому, совсем не тяготило его. Она знала, что англичане могут молчать часами, что они говорят только, когда им есть что сказать. Может быть, и американцы тоже. Но ее учили, что молчание вдвоем невежливо, что надо, во что бы то ни стало, разбивать его первыми попавшимися словами, не давая молчанию перейти в натянутость и недовольство друг другом.

Первые попавшиеся слова. Но никакие слова не попадались. Если бы вспомнить с чего начинается список. И вдруг память, сжалившись над ней, подсказала:

— С музеев.

Музеи. Как просто. Как умно. Лучше ничего и придумать нельзя. Она повезет его в Третьяковскую Галлерею. Она будет водить из залы в залу, пока у него не разболится голова и он не захочет отдохнуть у себя до

вечера. А вечером она повезет его на концерт или в тёатр. Конечно, она тоже устанет в музее, у нее тоже разболится голова. Но ничего, пусть.

— Вы уже были в музеях?

— Нет, но я должен сознаться — я не очень интересуюсь картинами и статуями. И это, наверно, слишком утомительно для вас.

— Раз я — ваш гид, я должен исполнять свои обязанности.

Он рассмеялся.

— Не вздумайте только слишком серьезно относиться к ним.

— Но наши музеи...

— Верю, верю. Одни из лучших в мире. Я был прошлой весной в Италии и на всю жизнь нагляделся. Откровенно говоря, надоели мне музеи.

— Что же тогда?..

Она совсем растерялась. Но он неожиданно предложил сам:

— А что, если бы просто поехать за город покататься. Сегодня такой чудный день.

Да, конечно, чудный день. Она забыла, что сегодня именно то, что другим кажется чудным днем. Чудным днем для загородных прогулок. Штром ведь советовал прогулки и пейзажи. И чудный день — тоже тема, благодатная тема. Англо-саксонцы вообще очень много говорят о погоде, гораздо больше, чем русские. Она сумеет поговорить о погоде, о весне, о зиме. Любите ли бегать на лыжах? Я прекрасно плаваю, а вы?

Она кивнула.

— Да, очень приятно покататься. Хотите, поедем на Воробьевы Горы?

— Надо сказать лакею, чтобы он нашел такси.

— Нет, зачем? Меня ждет моя машина.

Она сама удивилась, как уверенно она произнесла «моя машина». «Моя» — это значит машина НКВД...

Но заявление о «ее» машине, повидимому, его нисколько не удивило. Что удивительного, если у знаменитой балерины своя машина? Не может же знаменитая балерина вечно трепаться в такси. А что если бы признаться ему, что у нее и на трамвай не всегда хватает, что даже трамваи, уже не говоря о метро, для нее роскошь.

Они вышли вместе из отеля. Они сели в автомобиль НКВД.

Американец сидел слишком близко к ней. Она отвыкла, она разучилась сидеть так близко. Очень тягостно такое близкое соседство в этом катящемся маленьком ящике.

— Опустите, пожалуйста, окно, — попросила она.

— А вы не простудитесь?

— Нет, Жарко.

Сквозняк — это именно то, что нужно. А так она чувствовала, когда он поворачивал голову к ней, его дыхание на своей щеке. И это было отвратительно.

Она сидела неудобно, в натянутой позе на краю сидения, плотно прижимая локти, чтобы только не коснуться американца.

Неужели и она любила когда-то так кататься? Отвратительно. До чего отвратительно. Если бы можно было открыть дверь, выскочить на всём ходу, спрятаться в одном из подъездов. Спрятаться от американца, от Штрома, от судьбы. Но и это желание было неисполнимо, как и все ее желания. И не стоит думать о нем.

— Как я благодарен милому Штрому, что он познакомил меня с вами. Теперь, рядом с вами, я готов поверить, что Москва прекрасный город, и здесь никто не грустит и не скучает. А сегодня утром, — он наклонил-

ся к ней, — вы, конечно, еще спали в десять часов, и вам даже не снилось, что вы сегодня же станете добрым самаритянином, пожалевшим бедного чужестранца.

— В половине десятого ко мне приходит массажистка, — неожиданно для себя ответила она, как будто время перенеслось на два года назад, когда новый день, действительно, начинался не руганью соседей за стеной, а приходом массажистки. Добрый самаритянин? Что он такое сделал? Что-нибудь библейски-похвальное, но что именно? Она не помнила, хотя когда-то ее мать читала ей эту самую английскую Библию, которую Волков отнес Андрею в тюрьму. Нет, об Андрее сейчас совсем нельзя было вспоминать.

Американец продолжал:

— Разве я смел мечтать о таком гиде, как вы? Подумать только: знаменитая балерина, избалованная обожанием поклонников...

Она слушала. Неужели это о ней? И она кажется ему избалованной. Значит, он совсем слеп и не видит ее.

— По этим улицам я проезжал сегодня утром. Мне было невыносимо скучно. Прохожие казались мне угрюмыми и злыми, и Москва — несчастнейшим городом на земле. Оттого, что я был так одинок. Такое одиночество надо самому испытать, иначе не поверишь.

Да, надо самой испытать. И она не верила, пока сама не испытала, какое бывает одиночество на свете и какое горе.

Она слушала, глядя в окно. Вот уже и московская окраина. Как давно она не была здесь, не видела этих провинциальных домиков, покосившихся под нежным натиском годов, этих полисадников и выглядывающих из них подсолнухов. Неужели и тут горе? Всё то же русское горе, без края, без конца. Девочка в голубом платочке, завязанном под подбородком, играет с пушистым

котенком. Она машет рукой автомобилю. Неужели и эта голубоглазая девочка будет такой же несчастной?

Вере казалось, что она когда-то очень давно, еще голубоглазой девочкой, видела в последний раз эту горячую пустыню колышащихся полей, это плоское, до бела раскаленное небо, и дальше, совсем далеко, будто за горизонтом, зубчатую цепь леса. На повороте дороги одинокое дерево вдруг протянуло к ней ветви с таким сочувствием, так приветливо, что ей на минуту показалось, что она любит и понимает природу, и природа любит и понимает ее. Но нет. И это было неправдой. Она никогда не любила и даже почти не замечала природы. Ей раньше было не до природы. Но и теперь природа ничем не могла утешить ее. И дерево, родственно-приветливо протягивающее ей ветви, и васильки, мелькающие среди ржи, и прозрачное облако, прелестно погибающее на безжалостно раскаленном небе, — всё это было не для нее. Всё это было раз и навсегда чужое. Не стоило даже смотреть. И она обернулась к американцу.

Но на него, без сомнения, действовала природа. Его душа всколыхнулась и, конечно, просила выхода в словах. И слова нашлись.

— Когда я был ребенком, — начал он...

Вера всегда удивлялась, до чего люди ценят и даже переоценивают свое детство, и как до самой смерти не умеют по-настоящему отделаться от него. Они вырастают, потом стареют, лысеют, теряют зубы, но не становятся взрослыми. Не могут вылечиться от своего детства, забыть его. Вот и американец заговорил о своем детстве. Пусть. Так гораздо спокойнее. Слушать легче, чем говорить. Надо только казаться внимательной и от времени до времени: «Продолжайте, продолжайте, это так интересно».

Но ей совсем не было интересно. Ей ровно никакого дела не было до его американского детства. Детство, как

детство, похожее на десятки других, читанных ею в книгах. Прежде, когда она еще могла читать, когда она умела еще интересоваться чужой судьбой. Славный, смышленый мальчик, в меру шаловливый, добрые нежные родители (а у кого они не добрые и не нежные?), и сестричка, и скай-терьер Джой. Ладный, но банальный рассказ о детстве. Но разве он рассказывает про американскую жизнь? Нет, она не так представляла себе Америку. Тихий городок, весь в садах. Двери даже на ночь не запираются — воров нет (а гангстеры?). Все знакомы друг с другом и любят «нашего доктора». Он идеалист, бессребренник (это американец-то?!). Он лечит даром бедняков. Но бедняков мало, все живут благополучно. Дедушка каждый день выходит на прогулку в поисках приезжих, чужих в городке, и приглашает их к себе пить чай. Он знает, как скучно без друзей...

Вере казалось, что американец смеется над ней. Разве это Америка? А где погоня за долларами, звериная борьба за существование, вечная спешка, time is money и всё то, что известно в России каждому?

Автомобиль катился по шоссе, телеграфные столбы нежно гудели от жары, ласточки чернели на проводах, как ноты на нотной партитуре. Вера слушала, теперь становилось ясно, что он не ограничится одним детством, что он хочет рассказать ей всю свою жизнь. Пусть.

Вот, наконец, и Нью-Йорк. Как он любит, как гордится им. «Каждый небоскреб — памятник американской изобретательности», — говорит он.

В Нью-Йорке он стал журналистом. После того, как кончил медицинский факультет. В семье был скандал — отец хотел передать ему свою клинику. Мать плакала. Дедушка отрекся от него. Ведь четыре поколения были врачами. Но он настоял на своем и уехал в Нью-Йорк. Без денег (вот, наконец, и знакомый self made

man). Через два года он поехал навестить своих уже в собственной машине, набитой подарками. И даже дедушка примирился с ним — ведь он преуспел. Но судьба сыграла с ним странную шутку. Наследственность — не пустые слова. Голос крови. В первое же воскресенье в клинику привезли умирающую женщину. Ее надо было немедленно оперировать, а ассистент отца был за городом, уехал на week-end. Отец попросил его заменить ассистента. Ведь у него был диплом. Операция. Борьба со смертью, длившаяся больше суток. Он не отходил от больной, и, наконец — победа. «Это ты спас ее», — сказал ему отец. Он никогда не испытывал такой гордости. И он бросил писать, и теперь он доктор. То есть он иногда еще пишет, но больше в медицинских журналах. В газетах редко. Вот, когда вернется, он, конечно, опишет всё, что он видел здесь. «Я восхищен многим, что видел здесь, что узнал ваши удивительные больницы»... Значит, он совсем слеп. Не только слеп, но и глуп. Нет, он не глуп, он просто доверчив. Ведь он видел показные больницы, специально устроенные для таких вот, слишком любознательных иностранцев. Обман, ложь. Настоящую действительность ему помешает увидеть она, Вера, приставленная к нему Штромом. О, Господи, какой слепой, какой наивный. В больницах больные мрут, как мухи, нет даже хины и аспирина. Всюду грязь, беспорядок. В квартире, где она живет, она слышала жалобы одного из соседей, побывавшего в государственной больнице — хуже тюрьмы.

А американец продолжал.

— В вашей прекрасной стране, где, после веков гнета, все, наконец, стали равны...

Равны? В чем равны? В несчастьи и горе? Нет, даже в несчастьи не все равны. Она, например, умудрилась быть незаслуженно счастливой среди общего несчастья. Впрочем, исключения подтверждают правило. И притом,

исключение длилось так недолго. Теперь и она уравнена в несчастьи с остальными, на ее плечи навалился даже избыток горя, почти непереносимый избыток.

А он всё рассказывал о себе. И понемногу, как когда-то, когда она еще читала книги, персонажи его рассказа стали оживать.

Она видела его мать, расчесывающую перед сном волосы серебряными щетками, и веселую тонконогую сестричку с тенисовой ракеткой в руке, и отца, и дедушку, и даже серого скай-терьера. Она видела их всех. Она видела почву под их ногами, такую устойчивую, твердую, и высокое, чистое небо над их головами, небо лучезарное как надежда.

На повороте мелькнул куст розового шиповника. Она взглянула на него. Но автомобиль уже пронесся мимо. Ей показалось, что розовый куст шиповника цвел не тут, у подмосковной дороги, а там, в рассказе американца, и оттого он такой пышный, розовый и прелестный.

— Как хорошо, — сказал американец. — И это, по-видимому, относилось не только к его воспоминаниям, но и к действительности сегодняшнего дня. Хорошо? Да такому, как он, всегда было и будет хорошо. Он может откровенно и правдиво рассказать всю свою жизнь. Ему нечего скрывать. Он даже не догадывается, что ему лгут, его обманывают. Он не верит, что на свете существует зло. Мир разделен прямой чертой на можно и нельзя. Всякому ясно, что можно делать и чего нельзя. Ни у кого не возникает даже сомнения.

Можно не послушаться родителей, уехать из дому, работать по восемнадцать часов в сутки и голодать. Оттого, что, в конце концов, те же родители будут вынуждены гордиться своим сыном, сумевшим стать известным журналистом. Как просто. И как им, должно быть, легко жить в Америке. И они ничего не боятся. Чего им бояться?

Он кончил. Теперь можно было помолчать. Он рассказал ей всю свою жизнь — это должно было их сблизить. Он наверно доволен ею, как собеседником. Она знала, что слушатель — лучший собеседник. Прежде и она очень ценила слушателей — ей всегда хотелось говорить самой. Но теперь ей решительно нечего было сказать.

Он молчал не долго.

— Мне кажется, что у вас было удивительное детство. Вы, вероятно, были восхитительной девочкой, такой, какие получают призы на конкурсах у нас в Америке.

Удивительное детство? Ну да, он уверен, что оно было, как в кинематографе — «детство маленькой княжны в пожаре революции». Сказочно-богатый князь-отец, фрейлина-мать, балы, пиры, жизнь во дворцах, пока не сожгли дворцов, не расстреляли папу-маму и княжна не стала беспризорной.

Но сочинять рассказ из 1001-ой революционной русской ночи или какую-нибудь «Алису-Веру в стране чудес» ей было совсем не под силу.

Она опустила веки и вздохнула.

— Ах, мое детство было таким грустным, — и отвернулась к окну. Это было как раз то, что нужно. То, что без слов рассказало о великолепии и нищете ее сказочного детства. Она открыла сумочку и достала носовой платок.

— Ради Бога, простите меня, — американец казался растроганным. — Это было ужасно, должно быть.

— Еще гораздо ужаснее чем вам кажется, — ее голос дрогнул. Она думала не о своем детстве, а о том, что случилось с ней два года тому назад. Ей было приятно, что она может сказать правду. — Это было так ужасно, как в сказке.

— Бедная маленькая девочка, — прошептал он.

Он сочувствовал ей. В его коричневых глазах заблестели желтые точки. Да, он сочувствовал ей. Но не тому, что она пережила после ареста Андрея, а несуществующему горю не существовавшей никогда девочки. И разве дети бывают уж так несчастны? Это всё выдумки о безутешности, о безысходности детского горя. Теперь ей, действительно, хотелось заплакать. Не о прошлом, о настоящем. Она не знала, что сочувствие может быть неприятным. Непонимающее сочувствие. Оно еще больше подчеркивает ложь и обман. Нет, между ней и американцем не может быть ничего общего. Никто не может ей сочувствовать. Она даже сама себе не сочувствует.

Она встряхнула головой.

— Не надо больше воспоминаний.

Он молчал. И она не старалась прервать молчание. Она понимала, что ее молчание заменяло длинный, подробный рассказ о ее жизни, о ее детстве, что оно сближает их, и ему кажется, что она была с ним так же откровенна, как и он с ней.

— Вы не устали? — спросил он вдруг. — Я ведь должен помнить, что вам нельзя утомляться.

Да, она устала. Она очень устала. И она запуталась в противоречивых впечатлениях этого дня. Она даже не знала сейчас, так ли ей противно, так ли ей отвратительно сидеть в автомобиле, так ли ее тяготит близость этого американца.

— Я гид, — я не вправе утомляться.

— А обедать вы со мной будете? — спросил он.

— Конечно буду. Это входит в обязанности гида.

Он казался очень довольным.

— Тогда вам лучше вернуться и немного полежать перед обедом.

А он что будет делать? Ведь Штром приказал — «ни на шаг не отпускайте. Куда вы, туда и он».

Он вернется в Метрополь. Ему надо написать письма домой. Пока он не знал ее, ему было так тоскливо в Москве, что даже писать не хотелось.

— В Лоскутку, — приказала она шоферу, и автомобиль плавно завернул.

Те же поля, леса и дома. Теперь они казались более воздушными и легкими от прозрачных теней скользящим по ним. Неужели уже скоро вечер, а она и не заметила. Она подняла голову и посмотрела вверх, на небо. Небо было теперь совсем голубое, чистой глубокой голубизны от края до края. Оно казалось таким благостным, таким счастливым. Но ведь этого не может быть. Это тоже обман, ложь. Небо только прикидывалось. Не может быть счастливого неба над несчастной страной.

— В Лоскутку, — сказала она шоферу. Штром предупредил ее что на время «работы» ей будет отведена комната в 5-ом Доме Советов, в прежней Лоскутной гостинице.

— Я заеду за вами в восемь. Не слишком рано, не слишком поздно?

Для чего рано? Для чего поздно? Всё слишком поздно. Всё слишком рано.

Она покачала головой.

— Нет. Как раз хорошо.

Для чего хорошо? Что может быть хорошего, когда всё навсегда непоправимо плохо. Когда всё ложь и обман. Слова ничего не значат. Они, как ветер, как гул телеграфной проволоки на столбах, как звон трамваев.

— Мы чудесно прокатились. Я надеюсь — вы не слишком устали. Вы сегодня сделали доброе дело.

Голос американца звучал убежденно.

Доброе дело. Злое дело. Направо — добро, налево — зло. Всё ясно, просто и понятно. Для него. Не для нее. Ей никогда не разобраться, где добро, где зло. Вернее, для нее всё — зло. Никокого добра нет. Нет и быть не может.

Автомобить остановился. Американец помог ей выйти. Она подала ему руку.

— До вечера.

— Какого цвета платье вы наденете?

Какого цвета? У нее вообще нет платьев, кроме единственного синего, выгоревшего. Но ведь не об этом платье он спрашивает ее... Комната на Лубянке, открытый шкаф, в котором, как радуга, переливаются вечерние платья. Она стоит перед большим зеркалом. На нее надевают что-то, обдергивают, подкалывают, советуются между собой к лицу ли ей. Ее мнения не спрашивают, и она не смотрит на себя в зеркало. Ей всё равно. Ей не до того. Кажется, отобрали несколько платьев. Какого цвета? Нет, она не знает. Не обратила внимания.

— Цвет моего платья?

Она прищурилась и посмотрела вдаль.

— Я еще не знаю. Это будет зависеть от цвета моего настроения. До вечера еще далеко.

Неужели есть женщины, говорящие такой вздор? Но американцу ее ответ, повидимому, понравился. Именно так и должны говорить москвички.

Снова холл гостиницы. Она уже успела освоиться, привыкнуть к своей роли. Роль обеспеченной, праздной, элегантной женщины. За полдня она привыкла к ней больше, чем к той, которую ей пришлось играть эти два года. Ее уже не удивляет, что портье почтительно подает ключ от ее комнаты — № 32, — третий этаж, что мальчик у лифта сгибается перед ней почти пополам, отворяя перед ней дверь.

Ее комната. Светлая, нарядная, с ванной и телефо-

ном на ночном столике. Ее вещи — чемоданы, данные на Лубянке, уже тут и даже уже распакованы услужливыми руками. Но разве это комната? Это тюремная камера, куда ее заперли. Ничего, что нет решоток на окне, что ключ торчит в двери, что телефон поблескивает у кровати. Всё это — только декорация.

Она брезгливо сняла чужой костюм и блузку, сбросила чужие туфли, чужое белье. Ведь всё это не принадлежало ей, а было дано ей только на время. Это было орудие производства, не больше.

Она легла. Кровать была мягкой и удобной. Как давно она не спала в удобной кровати. Да, в такой кровати можно уснуть. Несмотря ни на что, уснуть. И она, действительно, уснула.

В дверь постучали. Сейчас крикнут: «К телефону вас». И всё опять начнется сначала. Весь кошмарный день повторится в кошмаре сна. Но крика «к телефону вас» не было. Дверь тихо отворилась, вошла горничная в кружевном переднике, неся белые розы. Она положила розы Вере на кровать.

— Вам прислали. Уже половина восьмого.

Вера, недоумевая, смотрела на розы. Вот почему он спрашивал о цвете ее платья. Белые розы идут ко всему. Как смешно — белые розы ей. Она протянула руку и потрогала хрустящие свежие лепестки. Розы ей. Как смешно. Она села и засмеялась. Но ведь за завтраком ей было так трудно смеяться, она пробовала, не удавалось. А теперь она смеялась гулко, широко, и смеяться было легко, смеяться было увлекательно. Еще и еще. И не хотелось останавливаться. Как смешно. Нет, до чего смешно. Розы ей!..

Но разве смеются так, даже если очень смешно? Так длительно, так исступленно-звонко. Может быть, это истерика? У нее никогда не было истерики. Нет, нет, она смеялась просто оттого, что смешно, безумно смеш-

но. Подумать только... И она захлебывалась новым смехом.

Горничная поднесла стакан воды к ее губам.

— Выпейте. Вам дурно?

Зубы стучали о край стакана. От смеха. Она, давясь, выпила глоток холодной воды, и смех вдруг оборвался.

Вера устало перевела дыхание.

— Нет! — она отстранила стакан. — Мне совсем не дурно. Я видела такой забавный сон.

Горничная поставила стакан на ночной столик. Она не спросила, какой забавный сон снился Вере, какой сон может заставить так смеяться. Ее профессионально-вежливое лицо не выразило ни удивления, ни недоверия. Она, конечно, тоже служила в НКВД и была великолепно вышколена.

— Полежите еще минутку, пока я напущу вам горячую ванну. Горячая, хорошо для нервов.

И сейчас же из ванной послышался водопадный шум. Горничная скоро вернулась, щелкнула выключателем и достала из шкафа черное тюлевое платье.

«Цвет моего платья будет зависеть от моего настроения». Нет. Она ошиблась. Нет, ее настроение сейчас совсем не было черным. Черное — это тоска. Но она сейчас не испытывала тоски. Конечно, тоска была тут, она только спряталась на несколько минут, испугавшись смеха. Конечно, она где-то тут, и она скоро опять почувствует ее. Она повернулась на спину и легко вздохнула. Это только пауза, передышка. И всё-таки, как приятно. Смех лучше сна успокоил и освежил ее. Истерический смех — ведь это, конечно, было начало истерики. Она знала, что после истерики чувствуют себя больными, разбитыми. Отчего же ей стало так легко, так весело?

Горничная поставила на коврик перед кроватью парчевые домашние туфельки и подала ей розовый шелковый халатик.

Это уже было слишком. Этого она не ожидала. Дневные, вечерние платья, чулки, башмаки, сумки, всё, что видят другие, всё, что является «орудием производства». Но зачем на Лубянке заботились о халатике, о домашних туфлях? Она откинула стеганое одеяло, встала и с удовольствием надела халатик. И вдруг покраснела, поняв. Там, на Лубянке, всё предусматривают. Ведь, американец может пожелать придти к ней. Прислали на всякий случай...

Чувство легкости бесследно исчезло уже в ванне, растаяло в горячей воде, и когда пришло время надевать черное платье, оно оказалось как раз под цвет ее настроения.

Она еще раз оглядела себя. Нет, решительно она не нравилась себе. И разве это была она? Разве это была Вера Назимова? Разве она была такая прежде?

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

За обедом она чувствовала себя натянуто и неловко. Слишком глубокий вырез ее платья смущал ее. Она поежилась. И американец сейчас же забеспокоился.

— Вы не простудились во время прогулки?

— Нет. Но здесь свежо.

Он встал и набросил на ее плечи накидку. Под накидкой сердце забилось ровнее.

Он был всецело занят ею. Будто она здесь главное лицо. Она совсем забыла, как приятна такая заботливость. Вернее, она никогда не видела такой — американской — заботливости. Даже Андрей, несмотря на всю его любовь к ней, не умел быть таким заботливым. Это — их национальная, американская черта. У них полагается так заботиться о женщине, с которой обедаешь, как полагается посылать ей цветы.

— Я еще не поблагодарила вас за ваши чудные розы. Они доставили мне такое удовольствие.

Удовольствие? Разве? Этот ее смех вряд ли можно назвать удовольствием.

— Я выбрал белые розы. Вы ведь сами похожи на белую розу.

На белую розу. Она знала, что англо-саксы, как правило, не делают никаких комплиментов, кроме, разве, самых банальных, классических. А что могло быть более банально и классично, чем сравнение женщины с белой розой?

И всё-таки, как смешно, ее — с розой. Она почувствовала смех, снова подступавший к горлу. Нет, здесь нельзя смеяться, нельзя. Она торопливо выпила стакан вина.

— У вас волосы, как у моей сестры. Такие же бронзовые и блестящие, будто на них всегда светит солнце.

Такие же. Вряд ли. Этот бронзовый оттенок и блеск им придали сегодня утром в парикмахерской НКВД, а до этого они были тусклые, бурые. Но об этом она ему, конечно, никогда не расскажет, как и обо всём остальном.

Ему хотелось поехать в театр, в котором она танцевала. Очень хотелось. Она кивнула. Отчего бы и нет? Балет стоит в списке, данном Штромом. И вообще все театры. Невинное времяпровождение. Рекомендованное.

Но она не думала, что ей будет так больно входить в Большой Театр. За всё это время она ни разу даже близко не подходила к нему, отворачивала голову, чтобы не видеть его, когда ей приходилось быть на Театральной площади. Никогда не смотрела на афиши.

И вот, после двух лет почти. Нет, она не думала, что ей будет так больно.

Они опоздали. Фойэ было пусто. Седой капельдинер подходил к ним. Его тупое лицо выражало удивление — ведь и ему, как и всем здесь, было отлично известно, что Назимову выгнали из балета.

— Предупредите директора, что я приехала с американским журналистом.

Она протянула капельдинеру ордер на места во всех театрах, подписанный Штромом, и капельдинер, униженно согнув свою старую спину в дореволюционном поклоне — не перед ней, перед ордером — отпёр двери, и они вошли в ложу.

Театр был полон. И это удивило Веру. Ей как-то не приходило в голову, что театр попрежнему переполнен. Для кого все эти зрители пришли, раз она, Вера,

больше не танцует? Конечно, она сознательно никогда не представляла себе, что театр пустовал оттого, что она больше не танцевала, но ощущение недоумения и обиды всё-таки зыбко расплывалось в сумерке ложи.

На сцене шла Жизель, уже второй акт Жизели. Вера равнодушно и рассеянно скользит взглядом по зрителям. То, что происходило на сцене, не касалось ее. Не касалось и не интересовало. У нее больше не было никаких отношений с балетом. Она сидела здесь только оттого, что так захотел американец, что Штром велел ей исполнять желания американца.

Она перевела скучающий взгляд на сцену. «Скоро кончится, — подумала она с облегчением. Я скоро уйду отсюда. Скучно». Нет, это не была скука. Она только притворялась скучающей и рассеянной. Ей было больно. Она чувствовала, как неразрывно, как кровно она связана с прошлым.

...На сцене белели кресты и надгробные плиты, освещенные зеленоватой бутафорской луной, бумажные цветы шуршали таким восхитительным, таким знакомым шорохом. Всё было то же, всё было прежнее — как при ней. И музыка... Эта музыка... Даже мертвая, Вера услышала бы и узнала ее. Даже мертвая, она проснулась бы в гробу, услышав ее. Проснулась бы. И она, действительно, просыпается. Одна из могильных плит поднимается, и из гроба, из прошлого, из музыки, встает она Жизель — Вера. Она в узком бархатном корсаже и пышной белой юбочке, с по-детски причесанными волосами. Как тихо, как грустно под музыкой и под луной. Она танцует. Но разве этот восторг, это блаженство можно назвать танцем. Нет, это полет над землей и жизнью, это превращение в музыку, в лунный свет. Это — воскресение из мертвых...

Удар грома. Удар грома рукоплесканий. Небо, обрываясь, падает, отделяя Веру от крестов луны и музыки, от блаженства вдруг воскресшего прошлого. Нет,

это не небо, это упал занавес. Это просто упал театральный занавес.

Вера растерянно заморгала, еще не понимая что с ней случилось, уже догадываясь, что ничего не случилось.

— Вы тоже танцевали Жизель? — спросил американец наклоняясь к ней.

Она кивнула, изнемогая от волнения. Она еще не могла говорить, совсем, как, когда она, запыхавшись, выбегала со сцены, почти падая от усталости и счастья.

— Как вы, должно быть, чудно танцевали Жизель. Я смотрел на эту балерину и всё время представлял себе вас, вместо нее.

Она перевела дыхание.

— Это была моя первая большая роль.

— Как жаль, что я не увижу, как вы танцуете, — он помолчал немного. — Я бы очень хотел пройти за кулисы. Это возможно?

Конечно, отчего бы нет? Ведь за кулисы пойдет он, американец, племянник знаменитого сенатора, бывший журналист, с которым полагается быть любезным и предупредительным. Вернувшись в Америку, он, наверно, напишет и о своем посещении Государственного балета. И необходимо, чтобы он написал лестно. Вот если бы она одна вздумала пройти за кулисы... Но такого безрассудного желания у нее не могло явиться. Она слишком хорошо помнит, как ее выгнали отсюда. А как гид, как проводник американца — почему бы и нет? Милости просим.

Они вышли из ложи. И опять, как в ресторане, она почувствовала на себе взгляды толпившихся и гулявших по фойэ людей. Может быть, ее узнали. Нет, на нее смотрели оттого, что на ее спутнике единственный в театре смокинг.

— Осторожно, ступенька.

Капельдинер открыл перед ними узкую дверь. Теперь они шли, как по подводному царству, между громоздящимися коралловыми рифами декораций и свисавшими, как змеи, канатами. Вера вдохнула воздух, пахнувший краской, пылью и пудрой, восхитительный, навеки потерянный для нее воздух кулис.

— Я хотел бы взглянуть на вашу уборную, — объяснил американец свое желание побывать за кулисами.

У нее давно не было никакой уборной. Но об этом пусть ему скажет директор. Пусть выпутывается, как знает.

Она толкнула последнюю дверь.

Нет, балет был не там, на сцене, балет не то, что они только что смотрели. То было другое, тому она не знала имени. Балет был здесь, за кулисами, и начался он сейчас же, как только они с американцем перешагнули порог.

Конечно, здесь уже были предупреждены и их ждали. Со всех сторон к ним слетались розовые балерины, группами и парами, грациозно простирая объятия, будто в заранее срепетированном движении. И вот, в сольном номере выскочила Зиночка Кранц, а все остальные расступились, давая ей место для выражения радости встречи. Ведь Зиночка считалась лучшей подругой Веры Назимовой еще в школе, и она, понятно, не могла ограничиться пируэтом и поцелуем воздуха. Она высоко подняла свои худые набеленные руки и обвила их вокруг Вериной шеи. Вера слегка отшатнулась, и накрашенные губы Зиночки оставили малиновый след на Верином подбородке. Зиночка Кранц ликовала и праздновала радость возвращения Веры, а кругом воздушным розовым облаком наплывал кордебалет.

Вдруг, по диагонали, прорезывая колышащееся розовое облако, слегка подпрыгивая от спешки, прокатилась серая овальная фигура директора и встала перед Верой.

— Солнышко. Божественная, спасибо, что вспомнили нас.

Балет продолжался. Директор отвесил низкий поклон Вере и, отскочив на шаг, такой же поклон американцу. Конечно, Штром предупредил его, и он уже знал, что это важный гость. Он потряс руку американца.

— Переведите ему, что вы — наша слава, — и, не дожидаясь, постарался сам объяснить, указывая широким жестом на Веру — notre gloire — voilà! Может быть, его шампанским угостить?

— Он хочет посмотреть мою уборную, вернее, то, что когда-то было моей уборной.

— Но ведь она и сейчас ваша. Ждет вас, как и мы все. Только временно, за недостатком места, ею пользуется Петровская, — волновался директор.

В ее прежней уборной всё было переделано и даже мебель переменена. Вера насмешливо прищурилась.

— Действительно, всё, как при мне.

Петровская встретила ее с той же притворной радостью — Верочка еще красивее стала! И до чего шикарна! И он. Какой интересный. Познакомь меня. Теперь по всей Москве хвастать буду, что с важным иностранцем за руку здоровалась. И еще в двубортном смокинге.

Но американца не интересовали ни балерины, ни директор. Он деловито осмотрел уборную, будто вымерил ее всю взглядом, потом пощупал венки на стенах, осмотрел фотографии.

— Какой интересный, — шептала Петровская. — И сразу видно, влюблен в тебя по уши. Я завидую тебе, Верочка.

— Завидуешь? — Вера удивленно взглянула на нее. На загримированном лице Петровской сияла та самая улыбка бессмысленного восторга, с которой она проделывала свои самые трудные па на сцене, но в подведенных глазах мелькало что-то искреннее, неподдельное. И это была зависть.

Нет, Вера ошиблась. Нет, это не могла быть зависть. Нет, ей только показалось. Она оглянулась на остальных, живописно столпившихся в дверях, на их нагримированные, искусственно и восторженно улыбающиеся лица, на их подведенные глаза, в которых пряталась та же зависть, что и в глазах Петровской.

Завидуют ей. Но разве это возможно? Разве они не понимают? Разве не знают, что в Москве никто, кроме сотрудников НКВД, не посмеет показываться с иностранцем?

И всё-таки, единственное настоящее в этом балете, изображающем радостную встречу, была зависть.

Вера взяла американца под руку.

— Сейчас антракт кончится. Ну, веселитесь девочки.

Один небрежный кивок им всем и директору, и вот она уже шла обратно, уводя американца.

Розовое облако потянулось за ними по коридору, хор звонких голосов пропел прощальные слова. Вера не обернулась и ничего не сказала в ответ.

Они снова шли по фойэ. Вот она и побывала в «Потерянном Раю». Лучше бы не бывать. Разве лучше? Она не знала. Она не могла разобраться в себе и в своих чувствах. Всё было так спутано, так противоречиво. Только одно было бесспорно — она испытывала удовольствие.

Но откуда могло взяться удовольствие? Ей было отвратительно, ей было стыдно. Она шла, опустив голову, соображая, откуда могло взяться удовольствие. И вдруг поняла. Удовольствие возникло из зависти. Из зависти, с которой все эти подлые твари смотрели на нее. Да, несмотря на всё ее горе, на всю грязь, в которой она барахтается, — ей завидовали.

— Вы знаете, как дрессируют кроликов? — спросила она неожиданно для себя. — Кролик — самый трус-

ливый зверек на свете. Ему стараются внушить, что он не самый слабый, что и его кто-то боится. И если кролик поверит...

Она оборвала. Что за чепуха? При чем тут дрессировка кроликов? Он подумает, что она заговаривается.

Американец наклонился к ней.

— Как очаровательно вы улыбаетесь.

Разве она улыбалась? Она не чувствовала, что улыбается. От удивления она остановилась и подняла голову.

Прямо перед ней, на белой стене фойэ висел ее портрет. Большой портрет Веры Назимовой. Той прежней Веры Назимовой — до катастрофы. Во весь рост, улыбающаяся, с поднятой головой. В пышном тюлевом платье, с розами на груди. Но разве был такой портрет? Кто и когда нарисовал его? И как он мог попасть сюда, в фойэ театра?

Она не помнила, не помнила. Она, не отрываясь, смотрела на портрет. Фон портрета вдруг зашевелился и ожил, и на портрете, над улыбающимся лицом прежней, прелестной Веры Назимовой показалась голова американца.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Телефон загудел. Вера сняла трубку.

— Это вы, Рональд?

— Так он для вас уже Рональд. Нет, красавица моя, это только я, Штром. Слушайте внимательно. Во-первых, поздравляю, вы выше похвал, а во-вторых, хорошенького понемножку. Пора и честь знать нашему иностранному гостю. Не такое нынче время. Говорил он вам, когда уезжает?

— Нет, не говорил.

— Тогда вам самой придется намекнуть ему. Придумайте что-нибудь, ну, что уезжаете в Крым, сядьте даже в крымский экспресс. Или что хотите. Только, чтобы завтра его духа в Москве не было. Понятно? Будет исполнено? А?

— Постараюсь. Хотя что же я могу...

— Ну, можете вы многое. Вы молодец. Так я на вас рассчитываю. Пусть катится шариком, шариком. Сегодня последний день. До скорого, до приятного... Пока...

Вера повесила трубку.

— Сегодня последний день, — повторила она, подняла руки, зажав ими уши, чтобы не слышать. Но слышать было нечего, всё было тихо. И ведь это не Штром, а она сама сказала здесь в комнате — сегодня последний день.

Она опустила руки, оглянулась и прислушалась. Так, должно быть, чувствует себя лунатик, которого внезапно разбудят, — подумала она. — Нет, не на краю крыши, а когда он бродит по залитой луной спальне, и ему не грозит опасность упасть с крыши и сломать себе шею. Но как больно, как тяжело очнуться. Сегодня последний день. Конец, — повторила она.

Конец лунатическому состоянию, в котором она так безрассудно-смело балансировала над прошлым, проходила у самого края готового поглотить ее будущего, не отдавая себе отчета в опасности, не замечая ее, забыв об ужасах прошлого, не думая об ужасах будущего. Сегодня последний день. А сколько их было всего, этих дней? Теперь, когда она очнулась, она с удивлением поняла, что их было только три. Неужели только три. Ей казалось, что со знакомства с Рональдом прошли недели, месяцы, годы, а на самом деле прошло только три дня. Понятие о времени было так же относительно, как понятие о правде и справедливости.

Рональд знаком с ней лишь три дня — и он, наверное, сознавал, что их именно три. А для нее это было — три дня и кусочек вечности. И этот кусочек вечности нельзя было измерить. Но вот она очнулась и подсчитала — три дня и никакого присутствия вечности. Три дня, которые она провела, как лунатик, гуляя по краю крыши, высоко над горем прошлого, далеко от горя будущего. И нельзя было больше лукавить с собой. Было совершенно ясно, что она влюблена в Рональда.

А как насчет разлуки,
Насчет душевной муки,
Насчет измены как?

прожужжала издевательски на окне большая зеленая муха. Эти строчки Вера слышала когда-то на концерте, она забыла, кто был автор. И не всё ли равно? Но

сейчас вопрос был поставлен ей. А как насчет разлуки? Только измены, ведь не было. И в жужжании мухи сейчас же слово «измена» подменилось словом «обман».

Насчет обмана как?..

Теперь вопрос требовал ответа. Муха на окне жужжала всё настойчивее.

Вера, уже одетая и причесанная, легла на постель и уткнулась в подушки лицом. Она не плакала, она ни о чем не думала. Она лежала неподвижно, тепло, ровно дыша в подушку.

Телефон снова загудел. На этот раз это был Рональд и он уже ждал ее в холле. Нетерпеливо ждал, у лифта. Здороваясь с ней, он с недоумением взглянул ей в лицо, будто стараясь понять, в чем перемена, происшедшая в ней за ночь.

— Что случилось?

Она покачала головой.

— Ровно ничего.

— Но у вас такой усталый, грустный вид. Пожалуйста, не грустите. Улыбнитесь скорее. Я совершенно не могу переносить вашей грусти. Мне необходимо сейчас же утешить вас, защитить от грусти.

Он взял ее под руку, и они пошли к выходу.

Утешить, защитить ее? Нет, это невозможно. Никто не может ни утешить, ни защитить ее. Даже он.

Она отвернулась, чтобы он не видел ее лица.

— Я, действительно, немного устала. Я всё утро укладывалась. Я завтра еду в Крым.

Она чувствовала сквозь рукав пальцы, сжавшие ее локоть. Нет, лучше этого не замечать, и она спокойно объяснила.

— Я получила телеграмму из санатория. Освободи-

лась комната, и я должна занять ее не позже, чем послезавтра. Иначе придется ждать еще три недели в этом московском пекле.

— Но разве вы не можете поселиться в отеле или на частной даче?

— Нельзя. Никто комнат не сдает.

Это была неправда, но ведь он не знал, не мог проверить.

— Какие дикие порядки! — он казался возмущенным. — И неужели вы им подчиняетесь?

Она пожала плечами.

— А вы разве не заметили, что в России, как в греческой трагедии, люди не столько действуют сами, по своему желанию, сколько подчиняются? Исполняют волю рока или, по-нашему, необходимости.

— Но ведь в трагедии герой непременно обречен на гибель.

«Конечно. И мы, русские, все это сознаем и ждем гибели», — хотелось ей ответить. Но она сказала:

— Тут сходство останавливается. Если не считать вообще жизнь любого человека любой страны трагедией, оттого что она непременно кончается смертью — гибелью. — А вы когда уезжаете? — спросила она.

— Уезжаю?.. — Она видела, что ее вопрос удивил его. — Это будет зависеть...

Она не решилась спросить: «Зависеть от чего?». Она знала, что он ответит «от вас». Но ведь от нее уже давно ничего не зависело. Даже ее собственные слова.

— Красиво в Крыму? — спросил он. Она растерянно заморгала. Она не помнила, не знала, она совсем забыла. Прежде, когда она бывала в Крыму с Андреем, ей казалось, что красиво. Но ведь это сейчас не имело никакого значения для них. Ни он, ни она никогда не

поедут в Крым, так зачем же заниматься обсуждением его красоты.

— Очень, — сказала она рассеянно и добавила, вздохнув: — Душно, верно гроза будет.

За завтраком Вера много пила и мало ела. Душевное равновесие ее было нарушено, и она никак не могла его восстановить. Вино не помогало. От вина становилось только еще грустнее, еще безнадежнее. Последний день. И как он быстро проходит, как быстро, как бестолково, как томительно, в пустых словах, в мелькании лакеев от столика к столику по красному ресторанному ковру. Ей хотелось плакать. Но ведь она так редко плакала. Даже тогда, два года тому назад, она не плакала. Она сжала руки под скатертью и стала смотреть на потолок, мешая слезам.

— О чем вы думаете? — спросил он.

О чем? О том, чтобы не заплакать, о том, что она несчастна. Еще несчастнее, чем до встречи с ним, о том, что она влюблена, и вот уже пришла разлука, и вот уже пришел конец.

— Я ни о чем не думаю. Я просто грущу без причины. И это меня сердит. Я ненавижу себя.

Да, это была правда, она ненавидела себя. Как хорошо, что он ничего не знает о ней и никогда не узнает, что она превратится для него в прелестное московское воспоминание. «Она знаменитая балерина, — будет рассказывать о ней, — она четыре дня была моим гидом».

Ей хотелось попросить кого-нибудь о помощи. Но кого? Не Бога же? Она давно перестала молиться Богу. И Бог всё-равно не услышит молитвы предательницы. Разве Иуда мог молиться, мог рассчитывать на помощь Бога? Иуда был ее духовным предком, ее единомышленником. Тридцать серебрянников. Она не получила даже и тридцати серебрянников Но, ведь, и ему они не пошли в пользу.

Она вздохнула.

— Я так нервна сегодня. Всё меня раздражает.

Он кивнул.

— Это гроза. Женщины и кошки чувствуют приближение грозы.

— Я так несносно впечатлительна. Я чувствую даже облако, пролетающее сейчас над крышей, — она вздохнула. — Ах, мне очень тяжело. Очень!

Этот глупый разговор, эта притворная чувствительность, это облако, которое она будто бы чувствует. Всё это было совсем не то, что ей хотелось и следовало ему сказать. Но она не знала, что именно она хотела, что именно следовало ему сказать.

— Так когда же вы уезжаете? — снова докучливо спросила она. — Я — завтра утром. И это последний день нашей дружбы.

Он покачал головой.

— Нет, мне не кажется, что последний. Непохоже как-то, чтобы последний.

— Отчего непохоже? И разве бывает похоже? Всё всегда непохоже. Всё всегда бывает иначе. Я уже давно заметила.

— Нет, — он снова покачал головой, — по-моему, как представляешь себе, так всё и случается. Всегда.

— Хотите, поедемте покататься после завтрака? — предложила она.

Он, конечно, хотел. Немногие дни знакомства они катались после завтрака, и это уже стало привычкой. Не менять же привычек в последний день?

Ей снова хотелось понять, что именно ей следовало сказать ему, но понять нельзя было ничего. Она выпила чашку кофе. Волнение увеличилось, сердце застучало быстрее, и мысли стали путаться, перебивая друг друга. Но куда спешить! Куда? Впереди ведь только конец.

Она поставила локти на стол, уперлась ногами в покрытый красным бобриком пол. Нет, она не желает спешить. Это последний день. Пусть он проходит медленно, грустно и торжественно. Ничего, если ему, Рональду, будет немного скучно. Теперь это уже не имеет значения. Теперь уже ничего не имеет значения.

Но ему не было скучно. Он смотрел на нее, и лицо его выражало живое, напряженное внимание, будто то, что он сейчас видел, непременно надо было запомнить навсегда. Они пили кофе и молчали. Ведь он не был русским, его не тяготило молчание.

Я влюблена в него, — думала она. — Он еще здесь. Он сидит здесь, рядом со мной, со своей невероятной честностью, доверчивостью и нежеланием знать зло. Он представитель свободной, счастливой страны, где в тюрьмы попадают одни преступники, где люди вольны жить и делать, что им хочется, а не дрожать в вечном страхе за свою жизнь. Я еще могу поднять глаза и посмотреть на него. Но я не смею. Я смотрю вниз — на пятно на скатерти. Даже не на окружающих. На пятно. Пятен очень много на обоях комнаты на Басманной, в которую я завтра вернусь. Пятен очень много в жизни, в которую я завтра вернусь. Самых обыкновенных пятен грязи...

Она закурила папиросу. Ей не хотелось вставать, но и сидеть здесь бессмысленно и бесцельно ей тоже не хотелось.

Она взяла перчатки. Новые перчатки, надетые утром в первый раз. Завтра их придется все вернуть на Лубянку. Те, что она носила, и те, что еще не успела надеть.

Он сейчас же встал и помог отодвинуть ее кресло. Она продела сумку через плечо. Когда я буду потом вспоминать Рональда, — подумала она, — я буду, наверно, ясно представлять себе его лицо, гораздо яснее,

чем сейчас, когда я могу еще смотреть на него. Если даже я посмотрю на него сейчас, я увижу свое отчаяние, свою влюбленность, а не его лицо. Но она смотрела в сторону, она не решалась встретиться с его взглядом. Она только чувствовала его взгляд на себе, и это было тяжело. Но завтра, когда он больше не будет смотреть на нее, ей будет еще тяжелее. Лучше не думать о том, что будет завтра, и она пошла вперед к выходу ресторана, к тупику будущего, к концу, к отсутствию будущего. Будущего больше нет и не будет. Только настоящее. Последний, сегодняшний день, но и он так быстро, на глазах, отцветал, съеживался и блек. Совсем маленький лоскуток, лепесток жизни, только несколько часов. И даже ими не удастся воспользоваться из страха перед тем, что завтра уже ничего не будет.

Они снова сидели в автомобиле, и автомобиль снова катился. Всё снова двигалось в пространстве и времени суетно и бестолково. Чувство невозможности остановить это движение было мучительно, как укол иголки в висок.

Она прижала руки ко лбу.

— У вас болит голова?

Разве это называется «болит голова»? Она кивнула на всякий случай. Ей было больно, очень больно.

— Посидите так, с закрытыми глазами, вам станет легче, — посоветовал он.

Она вздохнула и послушно закрыла глаза. Но легче не стало. Сухой, горячий ветер врывался в окно. Она чувствовала его на своих веках, в своих волосах. Она больше не слышала ни звона трамваев, ни гудков автомобилей. Они, должно быть, уже выехали из города. Ей было безразлично. Она не открывала глаз.

Удар грома раздался совсем неожиданно. Она вскрикнула и схватила Рональда за рукав.

— Не бойтесь, — он обнял ее за плечи. — Это ничего, это только гроза.

Он торопливо стал закрывать окно автомобиля.

По стеклу потекли потоки воды. Небо было почти черное, и всё-таки всё вокруг блестело и сверкало от яростного дождя. На шоссе сразу образовались лиловые озера, разлетавшиеся брызгами под колесами автомобиля. Всё казалось насквозь промокшим, размокшим, тающим, как сахар в воде. Дома и деревья потеряли четкие очертания, стали оседать, набухать, как губки, становиться прозрачными.

Сквозь занавес дождя одинокое дерево у дороги гнулось и шумело, то высоко вздымая к небу ветви, то склоняясь в земном поклоне. Ветер гнал несущиеся вскач разорванные облака. Всё вокруг было полно смятения и страха. Молния вдруг перечеркнула огненной ломающейся чертой весь этот мрачный пейзаж, будто навсегда зачеркивая и уничтожая его. Второй удар грома был еще сильнее первого. Автомобиль остановился, как если бы молния пришпилила его к месту.

— Не бойтесь, не бойтесь, — повторял Рональд. Он всё еще осторожно держал ее за плечи. Она отвернулась от окна и взглянула на него.

— Я не боюсь, — сказала она спокойно.

Это была правда. Она не боялась больше. Совсем не боялась. Впервые за два года она не чувствовала ни малейшего страха. Ни страха перед грозой, ни страха прошлого, ни страха будущего. Она была совсем спокойна. Ей было хорошо. Нет, она не принимала участия в трагическом смятении и переполохе природы. Чувство ясного покоя, неожиданно возникшее в ней в грохоте грома и сверкании молнии, удивляло ее. Ведь она с детства боялась грозы. Отчего же она так спокойна?

Его рука всё еще лежала на ее плече, защищая ее от страха, одиночества и тоски, наполняя ее легким, нежным покоем.

Дождь прекратился. Солнце засияло над мокрой землей. Вера, улыбаясь, смотрела на Рональда. Теперь она видела его. Ничто не мешало ей смотреть на него. Она видела его так близко, так ясно — его рот, его подбородок, его лоб. Она смотрела в его глаза, и глаза его вдруг стали прозрачными для нее. Она могла теперь просто, как сквозь чистое стекло, заглянуть в его мысли и чувства. Она не только понимала, она видела их. И это нисколько не удивляло ее.

Она молчала. Говорить не надо было. И без слов всё было понятно. Последний день. Нет, это не последний, а первый день.

— Голова прошла? — спросил он.

Она кивнула.

— Очень хорошо.

Это «очень хорошо» относилось и к ней, и к нему, и к мгновению, в котором они сейчас жили. К мгновению, вполне, до конца исчерпанному. За ним, за этим исчерпанным до дна мгновением, ей вдруг почудился просвет, превращающий «теперь» и «сейчас» в «навсегда». Это была полнота жизни, то, почти невозможное ощущение настоящего, длящегося сейчас мгновения, возникающее только от столкновения с таким горем или таким счастьем, к которому, несмотря на весь свой опыт, человеческая душа всё-таки не подготовлена. Вера уже пережила раз в жизни вот такое до конца исчерпанное мгновение. В тот день, когда Волков объяснил ей, что она предала мужа. Но сейчас она не узнала знакомых ощущений. Ей казалось, что она впервые чувствует эту длящуюся сейчас минуту, чувствует ее так ясно, так естественно и осязательно, будто держит ее в сжатой руке и видит, как она медленно, как снежинка, тает на ее ладони.

Они уже въезжали в Москву.

— Мне кажется, вам лучше всего отдохнуть, поле-

жать, чтобы мы могли вечером повеселиться как следует.

Она согласилась. Она согласилась бы решительно на всё, что бы он ни предложил ей. Ей совсем не было жаль, что она должна расстаться с ним до вечера. Разлука больше не пугала ее. В том состоянии воздушного покоя и радости, которое всё еще длилось, разлуки больше не существовало.

— Вы обещаете, что ляжете отдохнуть?

— Обещаю.

Они улыбнулись друг другу. Всё было ясно и просто. Он помог ей выйти из автомобиля, он довел ее до входа в ее отель.

— Решено, что вы завтра едете в Крым? — спросил он.

Она почувствовала, что краснеет. У нее больше не было сил лгать ему.

— Я еще не знаю. Там видно будет?

— Где там?

Она помахала рукой.

— Ну, там. Там, где мы сегодня ночью будем. Решим вместе. Или, может быть, я решу во сне.

Опять эти глупые, ничтожные слова, которые она употребляла, как щит для самозащиты.

— Лучше решим вместе, — сказал он. — Я не очень доверяю вашим снам. Мало ли какие у вас там могут найтись советники.

Она рассмеялась. Ведь он старался попасть ей в тон и быть остроумным.

Она вошла в крутящуюся стеклянную дверь. Она с удивлением чувствовала, как ей легко идти, каким нежным и податливым стал пол под ее счастливыми ногами. Таким, совсем таким бывал пол сцены, когда она выбегала на нее в сиянии прожекторов и музыки. Она отперла дверь и вошла к себе.

Окно осталось открытым и тюлевая занавеска надувалась, как парус. Вера вдруг увидела перед собой голубое море и белый парус на горизонте. Белый парус яхны, на которой плывут они с Рональдом.

Она сняла костюм и туфли и, откинув одеяло, бросилась в раскрытую постель, как в волны.

— Спать, спать. Сплю, — сказала она себе и сейчас же заснула.

Сон не разрушил чувств воздушного, нежного покоя, наполнявшего ее. Казалось, ничто уже никогда не сможет справиться с ним. Стоило ей прижать руку к груди, чтобы услышать совсем новый, легкий, счастливый стук своего сердца, такой ровный и спокойный, что она не могла не улыбаться. Прежде ей казалось, что радость и любовь всегда были связаны с волнением. Теперь она впервые поняла, что счастье — это покой.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

После обеда, после оперы, после долгого восхитительного вечера, они оказались здесь, в кабарэ, в подвале на Тверской. После восхитительного вечера, наступила восхитительная ночь. Всё было восхитительно, именно таким, как должно было быть. Таинственный, притушенный веселый свет освещал силуэты женщин и мужчин в другом конце узкого, затянутого коврами помещения. Казалось, они были посажены здесь только для украшения, для удовольствия глаз Веры и ее спутника, и сами по себе не существовали. Вера и Рональд были здесь одни, и это для них одних бегали и кланялись лакеи, рассыпался струнный оркестр, искрилось шампанское. Только для них. Всё остальное было обстановкой, украшением, фоном, на котором разворачивалось их счастье. Всё было только фоном, и музыка тоже. Она подымалась волной и снова падала, увлекая с собой Веру. Вера чувствовала, как она качается на звуках, и в памяти вновь возникла яхта, на которой они плыли — будут плыть по Тихому Океану. Ей захотелось рассказать Рональду о надувшейся парусом занавеске и о белой яхте, но она не знала, как. И разве надо рассказывать. Когда-нибудь, когда они, действительно, будут плыть вдвоем на белой яхте, она скажет ему, что уже видела в московской отельной комнате эту яхту и их вдвоем на ней, и даже этот синий шарф с белым якорем вокруг его шеи. Нет, конечно, Рональд

не удивится. Ничего удивительного нет, что она предугадала будущее. И сейчас, если она захочет, музыка поднимет угол завесы, отделяющей сегодня от завтра, и в ее звуках возникнет будущее Веры и Рональда, их восхитительное будущее. Но она не хочет. Пусть всё остается покрытым неизвестностью и музыкой, ведь всё равно ее будущее будет восхитительно, раз они навсегда вдвоем, и он увезет ее в свою счастливую страну, где не верят злу.

Теперь на эстраду толпой вышли цыгане, цыганки в пестрых шалях с блестящими серьгами, спускающимися вдоль щек, цыгане с гитарами. Они долго рассаживались, будто устраивались на ночлег табором поудобнее и побезопаснее, переговариваясь взволнованными гортанными выкриками. И, наконец, запели для них. Только для них с Рональдом. Цыганам не было дела до остальных ушей, слушающих их. Они пели для Веры, для Рональда. Как хорошо пели:

Время изменится
Всё переменится,
Сердце усталое
Счастье узнает вновь...

Ну да, конечно, конечно. Вера, улыбаясь, кивала. Это было именно то, что нужно. Обещание, подтверждение. Всё хорошо, и то ли еще будет. Шампанское обостряло зрение и слух, помогало еще яснее разбираться во всём, что происходило сейчас, и правильнее оценивать это невероятное, это великое, чудесное событие ее жизни. Когда-нибудь, через пять, через десять лет, она будет с недоумением спрашивать себя, как могло случиться, как могла она, опозоренная, нищая, всеми брошенная, опять стать невероятно счастливой? И всё это будет тогда казаться ей загадкой и тайной, и она никогда не перестанет удивляться своему чудесному превращению. Но всё это будет потом, а сейчас это таин-

ственное превращение кажется ей совсем естественным — иначе и быть не могло. Удивляться она будет потом, сейчас она только восхищалась. Как и он. Ведь он испытывает те же чувства, что и она. Ей захотелось, чтобы он взял ее руку, лежавшую на столе, и он сразу взял ее своей теплой рукой. Ей захотелось еще пить, и он уже наливал ей шампанское.

— Теперь нам надо серьезно поговорить, — он поставил бутылку обратно в никелированное ведро, и квадратики искусственного льда загремели мерзлыми голосками: «Да, да, да, надо».

Она взглянула на него. «Серьезно» не встревожило ее. Ведь всё было очень серьезно, восхитительно серьезно. Способность видеть его мысли и чувства насквозь не изменила ей. Она видела, что ничего, кроме добра, она не могла ждать от него и от их будущего.

— Нам надо решить вопрос, — продолжал он, — едем ли мы вместе в Крым или сразу домой, в Нью-Йорк?

Она даже не удивилась. Иначе и быть не могло. Она сидела тихо, не шевелясь, и слушала его.

— Правильнее было бы сразу ехать домой и из Нью-Йорка поехать на какой-нибудь морской курорт, но если ваше здоровье...

Она покачала головой.

— Мое здоровье — пустяки. Но, чтобы уехать, нужно разрешение, а его мне ни за что не дадут.

— Ну, жене американца вряд ли могут отказать в праве выезда. А мы завтра же повенчаемся в нашем посольстве. У вас бумаги в порядке?

Если назвать порядком, что в ее трудкниге написано «разведенная». Она кивнула.

— Да.

— И мы еще вернемся в Москву, говорил он.

Пение то заглушало, то заставляло звучать его голос, громче, будто он нырял среди светлых сугробов тишины.

— И тогда мы поедем в Крым. Я еще утром решил, что мы непременно должны вместе побывать в Крыму. И всюду, где проходило ваше детство.

Она ничего не сказала. Что он знал о ее детстве? Что он знал о ней? Нет, покой не был таким плотным и защищающим, он вдруг разорвался, как облако, и куски его уже неслись полосками дыма над ее папиросой, уже плыли где-то под потолком, уносимые цыганскими голосами. И эти цыганские голоса. Что они теперь пели? Ее сердце остановилось от тревожного недоумения:

Обидно, досадно до слез и до рыданья,
Что в жизни так поздно
Мы встретились с тобой.

Поздно. Разве? Разве слишком поздно? Ей не приходило в голову. Может быть, действительно, уже слишком поздно.

А он говорил:

— Ваше сказочное, трагическое детство. Всю его прелесть и весь ужас его вы никак не можете забыть. Но я постараюсь вылечить вас от воспоминаний.

«Прощай на вечную разлуку!» — пели цыгане. Для нее, для них. Она слушала голос Рональда, он говорил о ее лжи и сливался с отчаянными гортанными цыганскими рыданиями о разлуке, о прощании.

«Милый друг, мы с тобой не пара», — пели цыгане.

Это было невыносимо. Нет, она больше не могла слушать. Ей хотелось встать, уйти. Бежать, бежать. Она чувствовала, что не должна здесь больше оставаться, что ей надо бежать отсюда, спасаться.

— Уйдем, — сказала она растерянно. — Мне не нравится, как они поют.

Он сейчас же согласился и поднял руку, подзывая лакея. Но лакей не видел, и открывшаяся перед ней, как дверь, возможность спасения захлопнулась в горьком цыганском выкрике.

Нет, ему не хотелось уходить отсюда. Он, нагнув голову, взглянул на нее просительно и робко.

— В сущности, здесь очень приятно, и ведь еще очень рано. Или, вернее, совсем не поздно.

Для чего рано? Для чего поздно? Она растерянно мигала, соображая. Ведь цыгане пели: «Что в жизни так поздно»... Ах, действительно: «До слез до рыданья»... Ей вдруг захотелось плакать. Ей хотелось плакать, но она улыбалась. Она позволила уговорить себя. Она малодушно поддалась соблазну. Она осталась.

Вместо того, чтобы спросить счет, он заказал еще бутылку шампанского. Если бы не эта бутылка...

«Уходи, уходи», — звенели гитары. «Уходи». Но она уже не могла уйти. Она понимала, что не следует больше слушать цыган. Но она была захлопнута в мышеловке. Как это говорил Волков? Мышей на бумажку ловят. Нет, она путает, не мышей — лягушек. Ах, всё равно. Она, кажется пьяна.

Я просто устала, — уговаривала она себя. — Я слишком устала и я слишком счастлива. И я пьяна.

Она поставила локти на стол и оперлась подбородком о ладонь. Так она чувствовала опору своей тревоге. И ей стало легче.

Рональд говорил:

— Мы полетим на аэроплане. Иногда полеты бывают мучительны.

О, нет, для нее это будет, как полет в рай. О, скорей бы только улететь. Навсегда. Америка. Разве существует Америка, такая Америка, в которой Вера будет счастлива.

А он продолжал:

— Это очень странно. Вы — знаменитая балерина

и вы так красивы, а у меня, глядя на вас, сердце сжимается от жалости. Несмотря на двойной блеск вашей красоты и знаменитости, вы постоянно кажетесь мне маленькой девочкой, заблудившейся в лесу. Беленькой, почти прозрачной, пугливой девочкой, крестящей большие черные деревья, чтобы они не сделали ей зла. Мне постоянно хочется защитить вас от волков и разбойников в лесу, отвести вас домой, накупить вам игрушек и конфет. Я никак не могу забыть, что вы были таким несчастным ребенком.

— Разве я рассказывала вам о моем детстве?

Она не помнила, может быть, она и налгала ему какую-нибудь фантастическую историю.

— Нет. Но я знаю всё о вас. Оттого, что я люблю вас.

Логично. Может быть, такая упрощенная логика годится в Америке, но не здесь, в Москве.

— Что же вы знаете обо мне?

Нет, этого вопроса не следовало задавать. Он прозвучал, как вызов.

И он принял его, как вызов. Он тряхнул головой, и лицо его вдруг стало мальчишеским и отчаянно смелым.

— Всё знаю. Всё. Отвечайте, был ваш отец князь? Был он близок к царю? Воспитывала вас английская nurse? Расстреляли большевики ваших родителей. Остались вы одна на свете. И не было ли чудом, что вы, наконец, попали в балет. Ведь всё это правда. Отвечайте.

Отвечайте... Но он был так уверен в правоте своих слов, он так ликовал, так гордился своей проницательностью, что она могла бы просто вздохнуть и наклонить голову или улыбнуться и промолчать, и это было бы принято им за подтверждение.

— Ваше трагическое, волшебное детство...

«Молчи, молчи», — советовали гитары. Но как молчать? Разве можно молчать. Ведь он любит не ее, а

несуществующую маленькую княжну с расстрелянными папой и мамой. И всё только ложь и обман. Та же ложь и тот же обман. Она вдруг увидела перед собой огненную ломающуюся линию, перечеркивающую ее будущее. — Молния, — вспомнила она. Тогда, несколько часов назад, когда она смотрела на молнию из автомобиля, ей совсем не было страшно. Но сейчас она оцепенела от страха. От страха перед тем, что она сейчас сделает, не может не сделать.

Молчи, молчи... — Это не гитары, это стучит ее испуганное сердце. Молчи. Опять эта молния. В ее ослепляющем блеске она видела всё свое прошлое, всё прошлое, которое непременно надо было рассказать. Не когда-нибудь потом, а здесь и сейчас сознаться во всём до конца. Без этого будущее невозможно, оно будет зачеркнуто обманом и ложью.

В сознании единственное спасение. Она уже за завтраком смутно чувствовала, что надо сознаться. Всё рассказать, чтобы настало полное понимание, полная райская близость. Нет, нет, она ничего не скажет. Она под скатертью крепко сжала руки, крепко сжала колени — не скажу. Буду молчать. Она понимала, что сжимает свои руки и колени, но она больше не чувствовала их. Их не было, они исчезли. Она хотела держать свои губы крепко сжатыми. Но они, против ее воли, уже раскрывались, они уже произносили какие-то слова. Сквозь шум в ушах и стук сердца и цыганское пение она прислушалась к своему голосу.

— Это всё неправда. Мое детство не было ни трагичным, ни волшебным. Нет, мой отец не был князем. Он был обыкновенным доктором, даже не лейб-медиком. Петербургским доктором с большой практикой, но никакой роскоши у нас не было. Моя мама до замужества была учительницей английского языка, она со мной всегда говорила по-английски. После революции жить стало трудно, но никто не преследовал, не расстреливал

моего отца. Он погиб вместе с мамой в железнодорожном крушении. Тогда моя тетя отдала меня в балетную школу.

— Но ведь это в тысячу раз лучше. Ваш отец был доктором, как я, как мой отец? Я, конечно, мирился с вашим княжеским происхождением, но я, в сущности, терпеть не могу аристократов, — он рассмеялся. — Теперь, когда я знаю, кто вы на самом деле...

Она вздохнула и покачала головой.

— Нет, вы еще ничего не знаете обо мне.

— Самое главное я знаю. Остальное не так важно. Вы расскажете мне всё ваше прошлое, когда мы будем плыть на пароходе. Мы будем лежать на палубе и смотреть на океанский горизонт. У нас будет столько времени для рассказов о прошлом.

Цыганские гортанные рыдания снова потрясли ее совсем обессилевшее, совсем беззащитное сердце тоской по последней откровенности, последней икренности. — Осторожней, осторожней, — звенели гитары. — Ты рассказала то, что можно было. Ни слова больше. Молчи, молчи. Но гитары напрасно звенели, напрасно советовали молчать.

Рональд улыбался. Она взглянула ему в глаза и ей опять показалось, что она видит его всего насквозь, со всеми его мыслями, всей его любовью к ней. В нем не было ничего неясного, скрытого. Никогда еще ни с кем она не испытывала этого. Никто не умел отодвинуть заслонку, отделяющую его от остального мира и дать ей, Вере, заглянуть в себя, как это делал он.

Но необходимо, чтобы и он видел ее насквозь, чтобы он знал о ней всю правду. Сквозь ложь и обман он не видит ее, не может понять ее.

— Детство совсем не самое главное. Может быть, там у вас, в Европе, в Америке... А у нас в России самое главное горе. У нас человек начинается не с детства, а с горя.

Лицо его стало озадаченным.

— С горя? Разве у вас было горе? Вы так избалованы судьбой, вы — знаменитая балерина, — все вас обожают...

— Ложь, — перебила она. — Ложь и обман. Слушайте всё, всё...

Она, торопясь, боясь, что не поспеет рассказать ему всю правду, стала быстро говорить. Но выходило совсем не то и не так. Слова попадались приблизительные, неточные, фразы путались и обрывались. Она так ясно видела свое прошлое, но не умела, не могла его передать. Она думала только о том, чтобы рассказать всё как можно правдивее, без преувеличения и прикрас, не щадя, не жалея себя, не рисуясь — всю правду. Для того, чтобы раз навсегда освободиться от прошлого, уничтожить его. Вот, она признáется, и тогда настанет торжество правды и счастья. Но как тяжело, как стыдно признаваться.

Она сидела, глядя прямо перед собой на ковер на стене, но она не видела ни ковра, ни стены. Ее взгляд был устремлен внутрь, туда, в прошлое.

Подробности... Нет, их надо отбросить. Неважно, что ей было холодно в то утро, когда ее везли к Штрому, и она дрожала. Она и сейчас дрожит, ей и сейчас холодно. Но она не протягивает руку за накидкой. Она говорит. Без выражения, отрывчато, тихим голосом. будто не о себе, а рассказывает содержание пьесы, виденной на сцене когда-то.

Но он поймет, он всё поймет. Опять подробности, как невыносимо молчать, как трудно жить в перенаселенной квартире, как отвратительно, как тяжело мыть пол. Вонючая тряпка, грязная мыльная вода, не только свой пол, но и часть общего коридора. Нет, этого не стоит рассказывать, а вот это надо. Приход Волкова и как она узнала, что она предала Андрея. «В тот вечер я решила умереть. Но, ведь очень трудно убить себя.

Я не смогла, нехватило сил. Я осталась жить». И дальше о том, что она назвала «осталась жить». До звонка Штрома и приказала следить за американцем. Как ее наряжали в чужие тряпки, как ей подкарашивали и завивали волосы в парикмахерской, как Штром вез ее в «Метрополь» и как они там познакомились. Нет, о том, что Рональд сразу понравился ей не надо. Всё. Теперь всё. И совсем правдиво. Без прикрас и жалости к себе. Она вздохнула и ей показалось, что ее прошлое отлетело от нее вместе с этим вздохом. Она, не решаясь еще повернуться к нему, краем глаза взглянула на Рональда. Но разве это был Рональд? Разве это он сидел рядом с ней на ковровом диване? Она не узнала его. Он казался даже непохожим на Рональда. Она не понимала, в чем перемена, она чувствовала только — это не он. Сердце стукнуло и остановилось. Цыганское пение ворвалось во вдруг образовавшуюся тишину. Гитары всё так же звенели, но теперь они ничего не советовали, они рассыпались в отчаянно-веселом плясовом мотиве.

Она смотрела на него широго открытыми, непонимающими глазами. Он протянул руку и вынул из никелированного ведра бутылку, и квадратики искусственного льда снова зашептались мерзлыми голосками. Он наполнил ее стакан.

— Выпейте, — он улыбнулся уклончиво и прибавил. — Да. Очень интересно.

Интересно? Она ждала всё, что угодно. Только не это «очень интересно».

Она, не отрываясь, не мигая, глядела на него. Что случилось с ним? И вдруг поняла. Он замкнулся от нее. Она больше не может взглянуть внутрь его. Он захлопнул форточку, отделявшую его от остального мира. Он стал герметически-закупоренным сам в себе. И чрезвычайно, подчеркнуто вежливым. Вежливым и холодным. — Как он это сделал? — подумала она. Но разве

было важно узнать «как». Нет, важно не как, а «почему». Почему? Почему? Почему? Значит, он не понял?

Он вежливо пододвинул ей стакан. Он вежливо наклонил голову.

— Выпейте. А потом поедем. Теперь уже действительно, пора. Поздно.

И он, не дожидаясь ее согласия, поднял руку, подзывая лакея. Пока лакей подходил, он успел сказать что-то о цыганах. Но она не разобрала, не поняла, что именно, но слова «цыганское пение» мелькнули дважды. И, заплатив, он всё еще продолжал говорить, помогая ей встать с дивана, идя вместе с ней к выходу. Как будто не она, а он не переносил теперь молчания.

— Осторожно, тут ступенька, — он вежливо взял ее под руку, но это была не его рука, не его прежняя манера поддерживать ее под локоть, так нежно и заботливо, с такой скрытой готовностью вести и поддерживать ее всегда, всю жизнь. Он просто помогал женщине, с которой шел, не споткнуться. Эта женщина не была она, Вера, это была просто женщина, какая-то женщина, не имевшая с Верой ничего общего. Он был очень вежлив с этой женщиной, он занимал ее разговором. И в автомобиле то же. Вера не знала прежде, что он такой разговорчивый. Она не слушала. Она всё еще надеялась. Сумасшедшая надежда — вот они сядут в автомобиль, они окажутся одни, и он обнимет ее и будет молча целовать, как по дороге сюда. Но он отодвинулся в угол. Он даже смотрел не на нее, а в окно. Правда, он говорил что-то о московских ночах, о московских фонарях и домах, и это объясняло, почему он отвернулся к окну.

Вот он какой, — подумала она. — А я не знала. Я совсем не знала его. Ей казалось, что он наивный, откровенный, добрый, но вот, он сидел рядом с ней, холодный, скользкий, замкнутый на ключ. И чужой, до чего чужой. Даже в то утро, когда они познакомились,

он не казался ей таким непонятным и чужим. Тогда в его глазах было какое-то ласковое любопытство, и он так приветливо улыбался, подавая ей руку в первый раз. Неужели сейчас он подаст ей руку в последний раз?

Автомобиль остановился перед гостиницей. Он помог ей выйти.

— Может быть, вы зайдете на минутку ко мне?

Ведь он вчера долго просил ее об этом.

— Нет, спасибо. Очень поздно, и мы оба устали.

Он снял шляпу, чтобы проститься с ней.

Если стать перед ним на колени тут, на тротуаре?.. Нет, и тогда ничего не изменится. Он вежливо поможет ей встать, он не будет слушать, что она кричит, или, выслушав, пожелает ей «спокойной ночи».

Она протянула ему руку.

— Спокойной ночи, — сказала она охрипшим от тоски голосом и добавила: — Спасибо, — сама не понимая, за что благодарит его.

— Это я должен благодарить вас за прелестный вечер.

Он взял ее руку и вежливо потряс ее.

«В последний раз», — подумала она. Ночной ветер налетел из-за угла, край ее накидки поднялся, будто умоляя о спасении, и снова беспомощно повис.

— Холодно. Простудитесь.

Стеклянная дверь, сверкая отблеском уличных огней, расплывающихся перед ее глазами, полными слез, завертелась перед ней. Она вошла, не оборачиваясь. Он даже не сказал ей: «До завтра» или: «Я позвоню вам утром». И она не посмела спросить: «Когда мы увидимся?». Она знала, она поняла. Никогда. Никогда больше.

Она вошла в лифт, она отперла дверь ключом, она зажгла свет — всё, как всегда, как вчера, как позавчера, — будто ничего не случилось. Автоматичность жестов без всякого участия воли. Да, так было и в тот день, когда к ней пришел Волков — в самый страшный день

ее жизни. Тогда она долго лежала, и теперь она тоже легла. Как была, не раздеваясь.

Конец. И она сама, она одна виновата. Зачем она призналась ему. Ведь он не хотел. Он сказал: на пароходе у нас будет столько времени, чтобы вспомнить наше прошлое. И что-то про океанский горизонт. Но она не удержалась, она неудержимо неслась к гибели, к самоуничтожению. Ей нужна была последняя откровенность, полное слияние душ. «О, бедная, о, ничтожная тварь. Так тебе и надо, — проговорила она с яростью и подняла голову. — Ты могла спастись, но ты сама сделала всё, чтобы погибнуть. Оттого, что тебе втайне хотелось гибели, а не спасения. Нет, нет, я хотела спастись. Но я не хотела обмана. Чем же я виновата». Она тихо и зло рассмеялась. «Разве «это» могло случиться?». И тишина комнаты ответила: «Конечно, могло. Если бы ты не призналась ему, он женился бы на тебе завтра же, и ты навсегда была бы счастлива...».

Она вскочила с постели. Если могло, значит и сейчас еще может. Еще ничего не потеряно. Надо только объяснить ему, он не так понял. Она не сумела убедить его, не нашла нужных слов, она говорила слишком сдержанно и сухо. Сейчас она снова объяснит, расскажет ему всё. И он поймет.

Она сняла телефонную трубку и вызвала «Метрополь». Но говорить с ним ей не удалось. Телефонная барышня сонным голосом ответила, что № 45 просил не беспокоить его. Вера положила трубку. Значит, он догадался, что она могла, что она непременно позвонит ему. Значит, он понял ее гораздо лучше, чем она думала. Понял и всё-таки брезгливо отвернулся. Она вспомнила холодный, невидящий взгляд, с которым он поклонился ей на прощание. Куда девалась его нежность, его заботливость, его доброта? Она не могла понять его жестокости, его бесчеловечности. Ведь камень, даже камень растрогался бы и пожалел ее. Это оттого,

что он не верит в зло, — подумала она вдруг. — Не верит, не желает знать зла. А когда встречается со злом, отворачивается и быстро отходит в сторону. Он сразу отвернулся от нее — иначе и быть не могло. Может быть, он даже немного пожалел ее, но раз ее коснулось зло, раз она запачкана, изуродована злом, ей, конечно, не место рядом с ним. Неприятное воспоминание, отвратительное приключение, разочарование не только в ней, но и в Штроме, и во всей России, «Не напоминайте мне о СССР, это такая грязь, такой обман. Об этом просто вспоминать нельзя».

Она ходила взад и вперед по комнате, останавливаясь перед зеркалом и бессмысленно глядя на свое отражение, не видя себя, не думая о себе. Она подходила к окну и, отодвинув штору, долго смотрела на пустую улицу, на бледное рассветное небо с тусклыми звездами, такими же тусклыми, как фонари там, внизу, под ее окном. Она уже однажды ходила так мимо раскрытой постели, и в зеркале совсем так же отражалось ее нарядное платье, и она в такой же тоске и в таком же беспамятстве смотрела на улицу, на рассвет и блекнущие в нем фонари. Но тогда она ждала. Тогда она надеялась. Вот, вот к подъезду подъедет машина и из нее выйдет Андрей. Всё это уже раз было. Но тогда она надеялась. А теперь надеяться было не на что.

Она опустила штору и прошла перед зеркалом, не взглянув в него.

Надо лечь. Она стала раздеваться. Платье упало холмиком на ковер. Ах, всё равно. Пусть остается на полу. Теперь уже всё равно. Она легла и потушила свет. Она не думала о том, что произошло только что, она не думала о Рональде. Мысли путались. Всё было тяжело и непонятно. Беспокойство всё сильнее охватывало ее. Ей хотелось встать, убежать, спрятаться куда-то. Ей было страшно, она дрожала.

Она натянула одеяло на голову, как когда-то в дет-

стве. «Тоненькая, прозрачная, заблудившаяся в лесу девочка бродит в лесу и крестит деревья, чтобы они не сделали ей зла, чтобы ее не съел волк...». Кто и где говорил ей про тоненькую девочку. Ах да, это Рональд говорил. «Рональд, — прошептала она, — спасите меня. Увезите меня, не бросайте меня». Но ведь он не мог услышать. Ей показалось, что деревья леса вдруг столпились и образовали темную шуршащую стену. Ей хотелось понять, что это значит и нет ли в этом хотя бы намека на спасение, но она уже не могла думать. Черные, шуршащие деревья встали между ней и ее мыслями...

Она проснулась от стука. Это стучали в дверь. Вошла прислуга с букетом и письмом.

Вера взяла письмо. Прислуга наклонилась и подняла платье. Вера ждала, чтобы она ушла.

— Прикажете подать кофе?

— Нет. Я позвоню.

Вера осталась одна и только тогда разорвала конверт.

— Вот, — сказала она, прочитав. — Так и должно было быть. Уехал. Уе-хал, — повторила она нараспев и положила белый листок на цветы.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Через полчаса, так и не позвонив, чтобы ей подали кофе, она вышла из отеля и поехала на трамвае в Штрому на Лубянку. В трамвае она стояла на площадке, придерживая одной рукой шапочку, чтобы ее не снесло ветром, другой прижимая сумку, чтобы ее не отрезали, не украли. Как будто ей было не всё равно, слетит ли шапочка с ее головы и понесется по улице, как будто было важно, чтобы не украли сумку. По привычке, без участия воли. Ее воля не участвовала во всём том, что она сейчас делала. Ее воля. Но была ли у нее вообще воля? Разве с ней могло бы случиться всё, что случилось, если бы у нее была воля. Об этом думать сейчас было некогда. Она приняла решение, его надо было привести в исполнение. Ей казалось, что она приняла решение во сне, но это вряд ли было так. Она не знала. Но ей сейчас было безразлично знать, когда именно она решила вернуться к Андрею.

Она вошла, и Штром, сияя улыбкой и лысиной, встал ей навстречу и поклонился низко и театрально.

— Волшебница! Ничего подобного я не видел и, признаюсь, не ожидал. Даже от вас. — Он подвел ее к креслу и бережно усадил. — Недооценивал вас, каюсь, недооценивал. Какая филигранная работа, точность, чистота какая, — он стоял перед ней, почти удивленно глядя на нее. — Талант. Самородок. Ведь наш америка-

нец уже летит восвояси. Мне только что сообщили. Отбыл на аэроплане. По вашему желанию — раз, два и готово.

— Дайте папиросу, — Вера протянула руку к лежащему на письменном столе портсигару.

Штром щелкнул зажигалкой. Вера закурила. Штром не казался ей страшным, а только очень противным. И лампа больше не пугала ее.

— Я исполнила ваше приказание, — начала она решительно, — теперь вы должны...

— Просьбу, просьбу, — перебил он. — Какое я имею право приказывать вам? Да если бы и имел право...

Она махнула рукой.

— Оставьте. Просьба, приказание. Не в словах дело. Пусть, вашу просьбу. Вы обещали за это помочь мне.

— Обещал и готов с радостью, — он улыбнулся, и брови его зашевелились над засверкавшими льдистыми глазами. — Я уже придумал. Вам в награду...

— Нет! — она отмахнулась рукой. — Никаких наград. Просто отправьте меня к мужу.

Штром как будто поперхнулся.

— К кому? — переспросил он. — К какому такому мужу?

— К моему мужу. К Андрею Луганову.

— Вот что придумали! — он свистнул и развел руками. — Не ожидал. Никак не ожидал.

— Я решила, — твердо сказала она, стараясь казаться как можно спокойнее. — Я хочу уехать к нему и жить с ним.

— Но отчего же вы так вдруг решили?

Она устало вздохнула и пожала плечами.

— А вам не всё равно, отчего? Решила и всё тут. Отправьте меня скорее.

— Хорошо ли вы обдумали? И зачем вам? Теперь, когда перед вами открывается...

Она не слушала, она нетерпеливо перебила его.

— Я хотела бы еще сегодня уехать.

— Так вы серьезно? — брови его всё сильнее шевелились и поднимались. — Я думал, вы только интересничаете, цену себе набавляете. А если серьезно, то я вам на чистоту отвечу — нельзя! Нельзя вам к Луганову ехать. Нельзя, и благодарите вашего Бога, если вы в него верите, что раньше не уехали. Пропали бы вы с ним. Совсем.

— Мне всё равно. Я не боюсь. Пропаду и пусть. Я хочу быть с ним.

— Послушайте, не упрямьтесь. Вы ведь умница, поймите. Нельзя. Не сегодня — завтра война. Его в Соловки, в Нарымский край сошлют. Что же вы и туда за ним хотите?

Она кивнула.

— Хочу. Куда он, туда и я. Не уговаривайте. Я решила.

Он повернул лампу и свет ожег ее лицо.

— Бросьте ваши фокусы с лампой! — крикнула она.

— Вы в здравом уме? — Знаете ли вы, что такое Соловки и как там живут. Чепуху несете, красавица. Чепуху. Смешно.

Он засмеялся в доказательство, что ему, действительно, смешно и опустил рефлектор.

— Я хочу предложить вам хорошую службу. Поступайте к нам. Будете опять царить в балете и квартиру вам отличную предоставим, и всё, что только пожелаете — тряпки там всякие, меха, духи. Подучитесь здесь годик, а там — и за границу. С вашими способностями, с вашей внешностью — даешь Европу! Знаменитостью станете. А вы — к мужу. Умора, Ну, по рукам А?

Он протянул ей руку, широко улыбаясь, показывая свои крепкие, белые зубы.

Она брезгливо спрятала руки за спину.

— Я уже сказала вам. Отправьте меня к Луганову. Ищите себе других чекисток. На меня не рассчитывайте больше. Не дадите уехать, я к нему пешком пойду.

Он снова свистнул.

— Да куда же вы пойдете? Знаете вы, где он? — он прищурился и подмигнул. — И уверены ли вы, что вы вообще еще можете добраться до него, что он не попал в ликвидацию? Не уехал, так сказать, совсем. А?

Она вскочила.

— Его расстреляли? — крикнула она. — Расстреляли? — Она вцепилась в рукав Штрома и трясла его. — Расстреляли? Отвечайте.

Он смутился и отступил на шаг.

— Ничего не знаю. Но возможно, всё бывает. И нечего кричать. Успокойтесь!..

Но она не слушала. Она продолжала трясти его за рукав всё сильнее.

— Будьте вы прокляты! Будьте прокляты — вы, все вы! Что он вам сделал? Чем он виноват? И чем виновата я? За что нас погубили? Будьте вы все прокляты, прокляты! И весь ваш Советский Союз! Расстреляйте и меня! — кричала она.

Он разжал ее пальцы и толкнул ее обратно в кресло.

— Сидите тихонько, — приказал он шопотом. — Не кричать! Слышите? Тихонько! — Он взял ее за плечо. Она заметалась, стараясь сбросить его руку, крепко державшую ее.

— Не кричать! — отчеканил он, и она вдруг затихла и ослабела. Она смотрела в его бледное, жестокое, ненавистное ей лицо. Его светлые пустые глаза еще приблизились к ней.

— Успокойтесь! Вы ничего не говорили. Закройте глаза, дышите ровно. Так... Я ничего не слышал, не понял. Если бы вы при ком-нибудь другом... Но на ваше счастье и в соседней комнате сейчас никого нет. На этот раз сойдет вам с рук.

Он отпустил ее плечо и, отойдя за письменный стол, сел и закурил, отвернувшись от нее. Она осталась в кресле. Она тяжело переводила дыхание.

— Вот что, Вера Николаевна, — заговорил он снова весело. — Идите-ка себе домой и полежите до вечера. Отдохните, подумайте о моем предложении. Я понимаю — нервы. Все женщины более или менее истеричны. Опять же вам не мало пережить пришлось. Но всё-таки скандалить не следует, ни к чему это. Некрасиво и опасно. Впредь будьте осторожнее. А теперь забудем, мало ли что бывает? Так вот, подумайте хорошенько и позвоните мне вечером. Поедем вместе обедать, я вам за обедом и расскажу, в чем ваша работа заключаться будет. Легкая работа, интересная. Опять заживете знатно. Ну, и в балете моя поддержка. Никакие конкурентки не повредят. Опять в славу войдете. Пуще прежнего звездой засияете.

Он говорил совсем просто, объяснял, улыбался, курил, будто она уже согласилась и так же довольна, как и он, предстоящей «общей работой».

— А сейчас извините — дела. Так вечерком позвоните. Сейчас, по желанию, можете идти в Лоскутку или в свою прежнюю комнату вернуться. Завтра переселим вас на новую квартиру. Выберем хорошую. Первый сорт для вас. Ну, до приятного, до скорого...

Она встала. На минуту она заколебалась. А что, если бросить ему в голову тяжелую хрустальную чернильницу! «Промахнусь, — подумала она. — Только чернила разолью. Чернильное пятно на стене, как в каморке Лютера». Она видела фотографию каморки Лю-

тера и пятно на стене. Лютер бросал чернильницу в чорта. И тоже ни к чему. Не попал. Она повернулась и вышла. На лестнице она заметила, что держит перчатки в руке. Это удивило ее. Она помнила, что сняла перчатки и положила их рядом на ручку кресла. Даже перчатки не забыла, — подумала она, надевая их.

На лестнице. Но это была уже не лестница «Учреждения», а лестница дома на Басманной. И она не спускалась, а поднималась вверх. Как она добралась сюда? Ехала или шла? Этого она не помнила. Перед дверью она остановилась. Ключа в сумочке не было. Он остался в кармане ее старого платья. Она позвонила, морщась от этой новой неприятности. Ей показалось нелепым, что она, перенесшая столько, она, уже готовая ко всему, морщится от того, что сейчас услышит знакомый грубый окрик:

— Шляются тут! Ключи забывают! Нанимайте себе слуг, чтобы вам двери открывать!

Неужели в ней осталась еще способность чувствовать такую мелкую, такую ничтожную обиду?

Но никакого окрика не было. Лицо соседки, открывшей двери, было любезно, расплылось.

— А мы уже начали беспокоиться. Думали, что вы к нам совсем не вернетесь. Заждались вас, Вера Николавна.

Вера Николавна... Впервые ее здесь называют так, а не «эй, вы» или «послушайте, как вас там».

Вера, не отвечая, прошла мимо соседки в свою комнату. Комната была чисто прибрана, даже окна вымыты и пол натерт. Ее старое платье висело на вешалке, под ним стояли ее старые туфли, тут же на стуле лежало ее белье и чулки рядом с ее клеенчатой сумкой. Всё это было прислано из НКВД и соседи догадались. Вот чем объяснялось почтительное «Вера Николавна», и вымы-

тые окна, и натертый до блеска пол. Удивительно догадливые люди в Москве!

Вера пожала плечами. Ей было не до них. Она торопилась, она вздрагивала от нетерпения. Сейчас, сейчас! Она выдвинула ящик и стала искать. Она искала сулему. У ней была сулема. Двенадцать таблеток. Где же они? Неужели пропали? Она перерыла все свои старые блузки и рубашки. Что делать, если сулема пропала, если ее украли? Но тюбик с сулемой вдруг выпал из вороха белья и ударился о дно ящика. Она схватила его и высыпала себе на ладонь. «Сейчас, сейчас!» — повторяла она почти с восторгом и, подойдя к умывальнику, налила воду из графина в стакан. Вода была мутная. «Пятый день не меняли», — подумала она и вспомнила, что тогда, перед свадьбой она заболела тифом оттого, что, выбежав со сцены, выпила по ошибке протухшую воду. Но теперь ей тиф не был страшен, ведь она сейчас умрет. Тиф, как и горе, как и будущее, потерял над нею власть. Ей уже ничего не страшно. Но откуда-то, из уже несуществующего для нее настоящего вынырнула брезгливость. Не страшно, но противно. Противно пить протухшую воду.

Перед глазами появилась виденная ею когда-то очень давно на экране кинематографа капля разложившейся воды под микроскопом. Она, эта переливавшаяся светом огромная капля разложившейся воды, была переполнена разнообразными головастиками, пузатыми уродцами, борящимися и пожирающими друг друга. Они шевелили мохнатыми лапками, таращили выпуклые круглые глазища, открывали бездонные рты.

Судорога отвращения прошла по горлу Веры. Нет, их нельзя было проглотить. Нет, слишком противно. О том, как противно глотать сулему, она еще не успела подумать.

Она положила таблетки сулемы на стол и, взяв графин, торопливо пошла на кухню за свежей водой.

У плиты стояло несколько квартиранток. Та, что открыла Вере дверь, обратилась к ней, будто они были старые подруги.

— А у меня только что кофе вскипело. Приходите ко мне пить, Вера Николавна. Муж принес отличных булочек и ветчины. Милости прошу.

Вера наливала воду в графин. Она думала только о том, чтобы вода попала в горлышко графина.

— Так я вас буду ждать, — квартирантка тронула Веру за локоть. — Настоящее кофе со сливками.

Вера резко обернулась. Вода продолжала бежать в цинковую раковину.

— Убирайтесь к чорту! — крикнула Вера. — Слышите, к чорту!

Ей хотелось уничтожить, убить этих женщин. Она всё еще держала мокрый графин в руках. Она подняла его и, высоко взмахнув им, с размаху, как бомбу, бросила им под ноги.

— Будьте вы прокляты, все, все!

Но графин не разбился. Стекло было толстое. Вода, булькая, побежала из его горлышка, образовывая лужу на полу.

Вера повернулась, вбежала к себе и, захлопнув за собой дверь, бросилась на постель.

Она плакала, зарываясь головой в подушку, взвизгивая и хохоча.

Это продолжалось долго. В квартире было тихо. Кто-то осторожно, должно быть на носках, подходил к дверям, чьи-то голоса переговаривались шопотом за дверью.

— Валерьянки бы дать.

— Нет, пусть лучше выплачется. Это помогает. Валерьянки потом...

Пусть выплачется. Да, она выплакалась. Вся, без остатка. Она выплакала всё, что еще оставалось от сил, всю себя до последней капли. От нее больше ничего не оставалось, кроме этой пустой оболочки, этой шелухи, валявшейся здесь на постели. И всё-таки надо было снова пойти на кухню, поднять с полу графин, наполнить его водой. Вода необходима. Без воды никак не проглотить сулему. А с водой? А с водой разве можно проглотить?

Сейчас, сейчас, — уговаривала она себя. — Только полежу немного, отдохну и тогда принесу воды. Проглочу, непременно проглочу. Сил хватит, сил всегда больше, чем кажется.

Но она уже знала, что не сможет проглотить сулему. Она уже не верила себе. Умереть не удастся. Опять не удастся. Она так слаба, так боится боли. А ведь это больно. Ужасно, невероятно больно. Сулема. И ведь не сразу. А долго, нелепо долго. Пока всё внутри не сгорит, не распадется на куски. Сулема. Нет, нет...

Она встала и, нетвердо ступая, подошла к столу, взяла все таблетки сулемы и бросила их в ведро.

Не смогу проглотить. И никогда не смогу. — Она оглянулась на крюк на стене. — Повеситься?.. Нет. И повеситься не смогу, нет.

Она открыла окно и, держась за подоконник, чтобы не упасть, глубоко вздохнула. Теплый воздух наполнил ее грудь, и она почувствовала что-то отдаленно напоминающее радость. Живу. Всё-таки, несмотря ни на что, живу... Но разве мне хотелось жить? И отчего я не сознавала, что мне хочется жить? И только сейчас, избежав опасности смерти... Но разве была опасность смерти? Разве, если бы я не рассердилась, не бросила бы графин, я сумела бы отравиться? Действительно отравиться и умереть?

Она слабо покачала головой. Она не знала. И это

не было важным для нее теперь. Раз она осталась жить, надо было думать о жизни, а не о смерти. Но как думать? Голова была совсем пуста. Она выплакала все свои мысли, всю свою способность рассуждать. И о чем думать? О чем рассуждать? Не о чем, не о чем! Никакого другого выхода нет и быть не может. Или смерть, или...

Она вымыла руки и лицо, поправила волосы и попудрилась. А, может быть, я всё-таки убила себя, — подумала она, глядя в зеркало на свое бледное лицо. — Даже наверно убила. Только не помню, когда, — ночью, во сне, или когда я возвращалась от Штрома. И это уже новая, загробная жизнь. И в этой загробной жизни, как в той прежней, всё наоборот. Сначала было наказание, без всякой вины, без всякого преступления. Преступление начинается теперь. Она отбыла наказание и получила тем самым право на преступление. Иначе не было бы высшей справедливости. Иначе не было бы логики, пусть вывернутой наизнанку, как перчатка, но всё-таки всегда управляющей миром. Причины и следствия. Ничего, что следствие предшествовало и даже вызывало причину, что наказание было прежде, чем преступление. Главное, что они не могут существовать одно без другого: если было преступление, естественно должно быть наказание, и наказание тоже не может существовать без преступления. Одно вытекает из другого. Но как это непонятно и сложно. Она не могла уследить за своими мыслями. И разве это были ее мысли, а не чужие, по ошибке залетевшие и мечущиеся в ее опустошенной смертью голове? Обрывки, лоскутки чужих мыслей, совершенно ненужных ей. Для нее всё очень просто и ей совершенно ясно, что надо делать сейчас.

Вот она, та дорога, которую она так долго искала в своих воспоминаниях и не могла найти. Дорога, приведшая к горю, к наказанию. Она не могла найти ее, оттого что ее, этой дороги, вовсе не существовало в свет-

лом, легкомысленном прошлом. Она теперь впервые вступает на нее, на эту дорогу, ведущую не к наказанию, а от наказания. На дорогу преступления.

Она вышла в коридор, прошла в прихожую и взяла телефонную трубку. Не задумавшись, не колеблясь, она вызвала НКВД.

— Соедините меня с кабинетом товарища Штрома. Срочно. По служебному делу, — сказала она властно.

Радостный голос Штрома ответил:

— Дорогуша, вы? Вот умница. А я уже звонил директору балета. Он в восторге. Все там ждут вас. И квартиру уже нашел. Целых три, на ваш выбор.

— Когда можно их посмотреть?

— Когда хотите. Давайте, я заеду к вам часов в семь, вместе посмотрим, а потом пообедаем, вспрыснем наш союз. Отлично! Так до вечера. А вы всё-таки молодец! Я вами гордиться буду. Ведь это я вас открыл. Не забывайте этого никогда.

— Не безпокойтесь. У меня память хорошая. Кстати, пусть через час за мной сюда пришлют машину, — сказала она, будто у нее теперь было право приказывать. — До свиданья. Буду ждать вас в Лоскутке.

Она повесила трубку и обернулась. Дверь одной из комнат была неплотно затворена. Подслушивали. Вера подошла и постучала в дверь. Хозяйка комнаты сейчас же широко и гостеприимно распахнула ее.

— Входите, входите, Вера Николаевна. Мы вас ждем. Садитесь сюда, в кресло, здесь вам будет удобнее.

Вера взглянула на нее и на трех сидевших за накрытым столом квартиранток. Она небрежно кивнула им и сказала совсем новым для нее тоном:

— Вы, надеюсь, не обиделись. У меня нервы расстроились. Мне очень жаль...

— Ну, что вы, что вы, Вера Николаевна, — заторопились, перебивая друг друга квартирантки, будто они, а не Вера, должны были извиняться в чем-то. — Какие там обиды! Это так понятно, мы все нервны.

— А кофе, как насчет кофе? — хозяйка комнаты взяла со стола кофейник. — Я мигом подогрею.

Вера села в заботливо пододвинутое ей кресло. Кажется, она не успела выпить кофе утром. Как странно, что она чувствует голод, будто ничего не изменилось, будто она еще живая.

— Да я, пожалуй, выпью, — сказала она, сознавая, что осчастливила хозяйку комнаты, согласившись выпить у нее кофе.



ЧАСТЬ ПЯТАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Луганов взобрался на крыльцо и позвонил. Дверь открыл Федоров.

— Пожалуйте, — весело приветствовал он Луганова, — ждет.

Луганов отдал ему шляпу и, подойдя к зеркалу, провел рукой по своим только что подстриженным волосам и свеже выбритому подбородку. В тюрьме он отпустил бороду и потом так и остался бородатым. Борода была почти седая. Волосы он тоже отрастил, вернее — ему было лень ходить в парикмахерскую, он совершенно перестал следить за своей внешностью. И теперь он с радостным недоумением смотрел на себя.

— Значит, нынче в Москву, товарищ Луганов? Я вас и на вокзал отвезу.

— Да, в Москву, — с тем же радостным недоумением подтвердил Луганов и, не зная, что бы еще сказать, протянул шоферу портсигар. — Папиросочку.

— Охотно. Кто же откажется? — шофер осторожно взял папиросу своими толстыми, чисто вымытыми пальцами и заложил ее за левое ухо. — На досуге покурю. Спасибо, товарищ Луганов.

Луганов двинулся по коридору. Хотя он знал дорогу, шофер всё же пошел его провожать, видимо стараясь этим подчеркнуть свою симпатию к нему.

Луганов часто бывал у Волкова. Только вчера он был здесь. Неужели это было вчера, а не месяц, не год

тому назад? — подумал он, останавливаясь на пороге. И что случилось с этой комнатой?

Письменный стол, обыкновенно загроможденный папками с делами, был теперь накрыт пестрой скатертью и уставлен бутылками и закусками. Все лампы были зажжены, хотя было еще совсем светло, и в окне широко сиял летний закат. И это смешение электрического и солнечного света в густо, до синевы накуренном воздухе придавало комнате и всему в ней какую-то нереальность.

Волков сидел за столом. Он не встал навстречу Луганову, не протянул ему, как обычно, руку. Лицо его было повернуто в сторону Луганова, но выражение его Луганов не мог определить. Должно быть, от освещения, — подумал он. Будто он меня испугался.

— Что ты смотришь на меня, как на привидение? Ждал, ведь?

Волков весь дернулся, так что посуда зазвенела.

— Еще бы не ждал! Поджидая тебя, я тут... — он показал на рюмку. — Не узнал я тебя сразу, вот что. Генеральная стрижка. Одобряю. Ну, присаживайся, догоняй.

Луганов сел к столу.

— Не мог же я с бородой и длинной гривой в Москву ехать.

— Конечно. Патриархом седым к молодой жене. А так — хоть куда. Снял двадцать лет с плеч вместе с седой бородой. Даже жутко стало, действительно, привидение увидел. Привидение нашей молодости. Вчера стариком был, а сегодня — чем не жених? Крепкий ты человек, двужильный, — он налил ему водки. — Догоняй меня. А то разговаривать трудно. В разных планах. Ты — трезвый, а я, — он показал на полупустой графин.

Луганов внимательней присмотрелся к нему. Сочиняет, верно. Ведь он почти не пьет.

— И без того мы в разных планах, — Волков при-

двинул ему закуску. — Ты вот прыгать от радости готов, что едешь в Москву, а я... — он махнул рукой и вздохнул. — Тяжело мне. Мне сегодня многое тебе сказать надо, чтобы ты понял меня. Ну, за плавающих и путешествующих. За твой успех в новой жизни!

Они чокнулись и выпили.

— Многое мне тебе сказать надо, — повторил Волков. — Знаешь, у меня такое чувство, будто навсегда расстаемся, в последний раз видимся, — он дотронулся до рукава Луганова. — В самый последний раз на этой маленькой земле, а в загробности разные я ведь не верю. Странное у меня чувство. Будто конец, и совсем мало времени нам вместе быть осталось.

— Вздор. Ты, ведь, тоже не сегодня — завтра в Москву приедешь.

Но Волков, не слушая, продолжал:

— Хочется мне перед разлукой поисповедаться и чтобы ты меня простил.

— Простил? За что? Ведь я тебе всем обязан. Я тебе до самой смерти благодарен буду. Я...

— Знаю, знаю. И жене своей, и детям, если таковые народятся, завещаешь вечно Богу за меня молиться, — он засмеялся. — Только не ем я этого кушанья — благодарности. Не по вкусу мне. А вот если бы ты меня простил...

— Простить? Да за что же, Мишук?

Это «Мишук» прозвучало неожиданно для самого Луганова. Но сейчас, в том состоянии радостного возбуждения, в котором он находился с утра, самые неожиданные, забытые слова могли вдруг вынырнуть из памяти. Но Волков не обратил внимания, не слышал. Он, как всегда, слушал только самого себя.

— Подожди. Дай мне поисповедоваться. Потом увидишь, можешь ли простить. Только не умею я просто говорить. Говорю, сам знаю, как передовую статью пишут. Полными предложениями. С точками и точками с

запятыми. Ты ж потерпи. И слушай внимательно. Никому другому и никогда я этого сказать не смог бы. Только тебе и только сегодня. Так уж обстоятельства сошлись. Выпала нам с тобой такая минута.

Волков взъерошил свои стриженные под машинку волосы, одернул складки блузы и поправил ремень. «Приготовился к произнесению речи с трибуны, — подумал Луганов, замечая, что движения Волкова менее точны, чем обыкновенно. — Значит, не притворяется, значит, действительно, пил, ожидая».

— Ты ответь сначала, — Волков наклонился через стол. — Веришь ли ты в смерть? В свою смерть? Не отвлеченно, а по-настоящему. Не так, как толстовский Иван Ильич — «Кай смертен, значит» и так далее. Веришь ли ты, что ты умрешь? Думал ли ты о своей смерти?

Луганов поднял голову.

— Конечно. И не позже, чем сегодня ночью. Жалел, что не могу покончить с собой. — Он смущенно улыбнулся, — ну, ты сам знаешь. — Он запнулся. — Ты не смейся, пожалуйста. Я всю ночь мечтал, что умру и просил смерти. Сам я не могу теперь.. — он оборвал. — И видишь, не пришлось, не понадобилось. Теперь опять Кай смертен, но это меня не касается. Я живу. И это сделал ты!..

Волков затянулся и рассеянно сунул папиросу в сардинки. Масло зашипело.

— Так это я сделал, что ты сегодня не веришь больше в смерть? Ну что же? Очень рад. Хоть смерть тебя всё-таки касается, друг мой. Война. Сколько людей погибнет. Может и мы с тобой.

На лицо Луганова легла тень.

— Да, сколько русских людей через неделю будут убиты...

— Ну, мертвых не так-то уж жаль. Тем война и милосердна, что солдаты тоже думают, хотя и не этими

словами, что Кай смертен, но это их не касается. Да и что о них? О всех не напечалишься. Я не о них. Я о нас. О тебе и о себе. Надо иногда откровенно поговорить. Предельно, до конца откровенно.

Он снова налил себе и Луганову, чокнулся с ним и выпил.

— Ты вот наверно, думаешь, что я вообще слишком много ораторствую и тебя слушать заставляю? Правильно. Плохая привычка с молодости, с митингов. Но сейчас я иначе. Будто наедине со своей совестью. О чем? Да всё о том же, для чего жил. О России, о революции, о партии. Вот завтра начнется война. И всё во мне взбаламутилось, как в ведре с помоями. Всплыла на поверхность дохлая мышь, картофельная шелуха, всякая дрянь. А хочется всё рассмотреть, понять, что это, и зачем попало сюда в ведро.

Заведет опять волынку, — тоскливо подумал Луганов. Ему не хотелось сейчас слушать Волкова.

— Вот, — начал Волков и вытянул шею нервным движением. Включился в ораторский контакт — подумал Луганов. — Спросить его сейчас или лучше подождать, дать ему выговориться? Нет, лучше подождать.

А тот уже говорил:

— Я сегодня весь день провел один. Один в этой комнате. Я ходил взад и вперед и всё думал, думал. Было о чем подумать. Такой уж день выпал. Мне вдруг стало необходимо понять многое и себя самого. О себе ведь я никогда не думал и о других тоже. Живых людей как-то не замечал, жил среди идей и идеями. А тут вот захотелось многое понять. Я сегодня перевспоминал всю свою жизнь и всех людей, с которыми меня жизнь столкнула. Разные это были люди, до чего разные! И разное они говорили. Все их слова вспомнил — память ведь у меня так и осталась великолепной. Всё вспомнил: и слова, и слезы. Слез было много, часто приходилось

видеть слезы. Вот смеха, улыбок совсем мало. Мало у нас на Руси смеются, а улыбаются и того меньше. Неулыбчивый мы народ. И смеемся чаще всего издевательски, злорадно, оскорбительно. Или это в моем присутствии у людей приходит охота весело смеяться? Так вот я вспоминал, вспоминал весь день. Думал о том, что навсегда отказался от своей человеческой личности, что беспрекословное, нерассуждающее повиновение стало моим нравственным законом. Я всегда гордился, что действовал искренно, без сделок с совестью. А вот сегодня... Сегодня.

Он нетерпеливо одернул складки блузы.

— Заговариваться начал — выпил много. Так вот. Я о русском народе думал, о том, правильно ли я судил о нем. Знаю ли я русский народ? В молодости мы боготворили народ. Народ был всегда и во всём прав. Ни в одной литературе мира — сам знаешь — нет такой идеализации народа, как в нашей. Мужик и мудр, и свят, и невинный страдалец. И мы шли в народ, мы шли в революцию жертвовать собой ради блага народа. Революция, сделанная во имя народа и при его народной помощи, потому что, покуда революция позволяла жечь, грабить, насиловать и разрушать, народ был за нас, эта самая революция рассеяла иллюзии кающихся дворян и развенчала мужика, разбив легенду о его святости и мудрости. Наша ставка ни мировой пролетариат была реальная и жестокая ставка. Народ в наших глазах одновременно стал и средством для осуществления великой цели, и препятствием на ее пути. Средством были его выносливость, его привычка подчиняться палке, его бесчисленность, делавшая неисчерпаемыми наши человеческие запасы. Препятствием были как раз те народные свойства, за которые мы в молодости народ боготворили — косность и упрямство, казавшиеся нам когда-то мудростью и святостью. Партия с этой мудростью и святостью боролась всеми доступны-

ми средствами, а — сам знаешь — средства у нас неограниченные. Производили всевозможные опыты над народом, как в лаборатории над морскими свинками. Резали по живому мясу, ломали и снова сращивали кости. Наблюдали, прирастет ли отрезанная нога к подбородку. Опыты, что и говорить, мучительные. Вот я сегодня вспоминал, как и я производил эти опыты. И напрасно! Лучше бы не вспоминать. Ужас, первозданный хаос ужаса, и при том — российская неразбериха. Лучше бы не вспоминать — понять всё-равно ничего нельзя. Ведь даже заслуженные, видавшие виды партийцы, ужаснувшись зверствами коллективизации, бросились к Великому Человеку с криком: «Нельзя так! Нельзя!». Но Великий Человек спокойно ответил своим знаменитым ответом: «Эх вы! Тараканов испугались!». И опыты продолжались. Был у меня один помощник. Удивительно милый, совсем еще молодой. Убежденный коммунист, но несогласный с методами партии. Тогда в начале, это еще допускалось. Надо лаской, любовью убеждать надо. Послали его на хлебозаготовки. Охраны с собой не взял. Нагрузил купэ мануфактурой, табаком, — вот, говорит, мои пулеметы. Увидите результаты. И увидели. Был я на его похоронах несколько дней спустя. Хоронили его без золотых зубов.

Вот весь день думал, а лучше бы не думать. Тошно мне от дум, от воспоминаний. Кутерьма в голове. Ставлю себе вопрос и боюсь найти ответ. Весь день промучился. Весь день кровь, стоны, слезы вспоминал. Ужас, бессмыслица!

Он шумно отодвинул стул, шумно встал и подошел к окну, за которым торжественно догорал закат. Луганов смотрел на его спину и напряженно думал. Но совсем не о том, о чем ораторствовал Волков. Ему действительно хотелось задать Волкову вопрос. Его весь день смутно преследовало воспоминание о подписи на одном из листов его дела. Чей это почерк? Ему уже

вчера показалось, что почерк очень знакомый — но чей? Женский почерк, кажется. Сейчас, после третьей рюмки водки, ему показалось, что он знает, чей это почерк. Сердце его стало тяжелым, и он почувствовал боль в груди.

— Послушай, — начал он. — Скажи мне. Я хочу тебя спросить...

Волков резко повернулся.

— Что? — почти крикнул он. — Спрашивай! Я на всё отвечу.

Красный свет заката, как пожар, освещал его лицо. И Луганову снова показалось, что Волков боится его. Но ему некогда было останавливаться на этом странном ощущении.

— Послушай, — начал он, и голос его задрожал, теперь и ему стало страшно. Сейчас, сейчас он узнает. Может быть, чудо воскрешения только обман, и он сейчас упадет в первозданный хаос ужаса, о котором только что говорил Волков. — Я хотел спросить совсем о другом. Вчера ты мне дело показывал. И там одна подпись... Покажи, пожалуйста.

Волков смотрел на него шалыми, пьяными глазами, будто не понимал, о чем он просит. Веки его вдруг замигали, и лицо на минуту снова стало спокойным и властным.

— Зачем? — спросил он совсем другим, деловитым тоном. — Друзьям своим мстить хочешь?

— Ах, нет, какая месть. Но там одна подпись... женская... — он открыл рот, как рыба на песке, и перевел дыхание. — Кажется, знакомая, — боль в груди настолько увеличилась, что он прижал руку к сердцу. — Покажи...

— Женская? — переспросил Волков удивленно, и брови его сдвинулись. — Женской не было. Почудилось тебе. Никакая твоя поклонница на тебя не доносила. Только твои друзья-братья.

— Но как же?.. Ведь я сам видел.

— Почудилось тебе. Никакой женщины среди доносчиков не было. Я то, ведь, не раз и не два читал их. Впрочем, посмотрим вместе. Проверим.

Он подошел к шкафу и открыл его. Шкаф был пуст.

— А, чорт! — Он раздраженно захлопнул дверцы шкафа. — Вывезли уже все дела. Если хочешь, я тебе папку с доносами в Москву пришлю. Можешь сохранить себе на память. Ведь теперь дело о писателе Луганове кончено.

Луганов покачал головой.

— Не надо. Раз ты помнишь, что, кроме трех доносов... Может быть, мне и правда показалось. Раз ты уверен...

— Еще бы не уверен. Будь спокоен, ни поклонница, ни бывшая любовница, ни даже одна из твоих секретарш не приложила руки к этому. Нет, — он налил еще по рюмке себе и Луганову. — Нет, женщины здесь ни при чем. Ну, выпьем за милых женщин! И за самую милую из них — твою жену.

Луганов почувствовал какое-то пасхально-светлое умиление.

— Да, да, за Веру! Спасибо, что вспомнил о ней сейчас. За Веру, — ему показалось, что тем, что они сейчас пьют за ее здоровье, заглаживается его, пусть только минутное, но всё же жуткое сомнение в ней. — За Веру, и за нашу с тобой дружбу.

— Два тоста с одной рюмкой — многовато, перегрузка получается. — Волков снова наполнил рюмки. — Эти выпьем молча.

Они выпили. Луганов вздохнул благодарно. Как хорошо, что он спросил, что он решился спросить. Теперь всё хорошо, всё навеки хорошо. Если бы только Волков не говорил так много. Но тот уже снова ораторствовал, звонко и точно произнося каждое слово, как с три-

буны, и лицо его было мрачно сосредоточенно и вдохновенно.

— Так вот. Весь день сегодня продумал. — Всётаки не шутка вдруг понять, что всё дело жизни поставлено на карту. Спрашивал себя — а стоит ли жить для этого дела? Это, конечно, мои 46 лет мутят. Тридцатилетние коммунисты не задают себе праздных вопросов. Для них всё ясно и просто. Всё распланировано, разложено по полочкам сознания. Здесь власть, там народ, здесь трудности войны, там мировой горизонт, который откроет победа. Я хотел бы рассуждать, как они. Но не могу. Я сомневаюсь. В чем? В советской власти, которой я служу, или в русском народе, который я сознательно угнетал и должен продолжать угнетать во имя советской власти? — сделав паузу, он достал из портсигара папиросу и закурил. — В том-то и дело, — сказал он задумчиво, — то-то и странно, что я сомневаюсь в обоих.

Он затянулся папиросой и бросил ее, не докурив. «Ему курить некогда, речь еще далеко не кончена, — подумал Луганов. — Вот мне можно» — и он тоже взял папиросу.

— Советская власть и русский народ, — снова начал Волков. — Власть одно, народ другое. Народ, как всякий народ, хочет обыкновенных вещей — семьи, собственности, хочет ходить в церковь, спокойно трудиться и по своему усмотрению свободно тратить заработанные деньги. Советская власть хочет вещи необыкновенной — мировой революции и во имя мировой революции гнет Россию в бараний рог и подавляет естественные стремления народа. Одним словом — обыкновенный народ, попавший под необыкновенную власть. Но как ни сильна власть, наивно, неразумно верить, что она сохранится навеки. Власть или переродится с течением времени и станет народной, или рухнет, сброшенная народом. Одним словом — советская

власть пройдет, Россия останется. Так думают почти все. Представь себе, я тоже делил Россию на советскую власть и на угнетаемый ею русский народ. Другое дело, что я желал власти полной победы во всём. В том числе и в борьбе с русским народом, его коснотью и предрассудками. Я жалел народ, страдавший исключительно за то, что революция началась именно в России, и что поэтому вся тяжесть ее упала именно на русские плечи и русскую землю. Но революция мне была дороже.

И вот, сегодня я спрашиваю себя — не ошибся ли я, отделяя советскую власть от русского народа? Не ошибся ли, когда думал, что веду борьбу с косной народной волей во имя высшей справедливости. Не стали ли мы, напротив, незаметно для себя, не перевоспитателями народа, а исполнителями его воли, темной, глухой, утробной воли, направленной на зло, на разрушение, даже на саморазрушение? Воли, которую мы же развязали, которая овладела нами и переродила нас. Не она ли несет теперь меня, партию и Великого Человека, как океан щепку? Не она ли рвется переплеснуться через пределы России и поработить мир? Может быть, это и не так. Я не делаю выводов, а только задаю вопросы. Но то, что я задаю себе такие вопросы, смущает и поражает меня.

Луганов курил. Куря, ему было легче слушать. Он следил за дымом папиросы, и дым понемногу придал его мыслям другое направление, увел их за собой. Дым... Это уже не был дым папиросы, это был густой белый дым, вырывающийся из трубы паровоза, увозящего его в Москву. Луганов вздрогнул и шире открыл глаза. Неужели он задремал? Волков попрежнему сидел напротив него и говорил. Не было никакого сомнения в том, что он продолжал говорить. Сквозь дым, всё еще застилающий глаза, Луганов видел, как он открывал и закрывал рот, произнося слова, но самых слов он не слышал: дым заволок не только его глаза, но и уши, и внимание.

Луганов дернул головой, освобождаясь от него, и слова Волкова сразу громко зазвучали. Теперь Луганов снова слышал и понимал, что говорил Волков. Окно успело потухнуть, закат сгорел дотла. Теперь свет шел только от ламп, никакого смешения электричества и закатного солнца больше не было. Откуда же этот фантастический отблеск, лежавший на всём вокруг и в особенности на бледном лице Волкова? «От водки, — подумал Луганов, — и еще от того, что очень накурено». И он стал слушать.

— Триста лет татарско-прусской византийской традиции — такой была наша национальная власть, рухнувшая в 17-ом году...

«О чем он? Ах, да ведь я пропустил кусок его рассуждений, — не беда, и так всё понятно. Пусть выговорится, пусть! Когда мы еще увидимся? Какой милый, болтливый, и до чего я его люблю».

— Но над кем она властвовала? — Волков взглянул на Луганова. — Ты что таращишься, будто спросонок. усыпил я тебя, что ли?

— Что ты, что ты, — запротестовал Луганов. — Продолжай, это так интересно.

— Интересно? — насмешливо переспросил Волков. — Эх, брат! Для меня это — кровь сердца, а ты — интересно. Ну, да и на том спасибо, что слушаешь.

Он снова встал и прошелся по комнате.

— Так на чем я остановился? Да... Над кем владычествовала наша национальная власть? Над странным, очень странным народом, самой основной чертой которого была неопределенность. Много русских лиц я за сегодняшний день перевспоминал, тысячи и тысячи. Но, знаешь, неопределенные какие-то лица. Всё в них, как полагается, всё на месте — рот, нос, глаза — а целого человеческого лица как будто не получается. Хотел себе представить характерное русское лицо и не мог. Что-то расплывчатое, недоделанное. И пришло мне в голо-

ву, что самое характерное в русском человеке и есть эта недоделанность, расплывчатость. Неопределенность лиц, неопределенность характера, неопределенность отношения к добру и злу.

Луганов старался слушать, но полоса паровозного дыма снова проплыла перед его глазами, покрывая собой лицо Волкова, заглушая его слова. Надо встряхнуться, а то, того и гляди, заснешь. Луганов зацепил вилкой кусочек чего-то розового с тарелки, положил его в рот и с удивлением почувствовал копченый и соленый вкус этого розового. Ему почему-то казалось, что сейчас он, как во сне, не почувствует никакого вкуса. Он пожевал немного, но проглотить не смог. Глотать не хотелось. Мускулы отказывались сделать необходимое движение. Луганов осторожно выплюнул то, что было у него во рту, в угол салфетки, и от этого движения дым вдруг разорвался, и бледное лицо выглянуло из него, как луна из туч. Луна, лицо Волкова, ставшее луной. Где, когда, в какой стране, в каком сне он уже видел это превращение Волкова в луну? Он дернул головой, стараясь понять, вспомнить. Разве всё, что сейчас происходит, происходит вчера, а не сегодня? Ведь, что вчера луна сказала — «Я советую тебе перейти к немцам». «Перейти к немцам?...». Но сейчас это ничего не значило. Чудо воскрешения изменило всё, изменило мир и дало в этом мире новое место Луганову. Чудо, озарившее, преобразившее всё окружающее, не коснулось только одного Волкова. Нет, он был прежний — мрачный и бледный и попрежнему утомительно многоречивый.

— Мы ленивы и не любопытны, — Волков сделал широкий жест и сбил рюмку со стола. Луганов услышал звон разбивающейся рюмки. «Стекло — к счастью, — радостно подумал он. — Вздор. Неужели я опять становлюсь суеверным? Как до катастрофы, до тюрьмы?». Ему хотелось засмеяться, таким забавным ему показалось, что он может стать суеверным теперь.

— Стекло к счастью, — сказал он, смеясь. — Ты разбил рюмку.

Волков посмотрел на него с недоумением.

— Рюмку? Ах, да. К счастью? К какому счастью?

— К нашему, к нашему! — крикнул Луганов. — К твоему и моему счастью. К Вериному счастью!

Волков поморщился.

— Приметы? Черные коты, тринадцатое число, разбитое зеркало и всякое такое, как старушка-богаделка? Нет, черный кот и тринадцатое число это, кажется, к несчастью, к смерти, а не к радости. Впрочем, ну их к чорту, приметы! Не до них. Слушай, так я повторяю. «Мы ленивы и не любопытны», — сказал Пушкин. И правильно сказал. Следует еще прибавить — равнодушны и беспамятны. Русский народ, единственный из всех народов, не любящий и даже не помнящий своего прошлого. Прошедший день, едва он прожит, исчезает для русского человека навсегда.

«Неужели исчезает навсегда? Неужели и для меня когда-нибудь исчезнет сегодняшний день, неужели он перейдет в прошлое, превратится в воспоминание? Неужели он перестанет вечно длиться, этот сегодняшний день с его рассветом, чудом воскрешения и этим сумбурным томительным разговором?». — Луганов не мог решить: голос Волкова зазвучал вдруг очень громко, мешая думать. «О чем это он? Я опять пропустил часть его рассуждений».

— Из всех царей, — Волков как-то особенно звонко отчеканивал слова, явно стараясь привлечь к себе внимание «аудитории», — из всех царей, повторяю, в народе только о двух царях живет благодарная память. Об Иоанне Грозном и о Петре Великом, вздернувших Россию на дыбы, вернее, на дыбы с почти большевистским искусством. Их одних, несмотря на всю свою беспамятность, русское сознание не забыло, о них одних они по-настоящему горевали и плакали. Уж очень

оба угодили народу, уж очень пришлись ему по вкусу, уж очень ловко кожу с него живьем сдирали. И Великого Человека, должны не забыть. И в день его смерти должна стоном застонать русская земля: «На кого ты нас, сирот, покидаешь?...»

Волков сделал паузу и вдохновенно откинул голову назад, обведя комнату взглядом, совсем так же, как обводил взглядом слушавшую его тысячную толпу. Может быть, ему кажется, что он на трибуне, — подумал Луганов, — и он ждет аплодисментов и одобрений, и тишина удивляет его. Нет, тогда бы он не говорил этого. Нет, это он для меня, для одного меня старается. О, милый, глупый. Зачем старается? Ему хотелось дернуть Волкова за рукав и крикнуть: «Брось! Хватит! Поговорим лучше просто на прощание или помолчим вдвоем». Но он, понимал, что этого сделать никак нельзя.

Он стал рассматривать пестрые узоры на скатерти, укладывая слова, которые произносил Волков то в синюю, то в красную часть узора, не по смыслу слова, а по звуку его, и это занятие очень развлекало его. Как интересно. Он прежде не знал, что слова бывают разноцветные и так легко образуют узор.

А Волков продолжал говорить, и слова его, кроме звука и цвета, всё-таки обладали смыслом, доходившим до сознания Луганова. Он продолжал произносить свою речь, и надо было слушать.

— Неопределенность характера, соединенная с большой одаренностью, сделала нас вечными подражателями. Мы всё и всегда заимствовали у других народов. От придворного церемониала до революционных идей — всё у нас было заграничное. Заимствуя, мы опаздывали на пятьдесят лет, наново открывали давно известное или искажали заимствованное до неузнаваемости и тогда принимали искажение за самобытность. Никто так много, как мы, не толковал о прогрессе, но, в сущности, мы все, от царя до мужика, были враждеб-

ны прогрессу. Мы были в одно и то же время консерваторы и анархисты, расточители и скупцы, стрекоза и муравей в одном лице. Наше отношение к остальным народам — смесь самодовольства и самоунижения. Мы — странный, странный народ. Самое удивительное в нас то, что, хотя кроме самовара, мы не создали ничего самостоятельного, мы — глубоко оригинальный народ, не похожий ни на какой другой на свете.

Если всмотреться в русскую историю и в русский характер, иногда кажется, что мы только притворяемся, что мы такие же люди, как все, а на самом деле мы — чужие, пришельцы на этой планете. Не оттого ли мы так хотим ее переделать, не щадя ни своей, ни чужой крови?

— Что же по-твоему, — вдруг спросил Луганов, — русские даже уже и не люди?

Ему не хотелось спорить, ему было совсем не до споров и рассуждений. Ему хотелось, сердечно простившись с другом, поскорее сесть в автомобиль приехать на узловую станцию к Московскому экспрессу. Стук колес зазвучал в его ушах, длинный, отчаянный свисток радостно отдался в его сердце. Скорей бы, ах, скорей! Но он всё-таки не мог не запротестовать.

— Значит, мы, русские, даже не люди?

Волков пожал плечами.

— Кто спорит? Конечно, люди. Только недоделанные какие-то: полуфабрикат. Да, я уже отмечал, что самое характерное для нас — недоделанность какая-то, неопределенность. С кем мы? С Богом или с чортом? В том-то и дело, что мы и с Богом, и с чортом. Сразу. Чорт, конечно, часто перетягивает русского человека на свою сторону. Зло ведь слаще, соблазнительнее добра. Но и добро таит в себе непреодолимую притягательную силу для русского сердца. Сколько у нас на Святой Руси было мучеников, подвижников. Одни староверы чего стоят. Но чаще всего добро и зло вместе хозяйничают в

русской душе. Недаром русский разбойник крестится, занося топор: «Господи, благослови!» — прежде чем хряснуть им по черепу жертвы, по поговорке: без Бога — ни до порога. Страсти? Ну, конечно, те же у нас, как и у всех других. Только мы, русские, доводим свои страсти до пароксизма. Нет у нас золотой середины. И смеемся мы над европейцами за их умеренность, аккуратность, бережливость, смеемся и презираем их. Кто это сказал: «Широк русский человек, я бы сузил»? Как правильно! Сузить надо бы. Слишком широк, слишком разнообразен, оттого и неопределенен. Оттого так неопределенно и его отношение к добру и злу. Можно первому встречному последнюю рубаху свою отдать и крест свой, с шеи сняв, подарить ему, а потом можно, пожалев о подарке, зарезать его, чтобы отобрать назад свою рубаху и крест. И с одинаковой легкостью и уверенностью в правильности своего поступка, сознавая, что достоин одобрения. Одобрение русский человек ценит превыше всего: «Правильно, товарищи? Так я говорю, товарищи, или нет!».

— Не так, не так, — вдруг всполошился Луганов. — Нет, нет, неправильно, товарищ Михаил, нет! Ты, чорт знает, куда занесся и что плетешь.

— Разве? — Волков посмотрел на него хмуро, исподлобья. — И то правда, заношусь. Выпил не в меру. Ну, еще по одной, чтобы у меня всё в голове перепуталось, чтобы я думать больше не мог. Не берет меня водка сегодня. Или, вернее, не так берет, как полагается. Вот язык заплетаться начинает, а голова ясна, и сказать мне тебе еще столько надо. Ведь сегодня единственный мой шанс поговорить. Поговорить перед долгой, может быть, вечной разлукой.

Он налил себе еще рюмку и выпил, не закусывая.

— Да, ты слушай и не перебивай. Мне надо высказаться, всё высказать, что годами накопилось. Так на чем я остановился? На неопределенности характера рус-

ского народа. И всё-таки есть у нас одна удивительная черта. И, дейтвительно, вполне национальная, вполне оригинальная. Ни у кого ее не позаимствовали: хулиганство. Зло, не приносящее выгод, зло для зла, так сказать фантазия души. Знаменитый Андрэ Жид вот об acte gratuit[1], преступлении, не приносящем выгоды, преступлении просто для преступления, написал много страниц. Не верит французский умник, что оно возможно. А у нас на Руси каждый день сотни таких actes gratuits творится. От наливания в почтовый ящик керосина, потом — чирк спичкой, и десятки писем сожжены, до вопроса, задаваемого первому встречному: «Извиняюсь, гражданин, в Пскове бывали?» — после которого, независимо от ответа: «да, бывал» или «нет, не приходилось», следует оплеуха, сшибающая прохожего с ног. Классические, всем известные примеры. Но, конечно, полет народной фантазии не ограничивается ими. Хулиганство это, главным образом, страсть к разрушению. Любит русский народ разрушать. Чувствует упоение, разрушая. Даже себя, свою жизнь разрушить готов ради этого упоения. Гуляют «на отчаянность», пьют так, что замертво под стол валятся, а пляшут... Видел ли ты, как мужик пляшет? Уж он из сил выбился, багровый, потный, на лбу жилы надулись, глаза на лоб лезут, а он всё подскакивает, как мяч, в присядку, всё притопывает, всё ногами кренделя выделывает, руками машет под неистовый рев гармошки. И зрители в восторге неистовствуют... Жги! Жги! И он всё старается, он всё старается, пока, совершенно обессилев, не упадет, широко раскрыв храпящий рот, уставившись остекляневшими глазами в потолок. И тогда в судороге последнего восторга он хватается руками за ворот и — трах... Лучшая праздничная рубаха — пополам. Жест этот символичен — самоистребление, саморазру-

---

[1] Бесплатное действие.

шение. Не его вина, что его бычье сердце не лопнуло. Но, вместо сердца, — трах — пополам лучшая праздничная рубаха.

Луганов постучал вилкой о стакан.

— Прошу слова. Предыдущий оратор картинно описал русскую пляску. Однако, проглядел в ней главное, а именно вдохновение, творческий момент. Эта страсть к саморазрушению, это «трах — и рубаха пополам», есть одна из разновидностей вдохновения, знакомая писателям, ученым, художникам, одним словом — творцам. Минута, когда кажется, что достиг совершенства, и желание навсегда раствориться в этом совершенстве, взлететь к небу и рассыпаться звездной пылью. Бакунин был прав: «Страсть к разрушению есть творческая страсть». Эх, товарищ Волков, «не осуждать, не возмущаться, не проклинать, а понимать надо». Это еще Спиноза сказал.

— Спиноза, этот старый жид? Кстати ты его вспомнил! Как раз о еврейском вопросе я сегодня думал, но о нем поговорим потом. Вот я сказал «жид», вздрогнул и оглянулся. Сегодня и это себе позволю. Всё позволю. До чего приятно во рту подержать, как конфету, которая тает на языке — «жид». Ведь за «жида» три года тюрьмы несознательным гражданам полагается, — он рассмеялся. — Советская власть умеет перевоспитывать народ, это правда. Ну, давай кончать о хулиганстве. Кстати, советская власть косо смотрит на всякие национальные черты — не одобряет. Не одобряет она и хулиганства. Старается его с корнем выкорчевать из русской души. А всё-таки ничего сделать нельзя. Как напьются, так и звереют. Был здесь в колхозе-миллионер весной такой случай. Гуляли на свадьбе. Веселая, богатая свадьба была. Пей, ешь — не хочу. Один из гостей подрался с другим гостем, и хозяин его выгнал. Но гость сумел вернуться и ухлопал хозяина. Тогда остальные гости убили его и за компанию и того гостя, кото-

рый затеял драку. Одним словом, «на утро там нашли три трупа».

Луганов вдруг возмутился.

— Послушай, ты уже хватаешь через край. Видно, и в тебе советская власть не вытравила национальной русской черты — звереешь ты от пьянства. Чего ты только не наплел? Стыдно тебе. Брось. И пить перестань.

Луганов протянул руку за графином, но Волков нахмурившись, отвел его руку.

— Оставь! Мне сегодня надо пить, оттого и пью. Давно уж я всё это чувствовал, только как-то до конца не решался самому себе признаться в том, что думаю о русском народе.

— Но ведь это всё пьяное преувеличение, чушь, ерунда. Я не хуже тебя знаю народ, с детства знаю и люблю.

— А мама-Катя? — вдруг шопотом спросил Волков.

Луганов растерялся. Нет, этого Волкову говорить не следовало, об этой смерти сегодня вспоминать совсем не следовало. В том полупьяном, табачном тумане, в котором теперь блаженно плыл Луганов, не было места для воспоминаний об этой смерти.

Волков продолжал сидеть перед ним. Его бледное лицо было ярко освещено, его глаза, полные табачного, пьяного тумана, смотрели прямо перед собой, поверх головы Луганова. Папироса выпала изо рта на гимнастерку.

— Дырку прожжешь!

Волков взглянул на Луганова.

— Что? — спросил он отрывисто.

Луганов показал пальцем на папиросу.

— Дырку прожжешь!

Волков взмахнул рукой и сбросил папиросу на пол. И с вдруг исказившимся от злости лицом раздавил папиросу ногой, не раздавил, а хрястнул по ней каблуком,

будто это была не папироса, а паук или мокрица. Потом придвинул к себе графин и выпил еще рюмку водки.

— Что же, — начал он снова, — пожалуй, ты прав. Национальные черты я в себе, конечно, чувствую. Да какой же русский их в себе не чувствует, не замечает? Ты? Ну, на то ты поэт, небожитель, гражданин вселенной, а не просто русский, как мы все. А мы, обыкновенные русские люди — «все тараканы, все черненькие», — он закурил снова, глубоко затянулся и выпустил дым из ноздрей. — Хочешь, расскажу тебе про одного моего приятеля, русского, конечно? Поучительный рассказ и кстати иллюстрация к моим словам. Так вот, был у меня приятель в ссылке, в 16-ом году. Всё он о своем брате горевал. Очень уж любил брата, ну и родителей, конечно. Но главное — брата, по молодости лет. Мы с ним тогда оба еще несовершеннолетними были. Вздыхает, бывало, по брату и по своим, а я — о тебе, да о маме-Кате. Так на вздохах и подружились. До самой революции так и протосковали мы с ним. Даже во сне он о брате не забывал. Как заснет, сейчас — «Ванька, Ванька» — звать ничинает.

Потом потерял я его из вида, встретились только недавно, года три тому назад. И не то, чтобы очень постарел, а беспокойный какой-то стал, и глаза очень усталые.

— А брат твой? — спрашиваю.

— Расстрелян, — говорит, — давно.

Я пособолезновал.

— Ничего не поделаешь, — говорит. — Жертвы нужны. Нельзя без жертв.

Как-то однажды встретились мы с ним, пошли вместе в ресторан, закусили и выпили порядочно. Тут он мне и стал рассказывать о расстреле брата.

— Не надо, останавливаю его.

А он трясет головой.

— Никогда я еще никому этого не говорил, а сказать необходимо. И ведь кто лучше тебя знает, как я его любил?

И рассказал. Вскоре, как мы с ним расстались, это и случилось. Вернулся он в Москву. Брат его офицером был, на войне дрался, пока мы в ссылке сидели. А теперь занимался конрреволюцией. Заговоры устраивал, покушения всякие. Но любви их и дружбе это не мешало. О политике и своих взглядах они никогда друг с другом не говорили. У каждого свои взгляды, своя деятельность. Умные они оба и смелые были. Тот контрреволюционер, особенно ловкий был. Никак его поймать не удавалось. Только с братом одним, и то изредка виделся.

Ловили его, ловили и, наконец, попросту приказали моему приятелю позвать его к себе обедать, чтобы у него на дому арестовать его.

По щеке Волкова пробежала судорога.

«Что это? С каких пор у него? Прежде не было», — подумал Луганов.

— Да, — продолжал Волков. — И пообедали. Так вместе, как мы с тобой сейчас за столом сидели и водку вот так же пили, и разговаривали по душам. А после обеда... Он в окно смотрел, как брата арестовали, посадили в автомобиль, только он его и видел, — Волков запнулся. — И знаешь, он мне рассказывал, странно это и страшно. Так искренно он тогда с братом говорил. Всю ему душу открыл, всё сердце перед ним наизнанку вывернул. Будто уже с мертвецом, а не с живым говорил. Всё до конца ему открыл — все сомнения и обиды. А у какого революционера их нет? И веришь ли, несмотря на ужас, на горе, чувствовал что-то похожее на удовольствие. Сидел с братом, любил его и еще мог его спасти. Смотрел то на брата, то на стрелки часов в столовой. Еще было время, еще можно было его спасти. Еще мож-

но, еще не поздно... Пил с ним. Душу ему свою открывал, а ни за что не выпустил бы его из дому, пока не пришли его арестовать.

Да, странно это и страшно. Ведь дрожал и, кажется, жизнь отдал бы, чтобы спасти брата. И как он его любил! До чего он, ожидая, что вот за братом придут, мучился, как смертельно тосковал, а удовольствие всё-таки чувствовал.

Волков налил себе еще рюмку, рука его дрожала.

— По-твоему, как? Негодяй?

Луганов кивнул.

— Негодяй, — сказал он коротко.

Волков посмотрел на него сквозь табачный дым долгим, внимательным, острым взглядом.

— Как ты просто судишь. А ведь твой Христос учит: не судите, да не судимы будете. Нет, друг мой, совсем это не так просто. Негодяй. Впрочем, не знаю. Может быть, и негодяй. Только мучился он потом, ох, как мучился. Вряд ли в вашем аду черти больше грешников мучают, чем он самого себя. Он после часто со мной брата вспоминал. Сколько лет прошло, а всё забыть, всё успокоиться не мог. Детство общее и всякие, там, чувствительности, как клещ в собачье ухо, в сердце въедаются — не вырвать. Негодяй? А, по-моему, пожалуй, и не негодяй: на нем, как и на мне, как и на большинстве из нас много невинной крови было. Многих он сам на расстрел послал. И вот — если бы он спас своего брата, стал бы он самым обыкновенным убийцей — палачом. Не идейным коммунистом, а палачом просто. Это значило бы, что он убивал оттого, что чужая жизнь для него гроша ломаного не стоит, что вывести в расход, прихлопнуть чужого человека не трудно. А как коснулось своего, родного, кровного, любимого — так осечка. Не могу, он мой брат и всё такое. Не могу...

Если бы не мог, тогда, по-моему, и стал бы подлецом — негодяем — палачом. А так он поступил правиль-

но, нравственно. Правильно, и никогда не жалел. Мучился, тосковал, ночами не спал, но не жалел. И если бы пришлось еще раз...

— Ну, хорошо, допустим, — морщась, нетерпеливо перебил Луганов. — Но почему, откуда удовольствие взялось?

Волков вытянул палец, будто указывая на что-то, невидимое Луганову.

— А тут, как раз, национальная черта и выступает наружу. Это, друг мой, как раз наше русское, нам одним понятное. Хочется поговорить и чтобы тебя слушали со вниманием. И одобрение высказывали твоему уму. Слушатель нужен, понимаешь? Живой слушатель А где его в нашем Союзе найдешь? Как не почувствовать удовольствия?

Он наклонился через стол.

— Отлично я его понимаю. Что может быть приятнее и слаще чем безнаказанно поговорить. Вот и я сайчас, до чего с тобой язык распустил. И всё о недозволенном. Но я в тебе, мой друг, уверен. И как уверен.

Луганов улыбнулся.

— Дурной ты, право. Еще бы ты во мне уверен не был. Разве мы с тобой не друзья?

Волков пожал плечами.

— Раз даже брат брата предал, чтó друзья...

— Нет, нет, как ты можешь! — крикнул Луганов. — Даже шутя, как можешь! Ведь мы, помнишь, еще в детстве поклялись в дружбе до самой смерти.

Волков весь как-то съежился.

— Клялись? Разве клялись? До самой смерти? Представь, позабыл. А ведь выходит правда. «Устами младенцев». Дар предвидения, что ли, у младенцев бывает, — он откинулся на спинку стула, глаза его стали пустыми и мечтательными. — Славный ты мальчик был, Андрей, — мягко сказал он. — Добрый, благородный. И настоящий друг.

— Друг до самой смерти, — Луганов протянул ему руку через стол. Но тот не взял его руки.

— Ты погоди с сердечными рукопожатиями. Дай мне договорить, тогда и посмотрим, захочешь ли ты мне руку пожать.

— Вот вздор. Что бы ты ни сказал, что бы ты ни сделал, ты — мой друг до самой смерти, — Луганов засмеялся. — Право смешно.

Волков всё так же мечтательно смотрел на него.

— И смеешься ты отлично. Так открыто, честно. Эх, Андрей, жаль мне тебя. «Дернул же меня чорт с моим умом и талантом родиться в России». Это Пушкин о себе говорил, но и к тебе подходит. Дернул же тебя чорт родиться в России. Жаль тебя.

— Нет, уж пожалуйста. Говори о себе и о том, что думаешь, всё, что хочешь, буду слушать. А обо мне брось. И, главное, не жалей меня. Вот ты утром сказал! приятно счастливого человека увидеть. И ты прав. Я совершенно счастлив. И не только от того, что со мной случилось чудо. Нет, мне вообще повезло. Ведь большинство людей живут в полном одиночестве, будто замурованные сами в себе. И кругом только тени людей. А я, подумай, как мне повезло. Я встретил на земле всё, что только есть лучшего — идеал матери, идеал жены, идеал друга.

— Перестань! — крикнул Волков, поднимая, будто для защиты, руку. — Молчи!

— Нет, дай мне. Не всё тебя слушать. Послушай и ты меня. Да, идеал матери. Мама-Катя...

— Молчи! — лицо Волкова исказилось, и по нем снова пробежала судорога. — О маме-Кате, не смей, не смей!..

Луганов удивленно смотрел на него. Опять эта судорога, дергающая его щеку. Отчего? Откуда? Ведь раньше никогда не было.

— Ты не волнуйся, но это правда. Вы все трое —

мама-Катя, Вера и ты — все трое так близки мне, все трое в моем сердце. Мама-Катя дала мне жизнь, Вера украсила ее, осветила, как солнце, а ты спас меня, будто вторично заставил меня родиться. Вы трое...

— Трое? Троица? Святая Троица, которую ты в сердце хранишь? — Лицо Волкова медленно покраснело, и Луганов увидел злобу, блеснувшую в его взгляде. — Святая троица? Здорово придумал. Только маму-Катю исключи из нашей компании. Ей совсем не место со мной и твоей женой.

— Отчего? Оттого, что она умерла? — догадался Луганов.

Волков отодвинул от себя тарелку резким движением.

— Перестань. Довольно! — он провел рукой по глазам, и злоба исчезла из них. — Ты извини меня, — сказал он прежним мягким тоном, — нервы. И устал я очень. Не могу я о маме-Кате слушать. Больно. Пожалуйста, прекрати...

— Я только хотел... Ведь ты сам сказал, что мы, может быть, в последний раз видимся, я хотел, чтобы ты знал, как я тебя...

— Ах, друг мой. Я и так всё знаю, больше тебя знаю.

Луганов растерялся. Разговор принял совсем неожиданный оборот. Нет, он не этого хотел, не так мечтал проститься с другом. Михаил был сегодня какой-то колючий, жесткий, к нему ни с какой стороны нельзя было подобраться. От водки, должно быть, не привык, не умеет он пить.

Волков встал, одернул гимнастерку.

— Я ведь еще не кончил. Не перебивай. А то с такими лирическими отступлениями...

— Не трудно и на поезд опоздать, — закончил весело Луганов. Он старался бороться с мрачностью Волкова и прикидывался, что не замечает ее.

Волков засунул руки за кушак и прошелся по кабинету.

— Ну, на этот поезд ты вряд ли опоздаешь. Есть поезда на которые никогда не опаздывают.

Луганов кивнул.

— Да, на поезда, идущие в будущее.

Волков махнул рукой.

— Терминология у нас различная. Очень уж ты до высоких слов охоч. Но не в этом дело, а в том, что времени у нас достаточно. И ты успеешь меня выслушать.

Он дошел до темного окна и прислонился лбом к оконному стеклу. Луганов молчал. «Поезд в будущее никогда не опаздывает», как музыка, как шум вагонных колес, как стук его собственного сердца, отдавалось в его ушах.

— Ты спросишь... — вдруг неожиданно заговорил Волков и повернулся к нему.

— Спрошу? О чем? Никаких вопросов у меня больше нет. Все мои вопросы навеки решены, на все получены ответы, — подумал Луганов. — Это ты спросишь, а не я, так и отвечай на них сам. А я хочу только проститься с тобой, поцеловать твою небритую щеку, поблагодарить тебя и ехать, ехать, ехать.

— Ты спросишь, — повторил Волков, — почему же я не отрекусь, не уйду, не порву со своим прошлым, раз я открыто сознаюсь в своем разочаровании в советской власти и в Великом Человеке.

Он медленно подошел к Луганову и остановился перед ним.

— Нет, не могу, не могу, Андрей. — Он поднял руку и расстегнул воротник. — Если бы я ушел, я стал бы обыкновенным ренегатом, сволочью. Нет не могу отречься. Не могу. И знаешь, — голос его вдруг изменился и зазвенел. — Не только не могу, но и не хочу. Даже если бы меня мучили, пытали. Даже тогда не отрекся бы.

Перенес бы. И пытку, и мучения. И ведь уже перенес. Весь день сегодня — будто с меня кожу по кускам срывали, кости пилили, — он закрыл лицо руками. — Не отрекся. Нет! И не отрекусь! — он постоял с минуту с закрытым лицом, потом опустил руки. — И вот, ты уедешь, и я снова буду честно служить партии и Великому Человеку.

Как он мучается, — подумал Луганов, — и я не нахожу слов, чтобы утешить его, помочь ему. Я слишком счастлив, слишком занят собой. Я оцепенел, окаменел от счастья. Только бы он не заметил, что мне сейчас нет никакого дела до его страданий, что я не могу даже посочувствовать ему.

— Да, — продолжал Волко́в, — испытание я вынес. И теперь знаю — навсегда, до смерти я с партией, с Великим Человеком, с революцией. Выдержал экзамен, проверил себя. Страшный сегодня был день для меня. Самый страшный за всю мою страшную жизнь. И ничего. Справился, — он махнул рукой. — Только не спрашивай, как.

Но Луганов и не собирался спрашивать. Он взглянул на окно. Оно было черным теперь, а только что оно было совсем красным от заката. Красный закат — значит завтра будет ветрено. «Не для меня, — поправился Луганов. — Меня здесь уже не будет. Я буду завтра в Москве. В Москве, с Верой. На этом нельзя было остановиться, успокоиться, этого нельзя было себе представить». Но и сосредоточить внимание, и слушать было трудно. Слишком яркая лампа расплывалась жирным пятном в сизом от дыма воздухе. Отсвет ее играл на графинах и рюмках, на высоком, слегка полысевшем лбу Волкова. И опять Луганов почувствовал фантастичность, присутствующую здесь, в этой комнате, разлитую повсюду кругом. Что-то ускользающее, тревожное, чего он не мог определить словами.

— Я всю жизнь честно служил партии и революции,

— вдруг донеслось до него из ускользающей нереальности. — Я считал, что несчастья русского народа только временны, что они необходимы для блага всего мира и самого русского народа. И вот, я вижу, что я ошибся. Не в революции, нет. Я попрежнему убежден, что только пройдя через революцию мир будет счастлив. Но я не верю больше в революцию, принесенную в мир нами. Я не верю больше, что мир может быть спасен революцией, начавшейся в России. Мы, русские, исказили идею коммунизма, извратили и искалечили революцию. Мы превратили зло, без которого не может обойтись ни одна революция, — в самоцель революции. Зло всегда сопутствует революции, зло, несправедливость, страдание, — но мы превратили их в смысл революции. Революция сама по себе — добро. Зло сопутствует ей только временно, как беспорядок, как неурядица не вполне еще налаженного дела. Зло должно исчезнуть, раствориться в благе, в справедливости, в созидании.

Но русская революция подменила добро злом. Русская революция только разрушала, не созидая ничего. Зло эволюционировало, меняло формы, но оставалось попрежнему злом. Революция продолжалась — разрушительная, свирепая, как в первые кровавые дни. Русская революция, длящаяся уже столько лет, приняла чудовищные формы на русской земле. Ведь, революция, как и кризис в болезни — всегда кратковременна. Но у нас она из кризиса превратилась в хроническую болезнь. Россия, как тяжело больной, мучается в кризисе и не может выздороветь. И не может умереть. Мучается. И революция, которую Россия принесет миру, будет тоже мучением, только мучением...

Луганов положил руку перед собой на стол так, чтобы смотреть на часы на руке. Тонкая, длинная секундная стрелка с невероятной быстротой справлялась с

временем. «Вот она обежала круг, и еще одной минутой стало меньше, еще на одну минуту меньше ждать, еще на одну минуту меньше жить», — подумал он по привычке. Но теперь это было неправда. Жизнь начнется завтра, в Москве. А здесь, и потом в вагоне, только ожидание жизни. Скорей бы, скорей бы оно кончилось. Еще одна минута, еще две минуты прошло... Голос Волкова не мешал часовым стрелкам уничтожать минуты, не останавливал их. Теперь Луганову казалось, что это не голос Волкова, а громкоговоритель в соседней комнате. Он снова прислушался.

...Народ? Ну, конечно, наш народ пойдет воевать. Это тебе не европейцы? Пойдет! Заставят! Кстати, заставлять будут со всей бутафорией «патриотического порыва».

Во время нэпа членам партии было приказано — «учитесь торговать». Теперь нам прикажут — «учитесь любить родину». И будем учиться. Стахановскими темпами, в ударном порядке. По радио, в школах, в кино, в газетах — всюду. Отечественная война 12-го года, биографии героев с Суворовым во главе и прочая, прочая. Родина — мать! Слава героям! Умрем за родину! Ура! Ура! Ура! Заиграют марши. Не удивлюсь если заблестят погоны. Те самые золотые погоны, которые в начале революции вместе с кожей срезали с плеч офицеров. Зазвонят колокола. Вернут из ссылки попов, еще не подохших от тифа и голода. Может статься сам Великий Человек подойдет под благословение Патриарха всея Руси на Красной Площади под звон сорока сороков. И такая получится Святая Русь, что батюшки-цари позавидуют на том свете. Святая Русь всерьез и надолго. А когда наступит победа, тут ей и крышка. Ведь Святая Русь, как «родина-мать», как и весь патриотизм, только подсобные средства, продукт скоропортящийся, сегодня в цене, а завтра на свалку — скис, протух.

Придет время, и снова снимут погончики вместе с кожей кой-кого из особенно рьяно научившихся любить «родину-мать». Да и тем, кто поволокут Патриарха всея Руси на расстрел, ловчей будет волочить без погон. Тут и еврейский вопрос может выплыть. Заметил ли ты, что на верхах отношение к ним уже начало меняться, что их положение слегка заколебалось? Еще почти незаметно, но признаки всё-таки есть. Евреи слишком талантливый народ, и каждый еврей — индивидуалист. Они уже сделали свое дело. Не удивлюсь, если в один прекрасный день Академия Наук, по приказу партии, объявит, что Протоколы Сионских Мудрецов — подлинны. «Все трудящиеся на борьбу с еврейским фашизмом» — лозунг не хуже всякого другого. Великому Человеку будет даже приятно.

Всё это будет потом, после победы. Оттого, что мы, в конце концов, всё-таки победим. Непременно победим. И тогда — что же будет тогда?

«Россия — только трамплин для мировой революции», — сказал тот, кто лежит в мавзолее на Красной Площади. Кстати, во время для себя он умер. «Россия — трамплин мировой революции». Этого Великий Человек не забывает. Чем сильнее удариться ногами в трамплин, тем прыжок выше. Не беда, если трамплин треснет, если пол-России будет перебито на фронте, вымрет от голода, если волки будут ходить по городам. За красный флаг над Берлином, над Парижем и Лондоном — это просто дешевка... Ведь русские солдаты не просто пушечное мясо, они еще, как и все вообще русские люди, пушечное мясо революции. Им даже не дадут отдохнуть, для них не будет передышки. Их погонят вперед. Вперед — по еще дымящимся развалинам, по еще не засыпанным могилам. Вперед — за мировой революцией!

Волков сделал паузу и взглянул Луганову прямо в глаза.

— Разобьем Германию. В этом не сомневайся — разобьем!

— Ну, а когда победим? — Волков встал и широко взмахнул рукой.

Должно быть, действительно чувствует себя на трибуне, — подумал Луганов.

— А когда победим? — голос Волкова зазвенел от напряжения. — Тогда что? Что тогда? Победа. Что тогда принесет победа русскому народу, что принесет русская победа остальному миру? — Волков закрыл на мгновение глаза, лицо его казалось теперь грязным и запыленным. — Страшно подумать, что было бы с Россией, если бы Гитлер победил, — он вздохнул и сделал новую паузу. — Страшно, — повторил он глухо. — Но не менее страшно представить себе, что будет, когда Россия победит. Бедная Россия, бедная Европа, бедный мир!.. — Он устало закрыл глаза, но через мгновение он уже продолжал:

— И они дадут себя погнать, эти усталые, замореннные, полуживые люди. Не только дадут погнать, но и сами бросятся дико вперед с криком: «Даешь Европу!». Ринутся на Европу во имя всемирной революции, всемирного грабежа и разгула. Наконец-то сбудется мечта, наконец-то:

Мы на горе всем буржуям
мировой пожар раздуем...

Столько лет ждали, мечтали, и вот, действительно — мировой пожар. Пожар, в котором погибнет мир.

Волков вынул платок из кармана блузы и устало вытер им вспотевший лоб, совсем как когда-то после речи, на студенческой сходке.

— Ты действительно думаешь, что так будет после победы? — голос Луганова дрогнул.

— Действительно. Уверен. — Волков устало сел за стол, налил себе рюмку и поднял ее.

— За победу! Не хочешь за такую победу пить? Только другой ведь не будет. Тогда я один выпью. За победу.

Он выпил и вдруг ударил кулаком по столу так, что посуда зазвенела и запрыгала.

Как сладостно отчизну ненавидеть
И жадно ждать ее уничтоженья, —

продекламировал он с пафосом.

Луганов вскочил, опрокинув стул, и подбежал к нему.

— Что? Что? Ты с ума сошел! — крикнул он, хватаясь рукой за плечо Волкова, чтобы не упасть. — Зачем стихи этого сумасшедшего?

Волков почти насильно усадил его рядом с собой.

— Сядь, успокойся, Андрей. Чего ты так вспетушился? Нет, Печорин не был сумасшедшим. Он был один из проницательнейших русских людей, он был одним из умнейших людей своего времени. И какая страсть, какая мука нужна была, чтобы написать эти стихи, чтобы понять, что необходимо отречься от России

И жадно ждать ее уничтоженья...

Уничтожения оттого, что это, может быть, единственный путь к воскрешению. Уничтожения во имя жизни.

— Ты пьян, — прошептал Луганов. Они сидели теперь рядом, и серое лицо Волкова почти касалось лица Луганова, он видел так близко его шалые, совсем пустые глаза. Он чувствовал на своей щеке водочный перегар его дыхания. «Он пьян, — Луганов отшатнулся и закрыл глаза. — Я тоже пьян. Как же я доберусь до поезда, до Москвы, до Веры?» Ему показалось, что он громко спросил это, но должно быть, только подумал, оттого что Волков, не ответив ему, уже говорил дальше:

— Да, даже тогда, уже тогда... Всегда было одно и то же. Форма менялась, но содержание оставалось неизменным. Можно было только жадно ждать уничтожения России. И как замечательно это у него, у Печорина, помнишь? Он подъехал возвращаясь из Европы к границе России и вдруг ему показалось, что на засыпанных снегом полях, на русском низком зимнем небе он увидел слова: «Оставь надежду навсегда». Волков ближе придвинулся к Луганову. — Оставь надежду! — Уже тогда надо было оставить надежду, уже тогда не было никакой надежды, кроме надежды на уничтожение. Никакой надежды уже тогда, в благополучном, сытом, либеральном 19-ом веке, не было для России и русских, — продолжал он. — Уже тогда было ясно, что выхода нет. Но в Дантовском аду хоть всегда одно и то же, а в России зло и мучение увеличиваются в геометрической прогрессии — до самоистребления, до истребления всего мира.

Луганов открыл глаза. Нет, он не мог слушать этого, не мог смотреть на серое дергающееся, исступленное лицо Волкова. И всё-таки он слушал, всё-таки смотрел.

— Вывод? Знаешь, к какому выводу я сегодня пришел? — зашептал Волков, будто поверял ему тайну. Глаза его расширились. Он почти задыхался, но вдруг махнул рукой, провел ею по лицу и заговорил прежним голосом:

— Погоди, погоди. Чтобы понять народ, надо вспомнить его историю. А история русского народа так же странна, как и он сам. История, начавшаяся с того, что народ добровольно отрекся от своей свободы и воззвал к иностранцам — придите и княжите нами. «Страна наша велика и обильна, но порядка в ней нет». Не только нет, но неизвестно почему — и быть не может, пока страна наша предоставлена самой себе...

...Бедный, бедный, неразумный русский народ. И за

что ему столько страдания? Нет на свете более несчастного народа. Чего он только не перенес. Татарское иго, крепостное право, Союз Советских Республик. За что? И разве можно перенести столько страдания, столько унижения — безропотно, молча перенести?

И теперь осталось для нас одно спасение, одно, как тогда, в самом начале истории, как тысячу лет назад — воззвать: «Придите и володейте нами», — исступленно зашептал он.

— Ты пьян! — снова крикнул Луганов. «Пьян» было единственное объяснение.

— Нет, я не пьян. — Волков встал. — Не пьян, — сказал он, отчеканивая каждое слово. — Может быть я еще никогда в жизни не был так трезв, так трезво не судил, так ясно не понимал, что говорю, — он опять одернул складки гимнастерки. — Страна наша велика и обильна, но порядка в ней нет. Придите! Я слышу, как об этом молча умоляет несчастный голодный русский народ, как об этом молча просят нищие русские деревни, нищие русские поля и леса. Я слышу этот крик, эту мольбу, этот вздох. Придите, пока не поздно! Помогите нам!

— Перестань, молчи, молчи! — Луганов привстал и схватил его за рукав. — Ты что — о победе немцев?..

— Немцев? — Волков с силой вырвал свой рукав из его руки, и Луганов покачнулся, потерял равновесие и едва удержался на стуле.

— Немцев? Раздавим немцев к чорту! Тогда только, тогда, после победы... Только тогда, победив, будем иметь право воззвать о помощи, о спасении России. Нет, не немцев призовем, весь мир призовем: придите! Помогите! Понял? — он молча прошелся по кабинету и остановился перед Лугановым.

— Вот это я тебе и хотел сказать. Нет, не думай, я не пьян. К сожалению, не пьян. Всё сознаю, что говорю и что делаю. Потом, возможно, бессонными ночами

буду вспоминать этот наш последний вечер и как ты тут сидел. Но я не пьян, — он нагнулся. — А руку ты мне теперь подашь?

Луганов схватил его руку и крепко пожал ее.

— Если бы ты не был моим другом... Но ведь ты мне друг, ближе друга: ты мне брат.

Волков исподлобья почти враждебно взглянул на него.

— Что же и брат брата... Ведь я тебе только что рассказывал.

Луганов весь затрясся.

— Господь с тобой! Как ты можешь? Нет, я тебя не осуждаю, нет, нет. Если бы это другой сказал... Но ты. Я знаю, как ты Россию... И всю твою жизнь знаю и тебя насквозь...

Он вдруг притянул к себе его голову и крепко, как когда-то в детстве, поцеловал его в щеку.

— Как тебе тяжело, Мишук. Бедный мой, бедный!..

— Ну, ну, — Волков легко толкнул его в грудь и выпрямился. — Без поцелуев, без слез! Ведь мы не институтки, — и он отошел к окну.

Луганов снова нагнулся над часами. Движение секундной стрелки попрежнему действовало на него успокоительно. Ему казалось, что он видит, как время, слабо тикая, тает, исчезает, приближая его к блаженной минуте, когда...

— Без пяти одиннадцать, — сказал он взволнованно.

Волков дернулся и шагнул к нему.

— Торопишься? Нечего тебе торопиться, успеешь. Не опоздаешь.

— Далеко ехать.

— Да, далеко. И даже очень далеко. Но ты всётаки поживи еще немного со мной, — вдруг жалобно попросил он.

Луганов улыбнулся.

— Как это ты мило сказал — поживи со мной еще немного. Но, знаешь, мне совсем не верится, что мы расстаемся надолго. У меня такое чувство, будто мы теперь навсегда вместе. Или это оттого, что я тебя еще ближе узнал, еще больше люблю, — добавил он тихо.

Волков поднял предостерегающе руку.

— Избавь, как и от благодарности, от объяснений в любви. Не ем я этих кушаний, ты же сам знаешь. Выпьем лучше еще на прощанье, — он налил две рюмки. — За разлуку!

— А я не свалюсь под стол и не просплю здесь до утра? — Луганов рассмеялся. — Вот комедия была бы. Меня в Москве ждут, а я...

— Да, комедия, — согласился Волков. — А то, право, оставайся, выспишься до утра здесь на диване. Успеешь завтра, а? Оставайся, — он зорко следил за Лугановым, и складки на его лбу стали еще резче. — Славно ночь проведем вместе. Еще одну ночь...

Но Луганов только молча покачал головой.

— Ну, конечно, — почти с облегчением сказал Волков. — Я ведь знал, что напрасно предлагаю, да и правильно. Раз решено. Ну, выпьем. Пей, не бойся. Поедешь. Федоров, если надо, тебя на руках в автомобиль снесет. И в поезд посадит.

Они чокнулись и выпили.

— Слушай, — Луганов протянул руку вперед. — Знаешь, перед разлукой иногда меняются крестами, то есть прежде менялись, те, кто носили кресты. Но ведь у тебя креста нет, я помню, ты его еще гимназистом снял. А часы, часы тоже всегда при себе, по ним время нашей жизни идет. Мне и пришло в голову. Хочешь, поменяемся часами?

— Поменяемся часами? Ты был и остался романтиком, Андрей. Что выдумал! — рассмеялся Волков. — Часами, как крестами. Символично, а?

— Я бы очень хотел. Я бы до самой смерти не расстался с ними, — настаивал Луганов. — Пожалуйста, обменяемся часами.

Волков не решался согласиться.

— Ведь, твои золотые, швейцарские, а мои, хоть Омега, но... стальные...

Луганов обнял его.

— Ты согласен? Так возьми мои и надень мне свои скорее. И спасибо тебе, Миша. Спасибо, — сбивчиво и радостно говорил он. — Вот, сними...

— Не стоит благодарности. Это я выгодное дело делаю. — Волков надел на руку часы Луганова. — Ну, теперь, по этим золотым часам потечет для меня золотое время, — насмешливо и горько сказал он.

— Ты знаешь, — Луганов внимательно изучал циферблат часов Волкова, — мне кажется и для меня по этим часам время пойдет совсем по-новому. Как будто я жил всю жизнь, чтобы дожить до того, что завтра должно начаться. И всем этим я обязан тебе, тебе одному.

Волков крепко дернул ремешок часов, который он застегивал на здоровой руке Луганова.

— Не за что тебе меня благодарить, не за что. Сказано тебе.

— Ну, хорошо, пусть так. Только вот, я думал еще вчера, что никогда уже ни строчки не напишу, что нельзя писать после того, что я узнал, что я пережил в тюрьме. Ведь я раньше, как и большинство людей, не подозревал даже, какие ужасы таит в себе жизнь. Мне казалось, что нельзя заниматься искусством, раз узнав их. Нет слов, чтобы рассказать, чтобы было понятно другим. Мне казалось, что литература — обман и совсем не нужна. Но теперь мне ясно, что я опять могу, что я должен писать... Вот я сегодня написал стихи. Ты потом прочти. Я оставляю тебе, — он поднял с пола порт-

фель и достал из него исписанный лист. — Сейчас мне не хочется тебе читать. Ты потом один. Напишешь, понравились ли тебе стихи.

Волков взял лист и спрятал его в ящик стола.

— Непременно прочту. И наперед могу сказать, что нравятся. Нет такой строчки твоей, которая не нравилась мне. Ведь ты такой талант. Ты лучший русский писатель.

Он вздохнул. Луганов тронул его за плечо.

— Чего же ты вздыхаешь? Разве это грустно?

— А разлука? — тихо спросил Волков. — Знаешь ли ты, как мне тяжело с тобой расстаться? Никого и ничего у меня на свете, кроме тебя, нет, — он снова вздохнул. — Вот часы, одни эти часы да эти стихи останутся.

Он помолчал немного.

— А теперь, — сказал он другим голосом, — а теперь тебе, действительно, пора ехать.

Луганов засуетился, схватил портфель и встал.

Волков пошел вперед и открыл дверь в коридор. На пороге он остановился.

— Минуточку. Ты мне так и не ответил, простил ли ты меня?

— Простил? — взволнованно переспросил Луганов. — Не прощать, а у тебя прощения просить должен. Чтобы такого человека до этого довели... Ты меня прости. Я вот собой занят, о себе всё думаю и тебя не сумел по-настоящему ни понять, ни утешить.

— Ну, — Волков взял его под руку. — Главное, ты простил. Мне это необходимо было. Теперь опять на семь замков замкнусь, молчать буду, работать буду. Не за страх, а за совесть революции и Великому Человеку служить. Как будто не было сегодняшнего вечера. И всё таки я никогда не забуду сегодняшнего вечера.

Луганов прижал локтем его руку.

— И я никогда не забуду, никогда, Миша.

Ему казалось, что пол коридора движется под его ногами, что ковер в прихожей приподнялся, образуя холм, и ступеньки крыльца вдруг стремительно ринулись вниз, увлекая его за собой. Но Волков был здесь, рядом. Он вел его. Ничего плохого не могло случиться, пока он ведет его.

— А ты знаешь, куда едешь? — вдруг спросил голос над самым его ухом. — Знаешь, Андрей?

Луганов засмеялся.

— Ты думаешь, я так пьян, что даже это забыл. В Москву, в Москву, в Москву! К Вере, вот куда я еду. Кстати, что Вере от тебя передать?

— Не до меня ей будет. Федоров! — крикнул Волков, и Федоров, будто вынырнув из-под их ног, очутился перед ними.

— Есть! — радостно гаркнул он.

— Отвезешь товарища Луганова на вокзал и в вагон посадишь. Всё сделаешь, как я велел.

— Есть! — звонко повторил шофер.

— Времени довольно. Не гони. Смотри у меня. Ты отвечаешь мне за товарища Луганова.

— Чемодан уже в машине.

Шофер вытянулся и, круто повернувшись, сбежал по ступенькам к стоявшему у тротуара автомобилю.

Волков осторожно, будто больного свел Луганова вниз.

— Вот и конец, — сказал он задумчиво. — Не ожидал я, что и это пережить придется. — Что «это»? — хотел спросить Луганов. — Разлука, что ли? Но ведь не в первый раз расстаемся. — Он повернул голову к Волкову и взглянул на него. «Такое лицо бывает только у человека, который скоро умрет, — смутно подумал Луганов. — Вздор, вздор, это от луны, от лунного света. У меня самого, должно быть, такое же лицо. Нет,

вряд ли у меня такое»... Он вдруг на минуту почувствовал, что Волков прав, и они никогда больше не увидятся, что это действительно конец, конец их дружбе до самой смерти. До самой смерти. Оттого, что смерть Волкова, несомненно должна скоро наступить, и Волков уже предчувствует ее и томится смертельной тоской. Но это длилось только минуту. «Я пьян, какая чушь в голову лезет», — подумал Луганов и снова взглянул на Волкова. Теперь Волков улыбался, и лицо его казалось совсем обыкновенным, только очень усталым и бледным. «Я пьян, я до чортиков, до зеленого змия, до предчувствия смерти допился». Ему хотелось рассказать о своем смешном предчувствии Волкову, но он сдержался.

— Знаешь, — сказал он вместо этого, — мне тоже сейчас показалось, что мы больше никогда не увидимся. Оттого, что я скоро умру, — он рассмеялся и показал на небо, на луну. — Это всё она мутит мозги. Ну, и водка тоже помогает ей.

Но Волков не услышал, он открыл дверцу автомобиля.

— С Богом, — сказал он. — Ты ведь в Бога веришь? — Он нагнулся к Луганову. — Знаешь, — продолжал он так же задумчиво, — может быть, всё-таки, Бог существует. И тогда ты свою жизнь спас, а я свою жизнь потерял.

— О чем ты? — Луганов старался понять. — О чем?..

Волков махнул рукой.

— Ни о чем. И всего ведь всё равно объяснить нельзя. Ну, поезжай. Или нет, постой, — он вдруг крепко и неумело обнял его. — Всё хотел сказать тебе, и как-то стыдно, — быстро заговорил он. — Всё смотрел на тебя... Ты, как остригся, опять удивительно на маму-Катю похож стал. И глаза у тебя сегодня — совсем ее глаза.

— Это от счастья, — Луганов прижался щекой к его небритой щеке. — До свиданья, Мишук, до свиданья.

— Ну, с Богом, — повторил Волков. — Поезжай.

Автомобиль тронулся. Луганов махал шляпой. Волков неподвижно стоял у крыльца. Его длинная черная тень пересекала тротуар.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Когда автомобиль завернул за угол, Волков медленно поднялся по светлым от луны ступенькам и вошел в дом.

— Так, — проговорил он, запирая за собой оставшуюся открытой входную дверь. — Так.

Он медленно прошел обратно в кабинет, сел на тот же стул и налил себе водки, но не в рюмку, а в стакан. Потом, достав бумажник, вынул из него сложенный вчетверо листок и, не читая, положил рядом со стаканом. — Так, — сказал он снова, щелкнул зажигалкой и поднес листок к ее пламени. Листок вспыхнул и покоробился. Он бросил его на тарелку, листок быстро сгорел, остался только маленький клочок, всё, что осталось от молодости, от мамы-Кати, от прошлого. «Если со мной»... «Скажи Мише»... Он поднес к клочку зажигалку, и клочок, будто ожив, весь съежился, почернел, зашевелился, как гусеница и рассыпался пеплом. Волков растер пепел между пальцами, потом выпил водку и встал.

— Так, — проговорил он в четвертый раз и добавил. — Правильно.

Он снял телефонную трубку. Голос его звучал твердо и властно.

— Товарищ Максимов? Поднять с кровати, разбу-

дить! Не такое теперь время, чтобы спать. Всех предупредить. Чтобы через двадцать минут были у меня. Экстренное заседание. Жду!

Он повесил трубку, сел за стол, отодвинул тарелку, положил на ее место папку с бумагами и стал читать.

— Так, правильно, — сказал он, подчеркивая одну из строчек красным карандашом и перевернул страницу...

...Автомобиль завернул за угол, и Волков и его тень исчезли, превратились в прошлое, в воспоминание.

Высокие тополя поднимались к небу. В душистых садах спали выбеленные известкой дома, блестевшие, как снег под луной. Промелькнуло деревянное кружевное резное здание летнего театра. Его открытая сцена казалась издали голубым подводным гротом, вся залитая, как морской волной, голубым солоноватым светом. Оттуда неслась музыка, сливавшаяся с душистой тишиной кольцом охвативших театр жасминовых кустов.

Луганов закрыл глаза. Теперь он видел московский перрон и Веру. Вот она. Она стояла возле газетного киоска, держа в руках большой букет жасмина. Жасмин? Откуда? Неужели он нарвал его здесь, в этом саду, около этого театра? Но ему было некогда думать о жасмине. Он был весь поглощен Верой. Нет, она еще прелестней, чем он воображал. Ее прелестное оживленное лицо было повернуто в его сторону, и ожидание, сомнение и надежда скользили по нем, как тень, как вода, беспрерывно меняя его.

Это была она — Вера-любовь, Вера-возвращенная молодость. И за ней, как фон, Москва, война, победа.

Он выскакивает из вагона, он бежит к ней. Она увидела его и тоже бежит ему навстречу. Он обнимает, он крепко прижимает ее к себе, ее и душистый хрустя-

щий букет жасмина. Обеими руками. Да, обеими руками. Его левая рука крепко обхватила Веру за плечи. Но ведь она не действует, она всегда безжизненно висит на черной перевязи. Как же это? Как может она обнимать Веру? И вдруг он понимает. Да, его рука больше не безжизненна. Чудо было бы неполным, если бы рука не стала здоровой. Ему всё возвращено, и рука тоже. Как Иову...

...Автомобиль катился по широкой дороге. Светлая полоса горизонта отделяла таинственно спавшую землю от таинственно спавшего неба. Шелковый шум ветра нежно перекликался с шелестом шин.

Это была прекрасная и торжественная украинская ночь. Первая ночь его новой жизни. Он закинул голову и стал глядеть на черное звездное небо. Над его головой, задевая его волосы, звеня в его ушах, пронеслось великое предчувствие новой жизни. Его глаза наполнились слезами. Он смотрел на звезды сквозь мокрые ресницы. Звезды протянули к нему тонкие, сверкающие, острые лучи, и каждая звезда томительным счастьем вонзалось ему в сердце.

Он опустил голову в блаженном изнеможении. И вдруг почувствовал, до чего он устал. Теперь ему казалось, что с утра прошли длинные невероятно-изнурительно счастливые годы. Ему хотелось выйти из автомобиля, лечь на горячую землю и лежать так, слиться с ней, стать частью ее, частью этой земли и этого неба. Слиться с ними, раствориться в них. Если бы можно было остановить автомобиль, лечь и остаться так лежать навсегда...

Он почувствовал остановку, перерыв движения, но не понял, что это значит. Только когда Федоров обернулся к нему и, улыбаясь, весело сказал:

— Придется вас потревожить, товарищ Луганов. Придется вам выйти посветить мне фонариком. Мотор

что-то шалит, — только тогда он понял, что случилась задержка и забеспокоился, заволновался.

— А мы не опоздаем?

— Пустое, мигом двинемся. Посветите только. Аккурат доставлю к поезду, будьте покойны.

Он осторожно и почтительно помог Луганову выйти из автомобиля и подал ему электрический фонарик.

Мотор был раскрыт. Луганов подошел и с тем же блаженным недоумением заглянул в его темную утробу.

— Мигом, — весело и уверенно повторил шофер. — И не заметите, как всё справлю. Только инструмент надо взять, и он исчез за спиной Луганова.

Луганов стоял у мотора, держа фонарик в руке. Как звезда, — подумал он и перевел взгляд на звезды. Звездный свет достигает земли в двести лет, — подумал он и снова взглянул на фонарик. Нет, это чувство счастья не могло так бесследно исчезнуть. Может быть, оно превратится в звезду. Может быть я держу в руках не фонарик, а звезду, и через двести лет ее свет, мой свет, дойдет до какой-нибудь другой планеты. Ему снова томительно захотелось лечь, прижаться к земле. Он нагнулся, вдыхая горячий запах земли.

— Так вот оно какое счастье, — подумал он в сотый раз в блаженном изнеможении.

Он не видел, как Федоров подошел к нему сзади, он не слышал выстрела. Перед его глазами вдруг ярко вспыхнул свет. Звезда-фонарь, — успел он подумать. Надо бросить. Он хотел разжать руку, но это не удалось ему. Он мягко упал на горячую землю. Рука его продолжала держать зажженный фонарик. Открытые глаза смотрели в небо.

Шофер нагнулся, взял из руки Луганова фонарик, потушил его, положил в карман, и, отойдя в сторону, достал из-за уха папиросу, чиркнул спичкой.

Он выкурил папиросу, вернулся к автомобилю, достал из-под сидения брезент и аккуратно разостлал его на земле. Потом, легко подняв тело Луганова, тщательно завернул его в брезент и отнес в автомобиль. И автомобиль, описав полукруг, покатился обратно в город по той же дороге.



ЭПИЛОГ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Под шум и грохот увозившего его в Москву поезда Волков читал Chartreuse de Parme. Он читал про вступление наполеоновских войск в Неаполь, и ему казалось, что он видит, как всё это было. Восторг захлестнул Неаполь. Город проснулся, как после долгого, скучного сна. Все обитатели его ожили, помолодели от восторга. Женщины бросали цветы под копыта лошадей фарнцузских солдат. Всюду — на площадях, в магазинах, в домах — раздавалась музыка. Пели, пили, танцевали, целовались. Ликовали. Праздновали приход освободителей. Да, это был праздник, настоящий праздник освобождения...

Так когда-то революционные французские войска входили в Неаполь. Но картина вступления наполеоновских войск в Неаполь сама собой превратилась в картину вступления русских революционных войск в Берлин.

Волков думал о том, как Стендаль, если бы он был нашим современником, описал бы все эти чудовищные насилия, зверские грабежи, невообразимое хулиганство, затопившее слезами, кровью и позором Берлин. Как бы описал он превращение народа-героя — в народ-преступник?

Он захлопнул книгу с чувством стыда. Ведь и он принимал в этом участие.

Он встал с дивана, вышел в коридор и прислонился лбом к темному холодному оконному стеклу. Дверь со-

седнего купэ тихо растворилась и Волков почувствовал тяжелый, липкий взгляд медленно скользивший от его затылка до каблуков его сапог, вниз и снизу вверх, пока не остановилась где-то на его хребте, между двумя позвонками. От точки, на которой остановился взгляд, по всему его телу растекалась волна холода и тошноты.

Волков повернул голову и увидел в щели двери глаз. Один только глаз, ни с чем не связанный, существовавший сам по себе, коричневый, блестящий, похожий на большого майского жука.

— Не спится, товарищ маршал? — спросил из купе голос его секретаря Малевского.

Дверь купе широко распахнулась и Волков увидел Малевского, стоявшего на пороге. Теперь его глаза потеряли сходство с майским жуком. Это были обыкновенные карие глаза, только немного слишком внимательные и умные для его простоватого лица. За Малевским в глубине у окна темнела фигура какого-то незнакомого человека в куцом пиджаке.

— Вы что же, не ложились еще? — притворно удивился Волков.

— Я в поезде никогда не сплю, — в голосе Малевского слышалось самодовольство. Он вышел в коридор и притворил за собой дверь. — Привычка. Приходилось часто ответственные документы возить. И вообще, на всякий случай.

Волков догадывался, на какой случай его секретарь не спал сегодня — на случай бегства его, Волкова из поезда.

— Зажигалка моя что-то испортилась, — сказал он. — Нет ли у вас спичек.

— Как не быть? Конечно, есть. Для вас запасся. Сам-то я не курю.

Он быстро достал из кармана спички и пачку американских папирос.

— Удобно с вами путешествовать. Не привык я к

таким заботам, — Волков с ненавистью смотрел на почтительно державшего перед ним зажженную спичку секретаря и не спешил закурить. И только, когда пламя спички совсем приблизилось к пальцам Малевского, он отступил на шаг и повернулся к окну.

— Не беспокойтесь. Что-то курить расхотелось, — и он стал смотреть в окно. — Вот деревья, — заговорил он снова. — Избитое сравнение, а всегда кажется ночью в поезде, что это не деревья, а призраки бегут мимо. Призраки... Много их, должно быть, в этих местах шляется. Без дела. Жизнь свою жалеют. А стоит ли ее, эту жизнь, жалеть. Как вы полагаете?

Малевский рассмеялся.

— Смотря, какую жизнь. Маршальскую, например, до чего жалко, должно быть, потерять. Могу себе представить, до чего...

Волкову показалось, что Малевский издевается над ним, но он кивнул притворно добродушно:

— Ну, ну, полегче. Без подхалимажа, товарищ. Хотел бы я свои 52 на ваши двадцать семь сменять. И маршальского звания не пожалел бы. С радостью отдал бы его в придачу.

Он зевнул.

— Пойду, попробую уснуть. Дайте мне теперь закурить...

Секретарь распахнул перед ним дверь его купе.

— Приятных снов, товарищ маршал.

Волков вошел в свое купе. Скошенное зеркало шкапчика, в котором вместе с полотенцами находился графин с кипяченой водой, отражало постланную на диване постель и лежавшие на ней четыре тома Стендаля. На закрытом умывальнике стакан попрежнему ударялся о бутылку коньяку и жаловался чистым стеклянным позвякиванием на какие-то обиды.

Всё было совсем такое же, как минуту тому назад, когда он вышел отсюда в коридор. И всё-таки он почув-

ствовал сразу, что что-то изменилось здесь. Когда он выходил отсюда, купе и все предметы в нем только догадывались, а теперь они знали. И это знание придавало какую-то сочувствующую одухотворенность, не только предметам, но и самому воздуху. Будто сочувствие оживило, одухотворило всё вокруг, и это от жалости к нему стакан вскрикивал, ударяясь о бутылку.

Волков остановился перед зеркалом и поправил один из многочисленных орденов «иконостаса», покрывавшего его грудь. Теперь этим жестом он заменял прежнее одергивание блузы. Мундир одергивать было незачем, он сидел на нем так плотно и ловко, будто прирос к нему.

Волков сел на диван, рука его дотронулась до одеяла, и он с отвращением отдернул ее. «Какое шероховатое, какое красное!». Папироса, успевшая истлеть, обожгла его губы. Он выплюнул ее прямо на пол, не заботясь о том, что бобрик может загореться.

— Да, теперь уже совершенно ясно. Теперь уже не может быть ни малейшего сомнения. Ни малейшего, — повторил он громко.

Теперь, когда он убедился, что секретарь не только следит за ним, но даже не ложится, чтобы помешать ему как-нибудь улизнуть из поезда, сомнений, действительно, уже не могло оставаться.

Два часа тому назад, когда Волков на одной из остановок вышел бесцельно побродить, он всё еще сомневался. Сомневался, хотя Малевский, оставшийся в вагоне, будто рассеянно приподняв занавеску на окне, следил за его прогулкой по платформе, хотя ехавший в твердом вагоне Федоров сейчас же оказался за его спиной, сопутствуемый двумя рослыми приятелями, ребятами из войск НКВД, и они втроем стали ходить по пятам Волкова. Сомневался, вернее, притворялся сам перед собой, что сомневается. Федоров так радостно

приветствовал его, так весело ловил его взгляд, что присутствие ребят НКВД почти теряло свое зловещее значение.

Всё могло быть случайностью. Он очень устал. Нервы его истрепались. Может быть, он просто начинает страдать манией преследования. Ведь ничего или почти ничего серьезного, в сущности, не произошло. И было спокойнее не думать об этом.

Но теперь уже нельзя было не думать, и он стал вспоминать, с чего это началось. Напрягать память, оказалось, незачем. Оказалось, что он знал это давно. ...Это началось в 44-ом году, когда, приехав на несколько дней с фронта в Москву, он обедал в Кремле.

За обедом говорили о новом гимне и его словах.

— Что же, слова ничего себе. Подходящие и всё в них правильно, — заметил Великий Человек. — Только, конечно, надо было лучше, задушевнее сказать о том же. Жаль, что никто не сумел, — он перегнулся через стол к сидевшему напротив него Волкову и взглянул ему в глаза. — Вот, твой друг Луганов, наверно бы сумел. Как песню эту свою...

Волков знал, что Великий Человек говорит о последнем стихотворении Луганова. Волков напечатал его под тремя звездочками в «Красной Газете» в первые дни войны. Но ни перед редактором, ни перед Великим Человеком он не скрыл, что это стихотворение было написано Лугановым в день его смерти.

Стихотворение сразу пришлось всем по душе. Популярный композитор положил его на музыку. Так получилась песня, ставшая, как будто, неотделимой частью красной армии, песня, которую сами солдаты называли «нашей». Ее пели повсюду и всегда. Она была так естественна и проста, что солдатам могло казаться, что они сами тут, сейчас, на месте сложили ее. Она выражала всё, что им было необходимо, чтобы воевать, надеяться, терпеть и победить.

— Споем нашу песню, — говорили солдаты, отступая, — всё-таки не так тяжело будет.

— Споем нашу песню, — говорили они после выигранного сражения, — с ней победу лучше чувствуешь...

— Споем нашу песню, — предложил Великий Человек тем самым тоном, которым говорили это солдаты на привале ночью, у костра.

И все обедающие: их было шестеро — запели. Все, за исключением Волкова. Он не мог себя заставить петь этой песни, он, как всегда старался даже не слушать ее. На фронте это удавалось ему. В поле или в лесу цоканье копыт или тяжелый шаг пехоты помогали вниманию распыляться. Голоса разливались широко под открытым небом, слова сцеплялись друг с другом, сливались в бесформенную звуковую массу, смешивались с ветром, солнцем или дождем. Можно было не слушать, знать, что это его не касается, что он в стороне, как вон та ель мимо которой сейчас пройдут поющие солдаты.

Но здесь, в небольшой, накуренной комнате с низким потолком он чувствовал, что эту песню поют именно для него. Слова ее касались его лба, его ушей, входили в его сознание. Он не мог им сопротивляться. Стены и низкий потолок мешали им улетать. Они оставались здесь. Они оседали на предметах, они наполняли накуренный воздух дымом прошлого.

Волков чувствовал себя глубоко в настоящем. С самого начала войны он целиком ушел в настоящее, в сегодняшний день. Прошлое перестало мучить его. Он зачеркнул его раз и навсегда, отрезал от себя, выбросил из памяти. Его прошлое начиналось с первого часа войны. У него не было другого прошлого. Ничего, кроме настоящего и будущего. Будущее была победа, только победа. Сегодняшний день подготовлял победу и защищал Волкова от воспоминаний, не связанных с войной.

Он смотрел на лица поющих. У всех, вместо ртов, были круглые черные дыры. Стекла пенснэ Молотова сверкали алмазным блеском на его коротком носу. Лампа спускалась низко над небрежно, без затей накрытым столом. Пятна вина и соуса грубо темнели на скатерти среди переполоха стаканов, бутылок и тарелок.

Великий Человек тоже пел. Его спокойный тяжелый взгляд был обращен на Волкова, будто ставя его в центр того, что происходило здесь сейчас. Во взгляде Великого Человека было что-то, похожее на предостережение.

Эта песня и устремленный на него непонятный взгляд Великого Человека вдруг лишили Волкова защиты сегодняшнего дня и будущей победы, заставив твердую почву настоящего заколебаться, как будто это не был покрытый текинским ковром пол одной из комнат Кремля, а тряское болото прошлого, готовое засосать Волкова воспоминаниями.

Отчего он так смотрит на меня? Чего он хочет? И он, не решаясь отвернуться, чтобы избежать настойчивого взгляда Великого Человека, опустил глаза. Теперь он видел руки Великого Человека. Они спокойно лежали на скатерти. Правая, сжатая в кулак, покрывала левую больную, лежавшую совершенно плоско. Руки были белые, очень чистые, правильной формы. Казалось неестественным, что они принадлежали Великому Человеку. Они совсем не подходили ему ни своей белизной, ни своей красотой, резко отличаясь от желтизны его лица. Только спокойствие их, удивительное спокойствие было то же, что в лице и во всей его фигуре. И по этому спокойствию становилось ясно, что они не могли принадлежать никому, кроме Великого Человека.

Но сейчас вид этих знакомых рук был почему-то невыносим. И он снова взглянул в лицо Великого Человека. Лицо Великого Человека казалось усталым. Следы оспы выступали резче, чем прежде на покрытой

морщинами желтой коже. Он старательно пел, показывая из-за больших усов испорченные, криво посаженные зубы. Усы его уже не были черны, и волосы, особенно на висках, сильно поседели.

Как он постарел, — подумал Волков. — Он гораздо старше меня. А ведь он переживет меня. Мысли его закружились колесом, вдруг перестав считаться с правилами обыкновенного мышления. Толчок. Остановка. Неожиданный вывод: он убьет меня!

Он дернул головой, чтобы освободить ее от нелепой мысли. Какой вздор! Он нагнулся над тарелкой и стал резать баранину. Нож, соскользнув, громко царапнул по тарелке. Вздор, вздор, вздор, — мысленно трижды повторил Волков. Он чувствовал себя в полной безопасности. Он сознавал, что он незаменим, необходим, что он один из тех, кто «куют победу». Он ткнул вилкой в кусочек баранины и, не подцепив его, поднял пустую вилку. Движение вилки остановилось между тарелкой и ртом. Он убьет меня, — снова и теперь уже совершенно убежденно, как о чем-то, что он давно знает, подумал он. — Убьет меня, как он убил Андрея.

У Волкова была твердая, хорошо дисциплинированная голова. Оттого, что он раз и навсегда запретил себе это, ему удавалось никогда не вспоминать о смерти Луганова.

Он чувствовал, что с ночи смерти Луганова он очень изменился, что он уже не прежний. Казалось он должен был еще более ожесточиться, стать еще менее доступным человеческим чувствам. Но с ним произошло как раз обратное. Он стал мягче, добрее. Он стал жалостливым. Будто в нем, с той июньской ночи, освободился запас чувств, уходивших прежде на дружбу к Луганову, на романтическую любовь к мертвой маме-Кате. Но теперь, когда он запретил себе думать о Луганове и о маме-Кате, чувства эти неприятно зашевелились в нем, требуя себе применения. Он, прежде ни-

когда не бывший популярным среди своих подчиненных, теперь стал героем солдат, их знаменем, их иконой. Его боготворили в армии, хотя он и не понимал, за что.

Он научился обращаться с солдатами с ласковой фамильярностью. Он расспрашивал их о их семьях, посылал приветы их матерям и женам. Он научился разговаривать с ними интимно и простодушно, будто он, действительно тесно связан с этими солдатами, любит их интересуется их судьбой. Это была совсем новая для него манера разговора с глазу на глаз и она не легко давалась ему. Свою прежнюю митинговую манеру говорить он оставил теперь только на случай произнесения пропагандных речей.

Конечно, он притворялся, он играл роль. Но он понемногу так вошел в свою новую роль, что солдаты, действительно, стали ему близки. Он чувствовал к ним что-то отдаленно похожее на нежность, на жалость. Особенно на жалость. Он жалел их. Жалел за их грубость, за их дикость, за то, как безропотно они переносили свою каторжную жизнь, за то, как смиренно они умирали. Так просто, молча умирали — как птицы, как деревья.

Солдаты боготворили его. Они были уверены, что Волков олицетворяет собою победу. И куда бы он ни приезжал, говорили: — Ну, теперь, баста. Теперь начнем немца бить.

И действительно, успех, почти невероятный успех, сопутствовал Волкову повсюду.

Чокаясь водкой, солдаты говорили: «За победу, за Волка!». Или даже просто: «За Волка!». — Волк и победа были для них синонимы.

Но с высшим офицерством у него установились холодные и натянутые отношения. Его, конечно, слушали: ведь он на деле доказывал то, что говорил. Перед ним заискивали. Ему завидовали. Но его не любили за попу-

лярность в армии и непрестанную удачу. Он стал еще более одинок, чем прежде.

И сейчас, сидя за обедом в Кремле, он чувствовал, что его настоящее место не здесь, а на фронте, среди солдат.

Кончили петь и снова заговорили и наполнили стаканы. Ворошилов потянулся к Волкову, чтобы чокнуться с ним. На его полном, холеном, почти барственном лице появилась лукавая усмешка: «Ну, за победу, за Волка!». Этим тостом он не только издевался над Волковым, но еще наносил маленький укол самолюбию Великого Человека. Ведь, официальный тост был: «За победу, за Великого Человека».

Но Ворошилов мог себе позволить многое... Дружба Великого Человека к нему была непоколебима.

И Великий Человек перегнулся через стол с самой добродушной из своих улыбок, с той улыбкой, которой он один умел улыбаться, когда хотел, а это случалось не часто. Он тоже чокнулся с Волковым. — «За Волка!». Но в глазах его попрежнему прятался огонек, похожий на предостережение.

— А с Лугановым ты всё-таки поторопился, — сказал он помолчав, веско и медленно, будто продолжая прерванный разговор. — Как бы он сейчас пригодился. Жаль...

Он выпил стакан до дна и, поставив его обратно на стол, отвернулся и спокойно заговорил с Кагановичем.

На следующее утро Волков уехал обратно на фронт, и всё пошло попрежнему, будто и не было этого обеда в Кремле.

В 45-ом году, незадолго до взятия Берлина, Волкова произвели в маршалы. Это скорее удивило, чем обрадовало его. Для него слово «маршал» было связано с эпохой Наполеона, не имевшей с теперешней ничего общего. Маршал Монсо, маршал Ней — это звучало. Но

стоило подставить, вместо Ней или Монсо, Волков или Рокоссовский, как получалась «неувязка». Это казалось ему игрой, пусть страшной игрой, ставка которой жизнь, но всё-таки игрой. А на игру он был неспособен, он даже в детстве не любил и не умел играть. Надев свой маршальский мундир, он почувствовал в нем себя неловко, не по себе. Не физически, а душевно не по себе. Вскоре к чувству душевной неловкости прибавилась скука. Он заскучал после победы. Ему казалось, что у него уже нет и больше не будет дела. Чем же это кончится? Что будет дальше? Он ждал.

Ждать пришлось не очень долго.

Это случилось на одном из официальных приемов в Берлине. Он, как всегда, приехал поздно, только чтобы показаться, не дать иностранным корреспондентам сплести какую-нибудь очередную басню о причине отсутствия маршала Волкова. Он успел пройтись по всем залам и пожать руки нескольким союзным генералам и дипломатам, он уже собирался уезжать, как вдруг, по особому ощущению пустоты в костях, понял, что что-то должно случиться. Не вообще когда-нибудь случиться, а сейчас и здесь. Ему захотелось остановиться и оглянуться, но он чувствовал, что этого делать нельзя, что надо продолжать идти к выходу. Идти, уходить, спасаться. Но от чего спасаться? Какая опасность была там, за его спиной? И даже если там, действительно, пряталась опасность, ведь он не боялся опасности. Он вообще ничего не боялся, никогда не испытывал страха. Так что же с ним? «Просто нервы», — успокоил он себя и оглянулся.

Ничего необычайного не было там, за его спиной. Всё было так, как должно было быть на таких приемах. И люди, и вещи, повидимому, исполняли роли, для которых были предназначены. И свет хрустальной люстры спускавшейся с потолка, тоже исполнял свою роль, освещая совсем обыкновенную картину.

Конечно, нервы, — повторил он про себя с облегчением и оглядел сидевших в креслах дипломатических дам. Это было всё те же или такие же дипломатические дамы, как на всех приемах, на которых ему приходилось бывать. Волкову казалось, что они все чрезвычайно похожи друг на друга, все на одно лицо. Конечно, он знал, что это не так. Но для него они были похожи, как похожи между собой негры или китайцы, для европейца. Они принадлежали к совершенно другому миру. Всё в этом другом мире было так чуждо ему, что только эта чуждость бросалась ему в глаза, мешая ему замечать подробности, которыми эти дамы отличались друг от друга. Они были просто «дипломатические дамы», праздные, элегантные, сверкающие драгоценностями и улыбками. Они неестественными голосами, произносили всё те же ничего не значущие слова, Они были созданные для того, чтобы «украшать» такие, вот, приемы. И сейчас они, исполняя свою роль, «украшали» этот прием, хотя ему и казалось, что без этого «украшения» здесь было бы всё-таки не так противно.

Он уже хотел продолжать свой путь к выходу, но глаза его вдруг встретились с глазами одной из этих «дипломатических дам». Ему показалось, что кресло, в котором она сидела, вдруг с невероятной быстротой покатилось к тому месту, где стоял он. Он увидел совсем близко неподвижные глаза, светившиеся холодным светом на неподвижном лице. Он хотел отвести взгляд от этого лица и не мог. Но кресло с сидевшей в нем дипломатической дамой уже снова отдалилось и стало у стены. До него не меньше десяти шагов, — подумал Волков, — как же мне могло показаться, что она была здесь рядом со мной, эта странная, эта неприятная женщина?

Теперь она, всё так же глядя на Волкова, сбросила с плеч длинную соболью накидку и встала. И вот уже она шла к нему. Не было никакого сомнения, что она

шла именно к нему. И что шагов отделявших ее кресло от того места, где он стоял было действительно десять — каждый ее шаг отдавался в его голове — он мог сосчитать их. Он чувствовал, как она приближается к нему, как передвигается воздух вокруг нее, расходясь кругами. Он уже попал в его круговорот, он уже был пойман, уже тонул, шел ко дну. И будто для того, чтобы не дать ему утонуть, она протянула ему руку в черной, сборчатой перчатке и сказала глуховатым, пустым голосом:

— Не узнаете? Неужели? А ведь я — Вера Назимова.

— Не может быть, — растерянно пробормотал он, беря ее протянутую руку. — И, несмотря на то, что он взял ее руку, или, напротив, именно оттого, что он взял ее, он чувствовал, что ему уже не спастись, что его уже уносит прошлое. Он стоял перед ней, горбясь от растерянности, почти с отчаянием всматриваясь в нее и не узнавая ее, не узнавая даже ее голоса.

— Не может быть. Как вы изменились...

— А вот вы совсем не изменились, — сказала она легко и светски любезно. — Только маршальский мундир... Я так рада. Я так давно хотела с вами встретиться... А помните, как мы с вами в последний раз виделись?

Она рассмеялась, будто их общие воспоминания были так забавны, что она никак не может удержать смеха. Но смех ее не был весел, он звучал пусто и абстрактно и не походил на смех светской женщины.

— Помните, как я перед вами на полу лежала и плакала, а вы меня сапогами топтали? Ах, нет, — тут же прервала она себя. — Это я для красоты преувеличиваю, для пышности. Сапогами вы меня не топтали, нет. Но ведь в прошлом всё всегда кажется еще пышнее и красивее, чем было на самом деле.

Она взглянула ему в лицо своими широко откры-

тыми не мигающими глазами, сияющими холодным, застывшим блеском. «Верно, кокаин нюхает» — подумал он, мучительно не зная, что бы ей ответить.

Но отвечать ему не пришлось, она продолжала тем же легким тоном:

— Вы удивлены, что я так изменилась? Неправда ли, и стала гораздо красивее? И все веснушки выведены, ни одной не осталось. И волосы, вы заметили, совсем светлые, почти белые. Это называется blond de lune. Вы слышали, я снова вышла замуж? За голландского банкира, вон того, — она кивнула головой в сторону, где на фоне окна какой-то английский генерал разговаривал с седеющим высоким господином. — Мне живется очень хорошо и очень весело. И я страшно богата... Она неожиданно сделала еще шаг и приблизилась совсем вплотную к Волкову. На него пахнуло ее духами. Духи были тяжелые и сладкие, в них чувствовался запах тубероз, и оттого, должно быть, он вспомнил о тлении, о кладбище. «Туберозы кладут в гроб», — подумал он, стараясь не вдыхать ее духов и всё так же растерянно стоя перед ней.

Она вся изогнулась и придвинула свое матово-белое лицо к нему. Крыло райской птицы ее шляпы коснулось его лба.

— А правда, — спросила она шопотом, — правда, что вы Андрея сами расстреляли?

Он отшатнулся от нее.

— Нет, — ответил он, тоже понизив голос до шопота. — Нет, неправда, — он ответил не ей, а самому себе. Он знал, что она не могла поверить. Но она поверила ему.

— Я так и думала, — сказала она просто. — Для этого надо было бы негодяем быть, — ее глаза смотрели на него холодно и зорко. — Нет, вы не негодяй. Негодяй непременно пожалел бы и понял меня тогда... И фантазии у вас не хватило бы. Приказать, конечно,

приказали, а чтобы самому, собственными руками... Нет, куда вам! — она покачала головой и, неожиданно рассмеялась, показала пальцем на его часы. — А часы? Часы всё-таки с его трупа сняли. Видно, и у вас, товарищ маршал, как у многих героев Красной армии, страсть к часикам...

— Это Андрей мне сам дал. В последний вечер. Он захотел, чтобы мы с ним обменялись часами, — невнятно и хрипло объяснил Волков. Он не понимал зачем объясняет. Ведь этому никто не мог поверить. Но она опять сразу поверила.

— Обменялись часами? — тихо и доверчиво переспросила она. — В последний вечер? Как похоже на Андрея. Так романтично. Весь он, — она задумалась и еще тише прибавила: — Продайте мне его часы!

Он всё так же растерянно стоял перед ней, подыскивая и не находя слов для отказа.

— Ведь я не за деньги хочу купить. Деньги, я знаю, вам не нужны. Я вам выгодное дело предлагаю. Может быть, пожалеете что не продали, да поздно будет, — она помолчала, ожидая его ответа. — Не хотите, — начала она снова. — Боитесь, что если отдадите эти часы, ваша жизнь, как жизнь Андрея, оборвется?

— Я не могу... Я обещал Андрею никогда, до самой смерти... — Ему казалось, что он только подумал, а не сказал это, но должно быть, он всё-таки сказал, и она слышала.

— Обещали? — удивленно переспросила она. — Ну, знаете, это пустяки. Мало ли что мы с вами обещали Андрею...

— Я не могу, — повторил он убежденно.

— Ну, что же, воля ваша, — она вздохнула и опустила голову. Тень перьев ее шляпы покрыла узорами ее лицо. — Что же, ведь я насильно не могу снять их с вас... — голос ее вздрогнул от огорчения. — Дайте хоть послушать, как они тикают.

Она обеими руками взяла его несопротивляющуюся руку и поднесла ее к своему уху и стала слушать. Она вся вытянулась и замерла. Лицо ее было теперь еще бледнее, еще неподвижнее. В нем не было решительно никакого выражения. Оно застыло в своей сияющей неподвижности. И эта неподвижность передалась, сковывая не только его мысли, но и его движения. Он не мог ни отнять свою руку, ни отодвинуться. Он понимал, какое странное зрелище представляли они собой и как дико должна была казаться со стороны его растерянная фигура с протянутой рукой и это нелепое слушание часов.

— Так шли минуты его жизни, — сказала она й веки ее опустились. Она, казалось, собиралась стоять так бесконечно долго, но он не мог пошевельнуться.

— Вы его часто вспоминаете? — вдруг спросила она и лицо ее ожило от боли, губы искривились, на лбу появились морщины. На мгновение ее молодое лицо стало старым, изуродованным страданием.

— Ах, если бы можно было не помнить...

Она вздохнула. Но вздох ее сразу перешел в смех. Ее руки отпустили его руку и даже слегка оттолкнули ее. Казалось, она уже забыла, что только что слушала тиканье часов Андрея. Она снова вполне владела собой и глаза ее снова светились холодным светом на ее молодом, неподвижном лице.

Волков был просто одним из знакомых, встретившийся ей на этом приеме и на него нельзя было тратить слишком много времени. Она улыбнулась ему светски-любезно.

— Я, право, очень рада, что мне удалось поболтать с вами.

Она кивнула, ставя этим кивком точку. И, легко повернувшись, пошла к окну, где всё еще стоял тот, которого она назвала своим вторым мужем.

Волков смотрел ей вслед. Нет, это не могло так кончиться. Она не сказала самого главного. Им надо объясниться. Но о чем? И какими словами?

Она уже стояла рядом со своим мужем, и ее муж заботливо накидывал ей на плечи длинную соболью накидку. Волков еще постоял немного на том же месте. Теперь ему казалось, что его раскачивает, как дерево под дождем. Он не знал, сможет ли он идти, или упадет, потеряв равновесие. Наконец, он двинулся. Ему казалось, что ноги не слушаются, что руки широко взмахивают, но это, повидимому, только казалось ему: никто не сторонился его, никто не смотрел на него удивленно. Он дошел до буфета и спросил себе коньяку. И опять ему показалось, что он бесконечно долго берет рюмку и подносит ее ко рту. Как будто, между его желанием выпить коньяк и исполнением этого желания встала стена. Рука не слушалась, мускулы не хотели сокращаться, горло не соглашалось глотать.

Но выпив коньяк, он как-то сразу пришел в себя и успокоился. И следующую рюмку он проглотил легко и с удовольствием.

— В одиночку пить вредно, — сказал, подходя к нему 2-ой советник посольства Шатров. — Разрешите составить компанию?

Все знали, что Шатров назначен 2-ым советником только для вида, и что на самом деле он всевидящее око НКВД.

Шатров потребовал и себе коньяку.

— Прелестная женщина эта ваша знакомая, — Шатров мечтательно смотрел в зал сквозь стекла пенснэ близорукими глазами на выкате. — Какая фигура, движения, шик. Ангелоподобна да и только. А ловка до чего...

Волков поставил рюмку обратно на стол, собираясь уходить. Шатров, подождав его вопроса, заговорил снова.

— От вас ведь, товарищ маршал, тайн нет. А может, вам уже даже известно...

Он сморщил брови и сделал паузу. Пенснэ на его носу затанцевало.

— Отчего вы не носите очки? — неожиданно спросил Волков.

— Очки? — от удивления Шатров снял пенснэ и даже помахал им. — Видите ли, по-моему, пенснэ гораздо изящнее, в нем что-то старорежимное. И к тому же сам Молотов носит пенснэ. А очки вульгарны. Так вот о вашей знакомой, — он надел пенснэ и внимательно уставился на Волкова. — Большущую карьеру она делает. Шибко в гору идет. В особенности после того, как подвела под расстрел своего любовника Штрома, — Шатров поднял рюмку. — Молодец баба! Выпьем за ее здоровье!

Но Волков отказался. Он уже и так слишком много выпил и торопился. Он попрощался с Шатровым и двинулся к выходу. Идти было легко. Ему удалось обогнуть группу разговаривающих, не задев их, и благополучно спуститься по лестнице.

В подъезде он остановился. Шел снег, и это показалось ему неестественным. Он не знал, действительно ли идет снег, или это только кажется ему. По улице проходили две немки, у каждой был закрытый зонтик в чехле. Значит, только кажется? Снег продолжал падать, хлопья его увеличивались и стали складываться в снежный узор, покрывая стены домов, крыши и небо. Но это длилось совсем недолго. К тому времени, когда подъехала машина и он сел в нее, исчезли не только снег и снежные узоры, но даже воспоминание о них.

Ничего не случилось, — убеждал он себя. — Ровно ничего. Но среди холода и разгрома берлинской ночи он понял, что напрасно старается обмануть себя. Не только случилось, но случившееся было непоправимым

и окончательным, хотя он и не знал, в чем оно заключалось.

А раз не знаю, что же об этом гадать? Узнаю в свое время, — подумал он, поднимая глаза на освещенную прожекторами полуразрушенную громаду Рейхстага. Когда-то он брал под лихое ура и этот Берлин, и этот Рейхстаг. Когда это было? Вчера или тысячу лет назад? Огромный кусок кумача нырял в волнах света и теней, в дрожащем сиянии ночного неба. На нем ясно выделялись серп и молот. Это был тот же самый советский герб, нарисованный кем-то наспех на клочке бумаги в только что занятом революционным Штабом Ленина Смольном. Он был всё тот же, похожий на виньетку или на вывеску сельскохозяйственной лавки. В нем было что-то временное, случайное, недоделанное. В нем чувствовалась неуверенность: вот приедет царский генерал на белом коне, сорвет и растопчет этот красный флаг, а нас всех повесит. Неуверенность, смешивавшаяся с ухарством — будь что будет. А пока

Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем!

И раздули. И вот, мировой пожар действительно разгорается, и этот советский герб, может, скоро станет гербом всей нашей планеты, — подумал Волков, застегивая воротник шинели.

ГЛАВА ВТОРАЯ

С этого вечера, как ему теперь казалось, жизнь его сорвалась и стала катиться вниз. Но тогда он не сразу заметил это. Он вообще стал замечать очень мало из того, что происходило вокруг него, во внешнем мире. Он, как будто, перестал видеть этот внешний мир, как он называл его, в отличие от новооткрывшегося для него мира, рисуя его себе очень приблизительно, в главных чертах, почти без подробностей. Может быть, причиной этого была просто порча зрения. Может быть, он, незаметно для себя, стал близоруким. Но нет, дело было не в порче зрения, а в утрате внимания. Стоило ему сосредоточить внимание, как он снова начинал видеть всё окружающее так же ясно, как прежде. Но напрягать внимание становилось всё труднее, и ему почти постоянно стало теперь казаться, что окружающее отделено от него кисейной занавеской, за которой скользят всевозможные рисунки и геометрические фигуры. Иногда рисунки образовывали целые картины. Чаще всего это были картины войны, полные движения людей, лошадей и танков.

После встречи с Верой Назимовой он больше не запрещал себе думать о Луганове. Ему казалось, что это будет ему не по силам, что позволив себе хоть раз сознательно вспомнить прошлое, он начнет беспрерывно мучиться воспоминаниями и с этим бороться будет

нельзя. Но этого, как раз, и не произошло. Он, действительно успел за войну отвыкнуть от своего довоенного прошлого. Почти никаких воспоминаний, несмотря на то, что запрет был снят, не возникало. О Луганове он думал теперь довольно часто, но как-то мельком, мимоходом, без мучений. Он не чувствовал своей вины перед ним. Он просто жалел, что Луганова убили. Кто убил? Об этом он не задумывался. Ему иногда было просто жаль, что у него больше нет друга, которому можно было бы рассказать о том странном ощущении, которое он теперь испытывал. Впрочем, самым странным в этом странном ощущении было то, что он почти ничего не ощущал. Отсутствие ощущений, отсутствие желаний и даже, как бы, отсутствие себя. Он как-то перестал себя чувствовать, чувствовать свое тело и свое «я». Иногда, ему казалось, он не вспоминал о себе по целым часам. Он как бы отсутствовал для самого себя. Причиной такого отсутствия мог быть бром, который он принимал на ночь, и коньяк, который он начинал пить с утра, чтобы разогнать сонливость, навеянную бромом. Причиной этого могли быть также книги. Чтение теперь занимало почти всё его время. Он совершенно забывал о себе за чтением романов, как бы переселяясь в героев. Не в одного, не в главного героя романа, а во всех действующих лиц, безразлично женщин или мужчин, детей или стариков. Он жил многообразной, раздробленной, противоречивой жизнью книжных персонажей, забывая о своей действительной жизни и о самом себе.

Иногда он не надолго выныривал из этого отсутствия и небытия в окружающую его реальность и, сознательно напрягая внимание, присматривался к ней. В такие минуты он всё ясно видел и замечал. Однажды, в одну из таких минут, он, захлопнув книгу, увидел себя сидящим в читальне офицерского собрания за круглым столом красного дерева. Вокруг стола стояло

еще три кресла, но они почему-то были не заняты, остальные читающие сидели у темных, закрытых шторами окон или по углам комнаты. «Должно быть, из уважения ко мне, чтобы не мешать мне», — догадался он. Это было ему приятно. Ему всегда мешала назойливая любезность окружающих. Он не мог нигде показаться без того, чтобы несколько человек сразу не пристали бы к нему. Он был слишком крупной фигурой. Многим хотелось хоть на минуту приблизиться к нему, быть увиденным рядом с ним, погреться в лучах его славы. Ему приходилось охранять себя от слишком бурного натиска лести, искательности и восхищения. И сейчас он с удовольствием заметил пустоту, образовавшуюся вокруг места, на котором он сидел. Но чувство удовольствия сменилось удивлением, когда он увидел, что никто не подходит к нему здороваться, хотя он явно кончил читать и даже отложил книгу, что никто не берет со стола, у которого он сидел, новых журналов, только что прибывших из Москвы. Это настолько удивило его, что он на следующий день решил произвести проверку: действительно ли произошла перемена в отношениях к нему или это только кажется ему.

Он пришел в офицерское собрание очень рано и, сев за еще пустой стол, заказал себе обед. Он медленно ел, наблюдая, как занимаются места за столом. Прежде как-то само собой выходило, что обедающие старались группироваться вокруг Волкова, как можно теснее, быть поближе к нему. Но сейчас, будто случайно, они усаживались у противоположного конца стола. Понемногу и остальные места стали заниматься, но два стула слева и справа Волкова так и остались пустыми. На них не нашлось охотников. И Волкову стало ясно, что его избегали. Настроение за обедом было мрачное и настороженное. И даже водка не внесла обычного оживления. Пили мало и были на чеку. Волков, притворяясь веселым и общительным, всё время обращался к обе-

дающим с распросами, стараясь вовлечь их в разговор. Справа, через стул от него, сидел молодой генерал, и выражение его лица уже начинало походить на хиросимскую маску страха, на ту знаменитую маску страха, которая так и осталась на лицах японцев, выживших после разрыва атомной бомбы. Неизвестно, может быть, через месяц-другой генералу придется отвечать на поставленный ему следователем вопрос: «А о чем вы говорили такого-то числа с Волковым за обедом в офицерском собрании?». И молодой генерал, нервно проводя рукой по щетинистой, коротко остриженной голове, не только обдумывал каждое свое слово, но и явно старался запомнить все слова Волкова.

Волков взглянул на ордена, на широкой груди молодого генерала и улыбнулся:

— Ишь, как вас разукрасили! Что твоя рождественская елка. Видно, хорошо родине послужили.

Молодой генерал не мог всё-таки не почувствовать высокой чести, которую оказывает ему маршал такой несвойственной ему любезностью, и постарался ответить улыбкой на улыбку, но губы его не слушались и только дернулись жалко:

— С вами ли мне сравниваться, товарищ маршал, — голос его, несмотря на страх, звучал фамильярно-почтительно. — У вас все!

— Да, — громко ответил Волков, стараясь привлечь к себе общее внимание. — У меня все. А знаете новый анекдот? — он еще повысил голос, он теперь обращался ко всем обедающим. — Так вот: один маршал говорит другому маршалу: «У меня почти все ордена. Только одного не хватает для расстрела». — Он расхохотался. — Одного только не хватает! А, каково? — Он, продолжая хохотать, осматривал обедающих. Никто не смеялся, никто даже не смотрел на него.

— И кто только сочиняет всю эту ерунду? — не-

одобрительно пробормотал молодой генерал, опуская глаза в тарелку.

— За такой анекдот автор десятью годами не отделался бы, — донеслось с того конца стола.

— А ведь забавно, — настаивал Волков. — Одного ордена до расстрела не хватает! А у меня все.

Но никто не пожелал поддержать разговор о взаимоотношении орденов и расстрела. Все как-то сразу шумно заговорили друг с другом, не обращая внимания на Волкова.

И когда он, кончив обедать, встал, никто не удерживал его, никто как будто даже не заметил, что он уходит.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Теперь он знал, что с ним боялись встречаться и говорить. Но это знание осталось каким-то абстрактным, он не сделал из него вывода. Он не думал, чем всё это вызвано. Или, вернее, он хорошо понимал, чтó всё это значит, но ему не хотелось думать об этом, додумывать этого до конца. Так было спокойнее, а спокойствие он теперь ценил больше всего. Спокойствие и романы, которых он прежде никогда не читал. Читая их, он не переставал изумляться. Ему никогда не приходило в голову, чтобы любовь и связанные с ней ревность, измены, разлуки, ссоры и примирения могли играть такую огромную роль в жизни людей. Неужели это, действительно, правда, и жизнь большинства людей совсем не то, что ему пришлось узнать на своем собственном опыте? Он часто представлял себе, что бы на его месте стал делать тот или иной герой прочитанного им романа. Так ли бы он поступил, как Волков, и докатился ли бы он до того состояния усталости и безразличия ко всему, которое он теперь испытывал. Усталость всё увеличивалась, несмотря на то или потому, что теперь безусловно наступило время отдыха. Но Волкову казалось, что он уже не может отдохнуть, что в нем нет больше возможности отдыха, как нет ни энергии, ни воли. Весь запас сил, энергии и воли, отпущенных человеку на всю его жизнь, он истратил на войну. И теперь он продолжал жить только по инерции, исполняя чью-то чужую,

враждебную ему волю. Исполняя ее оттого, что у него нет силы бороться с ней. Ни силы, ни желания. Ему вообще больше никогда ничего не хотелось.

Недели через две после опыта в столовой он получил вызов в Москву. Очень почетный вызов на совещание, где его присутствие, действительно, могло быть полезным. К тому же, его вызывали только на короткий срок. И всё-таки он прекрасно сознавал чтó скрывается за этим с виду таким невинным вызовом.

Сознавал, принимая его и соглашаясь ехать в Москву. Чужая, враждебная воля приказывала, и он не мог не слушаться ее, хотя он и догадывался, чем всё это должно кончиться.

Накануне отъезда, укладывая тома Стендаля в чемодан, он думал о том, как бы на его месте поступили Жульен Сорель или Фабрицио. Ответ был прост. Они, на его месте, наверно перешли бы в соседнюю зону к американцам или англичанам, у которых маршал Волков был в такой чести. Они бы, на его месте, порвали бы с прошлым и стали бы жить сначала.

Да, это было очень просто, но совершенно неисполнимо для него. Не в силу патриотизма и моральных законов, а потому, что Москва притягивала его. Москва, вернее, гибель. Ведь Москва и гибель значили теперь одно и то же. Москва приказывала, и он слушался. Москва велела ему ехать, и вот — он ехал.

С той минуты, когда он, выйдя в коридор, почувствовал на своем позвоночнике взгляд секретаря, он понял, что и взгляд этот был частичкой той же воли, которая заволакивала его сознание. И еще он понял, что спасения больше нет, и что всё произойдет еще скорее, чем он ожидал.

С той минуты прошло не больше получаса, но за эти полчаса он успел всё понять и додумать до конца. Прямо перед ним на вешалке раскачивалась его шинель,

мотая рукавами. «Как повешенный, — подумал он. — Нет, меня не повесят. Меня расстреляют». Его расстреляют. Каждый оборот вагонных колес приближал его к пуле в затылок, к блестящей никкелированной пуле уже ждущей его в вычищенном нагане того чекиста, которому выпадет высокая честь прикончить маршала Волкова.

Его единственное будущее, его единственная реальность была неотвратимая смерть, которую нельзя было не принять. Но он не мог понять, почему его смерть была неотвратима и чем она была вызвана. Жажда мести Веры Назимовой, как и зависть Великого Человека к популярности Волкова в армии, не являлись достаточным объяснением. Нет, должна была существовать другая, настоящая причина. Но она ускользала от него. Он чувствовал, что объяснение тут, совсем близко перед его глазами, среди уже снова начинавших покрывать стену чертежей и арабесок. Но оно было, как фраза на иностранном языке, он смотрел на нее и не мог ее прочитать, оттого, что не знал этого языка. И всё же было необходимо ее понять, иначе он не мог успокоиться. А покой было единственное, чем он еще дорожил. Он напрасно напрягал ум и волю стараясь отыскать ответ! «Не то, не то! Нелепость, — пробормотал он в отчаянии. — Бессмыслица».

— Бессмыслица, — повторил он громко, с расстановкой, вслушиваясь в это слово.

Стакан звякнул о бутылку коньяка, повторяя за ним: «Бессмыслица». — Бессмыслица, — прогудел паровоз. — Бессмыслица, — стучали колеса вагона. — Бесмыслица, бессмыслица, бессмыслица, — отстукивало его сердце.

И вдруг он понял, что это ответ — единственный ответ, объясняющий всё. Он путался в догадках, искал логических выводов, а всё было так ясно, так просто.

Он вздохнул с облегчением. На мгновение он по-

чувствовал покой, и что-то смутно напоминавшее радость. Теперь он понял, что он напрасно искал причину своей гибели и ее смысл. Ни причины, ни смысла не было. Была только бессмыслица. Бессмыслица и пустота. И ничего больше.

Среди чертежей и геометрических фигур, на стене купе, замелькали образы прошлого. Образы личной жизни Волкова и образы революции, с которыми так неразрывно была связана его жизнь. Он настороженно следил за ними, как рыболов следит за поплавком, готовый подсечь клюющую рыбу. Но где то мгновение когда революция потеряла смысл и превратилась в бессмыслицу? Он искал его в своей памяти и не находил. Вот Ленин говорит с балкона особняка Кшесинской, вот народ берет штурмом Зимний Дворец, вот гражданская война, вот подавление кронштадтского восстания. Всё это было полно неопровержимого смысла. Ленин, гениальный революционер, держал в руках еще неокрепшую власть. Одни защищали эту власть, другие стремились отнять ее у него. В руках Ленина были прогресс, материальное и социальное раскрепощение, короче говоря свобода и светлое будущее. Все средства были хороши для защиты революции. Все средства: предательство, доносы, уничтожение тысячей жизней, вся машина террора, укреплявшая революцию. Величие перемен происходивших тогда в России, было видно всякому, даже слепцу. В его сиянии грязь, жестокость, предательство, убийство, превращались в чистоту, милосердие и геройство.

Если даже Ленин ошибался, — думал Волков, — и вместе с ним ошибались все мы, — смысл этой грандиозной борьбы был очевиден. Цель, хотя бы ложная цель, существовала. Но когда же всё превратилось в бессмыслицу? Тогда, когда оппозиция была уничтожена и вся власть сосредоточилась в руках Великого Человека? Или в день подписания невероятного пакта дружбы

с Гитлером покрывшим стыдом всю страну? Или во дни показательных процессов? Или в ту ночь, когда он, Волков, убил Луганова?

Он не знал, он знал только, что смысл был утерян. И еще он знал, что с тех пор, как смысл был ею утерян, советская власть укрепилась, стала неуязвимой, несокрушимой. Работа машины террора, стала с тех пор самоцелью. Теперь она кружилась вокруг пустоты, в центре которой находился Великий Человек, дробя души и жизни обитателей Советского Союза. Но значило ли это, что Великий Человек владычествовал, как прежде, над партией и страной? Этого, — думал Волков, — никто кроме Великого Человека не знает, вернее не знает даже он. Это узнают только после смерти Великого Человека.

Волков встал, налил стакан коньяку и выпил залпом. Что знает царица термитов о своей судьбе и своей власти? Она существует, она выполняет свое, неизвестное ей назначение. В царстве термитов, называющемся СССР, — все рабы, все должны трудиться до предела своих сил, все подвластны одному, неумолимому бесчеловечному закону. Все несчастны и дрожат от страха для того, чтобы каждый был несчастен и дрожал от страха. Машина террора управляет всеми обитателями страны, опутывая всех сетью взаимной слежки и непрекращающейся чистки. Машина террора не нуждается больше, чтобы кто-нибудь управлял ею.

Он засмеялся злым смехом и налил новый стакан коньяку.

Какое великолепное изобретение! И забавнее всего, что оно, дробя всех и вся, никому не приносит выгоды. Какая замечательная система! И это с такой страной мудрые союзнички хотят поддерживать отношения обоюдно выгодные для обоих демократий! Ихней западной и нашей восточной. Так, кажется, называется на их языке эта перпетуум-мобиле террора. Волков плюнул. —

Кретины! Дружеские отношения с муравейником. Муравейник можно только облить керосином и сжечь, покуда термиты не пожрали мир. И притом сделать это пока не поздно. Впрочем, пусть делают, что хотят. Тем хуже для них. Меня это уже не касается.

Он быстро обернулся и взглянул на дверь. Ему показалось, что он больше не один в купе. Но это тоже только показалось. Дверь была попрежнему заперта и никто не мог войти. И всё-таки он чувствовал, что кто-то или что-то находится здесь, рядом с ним, У этого «что-то» не было ни формы, ни цвета, ни плотности, но он чувствовал его присутствие. Это «что-то» был страх. Впервые испытываемый им страх. До сегодняшнего вечера ему никогда не приходилось — не удавалось, как он насмешливо говорил — бояться. Он сознавал, что такое неестественное отсутствие страха обесценивает его храбрость. Ведь храбрость — преодоленный страх, кто этого не знает? И если нет страха, значит нет и настоящей храбрости. И — нечего гордиться.

Прежде страх был ему так же незнаком, как вера в Бога. Он часто когда-то доказывал Луганову, что одной из основ веры является страх. Оттого вера так непонятна ему, так недоступна, оттого-то он даже представить себе не в состоянии, что можно верить. «Вот, если бы я умел бояться, я бы наверное понял. Верующий прежде всего боится — это непременное условие веры».

И вот теперь, сидя в поезде, увозящем его в Москву, он боялся. «Чего я боюсь?» — спросил он себя, и ответ нашелся сам собой: «Всего боюсь. Боюсь того, что я сделал, боюсь того, что сделают со мной, боюсь прошлого, боюсь будущего, боюсь этой, сейчас еще длящейся минуты. Боюсь нелепости, которой я отдал свою жизнь, и которая скоро покончит с тем, что еще осталось от моей жизни. Боюсь всех жертв, которые я

принес, и самой невероятной из них — убийства мамы-Кати».

Да убийства, — подумал он. — Это было убийство. Он убил, уничтожил ее в ту ночь. Ведь до той ночи она была жива в его сердце, в его памяти. Он постоянно думал о ней, он разговаривал с ней. Она присутствовала в его жизни более реально, чем большинство окружающих. Она была тут, рядом с ним. Стоило ему перечесть ее прощальное письмо, чтобы сейчас же увидеть ее лицо, ее улыбку, почувствовать ее дыхание на своей щеке. Это не было воспоминание о ней, это было продление ее земной жизни. Его любовь к ней не давала ей окончательно исчезнуть с земли. Но в ту ночь, когда он сжег ее письмо, он убил ее. Убил мертвую. И это было еще ужасней, чем убийство Луганова.

Теперь он думал о смерти Луганова и о самом Луганове. Он думал о нем с завистью. В сущности, Луганов всё-таки был счастливцем. Он верил в Бога, он надеялся. Он молился Богу и Бог услышал его. Бог сделал для Луганова всё, что можно было сделать для человека в Советском Союзе. Он послал ему неожиданную радость перед смертью, он избавил его от мучения ожидания смерти и сделал самую смерть его незаметной. Большего, конечно, даже от Бога нельзя было требовать при данных обстоятельствах.

Ведь Бог, действительно, помог Луганову. Волкову вдруг стало жаль, что он не верит в Бога, что Бог не поможет ему, что он будет всё ясно сознавать до самого конца, и смерть его будет позорной и мучительной. Смерть его, действительно, будет смертью, концом всего, что его не ждет чудо воскресения. Ему было страшно. Но одного страха было недостаточно, чтобы так сразу поверить в Бога. Нет, даже и сейчас он не мог верить, не мог молиться, не мог ни на что надеяться. Смертельный страх — подумал он. — Нет, проще, обыкновеннее — страх смерти.

Он не мог больше связно думать. Должно быть, от качки, от толчков вагона, так противоречиво уничтожая друг друга, расплываются мысли. У меня никогда не было логики. Только казалось, что есть. Логика вообще не в чести у нас, русских...

Он вдруг весь подтянулся. «А ведь я могу еще сыграть с ними штуку. Смешную штуку, — прошептал он. — Проявить свою волю напоследок. Не подчиниться. Как испугается секретарь найдя утром купе, пустым!.. Как переполошатся в Москве. Я посмеюсь над ними. Да, да, — шептал он всё быстрее. — Я пущу себе пулю в лоб стоя на ступеньках вагона. И полечу вниз, под откос. Смешная штука на прощанье»...

Он встал с дивана, широко расставив ноги для устойчивости.

Написать письмо Великому Человеку?.. Нет, не стоит. Ведь всё равно ничего объяснить нельзя. И времени мало...

Поезд снова качнуло. Толчок был так силен, что Волков не удержался на ногах. Он упал навзнич на диван и ударился затылком о стенку купе. Стало темно и тихо. Вот, так будет, когда пуля пробьет мне череп, — полуобморочно подумал он, открывая глаза. — Вряд ли больнее. А, может быть, напротив, будет больно, нестерпимо, невероятно, невообразимо больно, и минута смерти будет бесконечно длиться. Ведь чувство времени наверно исчезнет, и минута смерти может показаться длиннее, чем вся жизнь. Неизвестно, ведь... Он, не меняя позы, старался представить себе ощущение своей смерти. И вдруг почувствовал, что страха больше нет, что страх сменился любопытством. «Как это будет? Как?».

Он продолжал лежать на спине, глядя на стенку купе, на которой уже снова стали появляться узоры и геометрические фигуры. Он знал, что стоит ему только напречь внимание и внимательно посмотреть на стенку

— и узоры исчезнут. Но ему было не до них, они не беспокоили его больше. «Пусть себе, как мухи, бегают и перелетают с места на место. Как это говорит Жюльен Сорель перед казнью? Скоро я узнаю о великом, быть может?». Так, кажется?

Ему захотелось перечесть это место. Он сел на диван, взял второй том Le rouge et le noir и стал его перелистывать, ища нужную страницу. С двухцветной черно-красной обложки соскользнуло красное пятно и превратилось в шарик. Красный шарик волчком закружился перед Волковым и покатился по бобрику. Но Волков только краем глаза увидел его. Внимание его привлекла фраза Жюльена Сореля: L'homme qui veut chasser l'ignorance et le calme de la terre doit-il passer comme la tempête et faire le mal comme au hasard?[1] Он задумался. «Как будто, про нас, про наши советские дела, — прошептал он. — Про Великого Человека. И, если правда, что надо пройти «comme une tempête et faire le mal comme au hasard», — тогда в этом было бы оправдание и мне, и моей жизни. Оправдание? Разве можно оправдать мою жизнь? И если история даже оправдает, разве это утешит меня? Он покачал головой. Не знаю и мне уже некогда рассуждать об этом. И он стал снова перелистывать страницы. В тюрьму не позволят взять Стендаля, — подумал он с сожалением. — В тюрьму? А как же насчет прыжка с поезда, насчет выстрела в висок, насчет смешной шутки?

Нет, это было ему не по силам, это требовало энергии и воли, которых у него больше совсем не было. Ему не хотелось, он больше не мог двигаться. Это только казалось, что застрелиться будет легко. Теперь он знал, что это невозможно: ноги отказывались идти, ру-

---

[1] Человек, желающий прогнать невежество и спокойствие на земле, должен ли он пронестись, как буря, и причинить зло, как бы нечаянно?

ка отказывалась взять кольт. Перед тем, как застрелиться, надо еще поднести дуло к виску. Нет, это не удастся. Но отчего? Оттого, что запрещено, — вдруг понял он. — Запрещено. Всё должно быть так, как полагается: тюрьма, суд, расстрел. Таков порядок вещей и его нельзя нарушать. Не полагается.

Он лег поверх одеяла и стал читать с чувством, похожим на блаженство. Как странно, думал он, не отводя глаз от книги: — почему я прежде не читал? И музыка. Ведь я любил музыку, а вот никогда не слушал. Отчего? Поздно, поздно думать об этом. И тепер уже всё равно...

Он нашел место, которое искал, и стал читать с таким нетерпением, будто это было самое необходимое, единственное, что ему оставалось сделать перед концом жизни.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

...Мишук Волков, ученик III-го класса II-ой Петербургской гимназии проснулся от чувства радости. Вчера вечером, после целого дня сборов, он, мама-Катя и Андрик заняли купе в поезде и сейчат они выйдут из него и попадут в то невообразимое, бесконечное наслаждение, которое называется летними каникулами в имении.

Мишук увидел синюю занавеску окна, окаймленную двумя солнечными линиями. Он громко зевнул и спохватился. Ведь мама-Катя и Андрик еще спят. Он не видел их, но чувствовал, что они здесь, что они спят. Их присутствие, их сонное дыхание, их тепло входило в его радость. Он лежал, чувствуя под своей щекой нежное плечо мамы-Кати, вдыхая запах ее духов. Он лежал, не шевелясь, стараясь сквозь стук поезда услышать стук сердца мамы-Кати.

Он вспомнил, как вчера перед сном она, усталая и веселая, кормила их с Андриком холодными котлетами и крутыми, как на Пасху, яйцами, и как это было вкусно. Кормя их, мама-Катя читала им стихи, сочиненные Андриком, когда его восьмилетнего везли с вокзала в имение по плохо мощенным улицам уездного городка:

И везут нас в тележке трух-трух, тру-рух,
Как на бойню быков или в церковь старух.

Это трух-трух заставило их всех троих хохотать.

Они повторяли его на разные голоса под шум колес, пока не заснули.

— Андрик, — позвал Мишук шопотом. — Ты проснулся, Андрик?

Ответа не было, и Мишук стал осторожно выкарабкиваться из-под дорожного пледа. Он встал на четвереньки, готовый опустить ногу на пол, как вдруг увидел чью-то лысеющую голову, глядевшую на него очень темными подпухшими глазами. Голова выглядывала из скошенного угла купе, как из окна. Это была старая мужская голова, отвратительная своей реальностью и настойчивостью, с которой она уставилась на Мишука. Но откуда она взялась? Это сон, — подумал Мишук. — Никакой головы здесь нет и быть не может. Я еще сплю, и голова снится мне. Я еще сплю, как Андрик, как мама-Катя.

Он сполз с дивана. Сплю, — повторил он и снова взглянул в угол купе.

Голова попрежнему была здесь. Но теперь у головы появилась шея в растегнутом воротнике мундира и верх груди, увешанный орденами. И теперь у нее появилось имя: Михаил Волков и звание Маршал Советского Союза, а глядевшего на нее Мишука Волкова, ученика III-го класса II-ой Петербургской гимназии не стало.

Мишук весь целиком переместился в маршала Волкова, отражение которого смутно виднелось в зеркале туалетного шкафчика.

Волков провел рукой по глазам. Откуда взялись эти забытые детские ощущения и детское пробуждение? Просыпаясь, он всегда сразу сознавал, кто он и где находится, и какой сегодня день и число. Как же это? Он оглянулся на диван, будто всё-таки надеялся найти на нем спящую маму-Катю. Но вид томов Стендаля, лежавших на красном одеяле, окончательно восстановил вокруг него трезвую реальность сегодняшнего дня. Поезд качало. Во сне мама-Катя говорила, что-то о качке

поезда и читала какие-то стихи. Он стал вспоминать и, наконец, вспомнил:

Трух-трух, тру-рух,
Как на бойню быков
Или в церковь старух.

Но разве у Андрея были такие стихи? Или это он сам сочинил их во сне? Он, кажется, прежде никогда не слышал их. Но они могли храниться с детства в его памяти и теперь во сне обнаружиться. Кстати, к случаю обнаружиться.

Волков обтер лицо мокрым полотенцем. — Да, кстати, к случаю обнаружились. Ведь, так, совсем так выглядит бык, которого везут на бойню, — подумал он, застегивая воротник мундира перед зеркалом. — Трух-трух, тру-рух! Последнее путешествие маршала Волкова!..

Он подошел к окну и поднял синюю штору.

Перед смертью мир всегда кажется необычайно очаровательным. Вот прекрасный случай проверить правильность этого утверждения, — насмешливо подумал он.

Ничего очаровательного не было в том, что он увидел. Всё было совсем обыкновенное, скучное и будничное, давно надоевшее. Мужик в лаптях гнал по размытой дождями дороге пеструю корову, за ними, нелепо прыгая, бежал белый теленок. Пятна на корове напоминали очертания какого-то материка, на котором ему никогда не придется быть, даже если такой материк существует.

Опустив стекло, он высунулся в окно вагона. Теплый, весенний ветер пахнул ему в лицо. Поезд, свистя, приближался к пограничной станции. Ее здание, выкрашенное в красный цвет, ползло ему навстречу. Уже был ясно виден, в центре, под часами, огромный портрет

Великого Человека. Черные шинели милиционеров перемешивались с защитным цветом солдат. Красные флаги, завернутые ветром вокруг древков, напоминали большие красные зонтики, с которыми швейцары шикарных ресторанов Берлина в дождливую погоду встречают и провожают клиентов к автомобилям.

Но Волков смотрел туда, дальше, по ту сторону границы. Ему казалось, что там, на русской стороне, всё еще продолжается зима. Зимнее тяжелое небо, низко опускалось над занесенной снегами равниной. И на этом низком, тяжелом небе он ясно видел черную надпись:

ОСТАВЬ НАДЕЖДУ НАВСЕГДА.

Сентябрь 1945 - ноябрь 1946 г.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Ирина Владимировна Одоевцева родилась в России. На литературный путь она вступила вскоре после революции 17 года. Она была участницей «Живого слова», где встретилась с Гумилевым, сразу став, как он часто повторял, «ученицей № 1». В конце 1919 г. она написала свою первую балладу «Толченое стекло», о спекулянте, подмешивавшем толченое стекло в соль. За этой первой балладой вскоре последовали «Баллада о водопроводах», «Баллада об извозчике», поэма «Луна». На юную поэтессу обратили внимание Чуковский, Горький, Замятин и другие. В начале 20-х годов Одоевцева уехала из Петербурга во Францию и поселилась в Париже. В конце 20-х годов появился рассказ «Падучая звезда», удостоившийся похвал И. А. Бунина. Первый роман Одоевцевой «Ангел смерти» сначала печатался фельетонами в газете «Дни», потом вышел отдельным изданием и был переведен на несколько иностранных языков. Неумолимостью психологического анализа роман этот чем-то напоминает Замятина. Из других произведений Одоевцевой хочется отметить роман «Изольда». Из сборников стихотворений Одоевцевой последнего периода наибольшей известностью пользуются «Контрапункт», Париж 1951 г., и «Стихи написанные во время болезни», Париж 1952 г.

Роман «Оставь надежду навсегда» был издан сначала (в 1948 г.) во французском, а затем в английском (1949 г.) переводе. По-русски роман выходит впервые.

ОГЛАВЛЕНИЕ

PRINTED IN THE U.S.A.
RAUSEN BROS.
417 Lafayette St.
New York 3, N. Y.
85

в долл.

А. Ремизов — В розовом блеске, роман — 414 стр. 3.00

Л. Ржевский — Между двух звезд, роман — 408 стр. 3.00

Конрад Рихтер — Дебри, роман — 264 стр. 2.25

Пантелеймон Романов — Товарищ Кисляков, роман 363 стр. 2.50

Н. Ульянов — Атосса, исторический роман, 204 стр. 2.00

Нина Федорова — Семья, роман — 350 стр. 2.75

Александр Эртель — Смена, роман в двух частях — 416 стр. 3.00

С. Юрасов — Враг народа, роман — 197 стр. 2.00

В. С. Яновский — Портативное бессмертие, роман 270 стр. 2.50